



XXI ВЕК

ВОЛГА

7-8 2014

Литературно-художественный журнал

Главный редактор – Елизавета Данилова

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- А.Ю. Аврутин** – член Союза писателей Беларуси (Минск)
А.Б. Амусин – член Союза писателей России, председатель Ассоциации Саратовских Писателей
А.А. Бусс – член Союза писателей России (Саратов)
В.И. Вардугин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Е.А. Грачёв – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
А.А. Демченко – доктор филологических наук, профессор СГУ им. Н.Г. Чернышевского (Саратов)
Д.Е. Кан – член Союза писателей России (Новокуйбышевск)
О.И. Корниенко – член Союза писателей России (Сызрань)
В.В. Ковалёв – член Союза художников (Рига)
В.А. Кремер – член Союза писателей России (Саратов)
М.А. Лубоцкий – член Союза писателей Москвы, ответственный секретарь Ассоциации Саратовских Писателей
В.Д. Лютый – член Союза писателей России (Воронеж)
М.С. Муллин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Г.П. Муренина – директор музея Н.Г. Чернышевского, член Ассоциации Саратовских Писателей
И.В. Пырков – член Союза писателей России (Саратов)
Н.В. Шаталина – член Союза журналистов России (Саратов)

САРАТОВ
2014

7-8 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭТОГРАД

Руслан КОШКИН. **Поклонюсь я на четыре ветра...** 3

ОТРАЖЕНИЯ

Георгий КАЮРОВ. **Краб** 7

ПОЭТОГРАД

Вячеслав ЛЮТЫЙ. **Диана Кан и современная русская поэзия** 14

Диана КАН. **Мы все у Бога в праведной горсти...** 16

ЮБИЛЕЙ

Алексей БУСС. **Тихая слава** 21

ПОЭТОГРАД

Юрий МОГУТИН. **Я жил в толпе живых зеркал** 28

СЛОВО ПИСАТЕЛЯ

И один в поле воин, или Кто был кем (Беседа с саратовским писателем
и журналистом Евгением Грачёвым) 35

СТАТЬИ

Иван ЩЁЛОКОВ. **Страсти Шекспира не сходят со сцены** 42

НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ

«К тебе дойдёт моя любовь» (Письма Алексея Кроткова — дочери) 54

В МИРЕ ИСКУССТВА

Ефим ВОДОНОС. **В диалоге со Временем** 69

ПОЭТОГРАД

Галина ТАЛАНОВА. **Эта жизнь с каждым годом ценней...** 72

ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА

Александр АМУСИН. **Агатка для Матрёны** 76

КАМЕРА АБСУРДА

Виктор САЗЫКИН. **Подарок от Рабиндраната Тагора** 85

Олег ДМИТРИЕВ. **Одностишия** 96

РЕЦЕНЗИИ

Михаил МУЛЛИН. **«Слова и мысль здесь встретились удачно»,
или Единостишия Олега Дмитриева** 100

ВОЛЖСКИЙ АРХИВ

Владимир ВАРДУГИН. **Искра света саратовского брата из Полтавы** 103

Николай СЕМЁНОВ. **Над Волгой** 110

Дмитрий БОРИСОВ. **Пушкин у Гоголя** 139

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

Михаил КАРИШНЕВ-ЛУБОЦКИЙ. **Приключения Морса и Крюшона
(Окончание)** 150



**Руслан
КОШКИН**

ПОКЛОНЮСЬ Я НА ЧЕТЫРЕ ВЕТРА...

СВОЁ

Беспокоиться не изволь:
не пройдут ни печаль, ни боль.
Или так: наряду с судьбой,
всё твоё – навсегда с тобой.

И печали, и боль, и крест.
Всё, что было, и всё, что есть.
Всё, что выписано в судьбе,
всё – твоё, и навек – в тебе.

Всё, с судьбой твоей наряду,
кровью писано на роду.
Потому тебе, человек,
своего не избыть вовек.

Потому и принять своё –
всё равно что изгнать *навъё*,
пасть и снова подняться ввысь,
погибать и спастись.

ОБЩИНА

Занимается зорька над станами спальных районов.
Поднимается солнце на общее правое дело.
Будет славным денёк. Будут светлыми встречные лица.
Здравствуй, день. Здравствуй, солнце, земля, земляки
и землячки!

-
- Руслан Леонидович Кошкин родился в 1975 году в посёлке Аркуль Вятского края. Живёт и работает в Вятке. Многократный участник всероссийских и международных форумов и совещаний молодых писателей, стипендиат Министерства культуры Российской Федерации. Стихи публиковались в журналах «Наш современник», «День и ночь», «Волга–XXI век», в «Литературной газете», газете «День литературы», в антологиях «Русская поэзия. XXI век», «Антологии военной поэзии» и ряде других центральных и региональных изданий. Автор двух книг стихов. Член Союза писателей России.

Что замылся, земляк? Не припомнишь никак моё имя?
Назовёшь меня просто – «товарищ» – и не ошибёшься.
Эй, товарищ! И как же мы жили без этого слова?
Сколько в нём правоты и некупленного благородства!

Ведь товарищи все мы по общему правому делу –
реконструкции мироустройства посредством Общины.
Без наганов и нар. Никаких воронок и расстрелов.
Ни бахвальства, ни скверноприбытчества, ни мшелоимства.

Только братство и радость от общего правого дела,
от всеобщей любви и от неподдельной свободы.
Здравствуй, день! Будешь славным ты милостью Отчей.
Становись, поднимайся, Община! Тебе – мирозданье.

ИЗНЕСЕНИЕ

Это что за облако над нами?
Извыси спустилось и висит
пологом у нас над головами,
как бы проча знаковый визит.

Это что за молодец с дозором
к нам из облака того сошёл?
Ликом светел, но тревожен взором,
облачён в сиянье, словно в шёлк.

Это что за пламенные крылья
полюхают за его спиной,
создавая ощущение гриля
на сырой поверхности земной?

Это что за горн (труба, фанфара)
серебрится в шуйце у него?
А в его деснице – горну пара –
что за меч сверкает огневой?

И к чему пытаюсь нас привлечь,
он оставил нам и горн, и меч?

ПОЧВА

Уставши от политкорректности,
зову своими именами
и исповеданья, и этносы,
и пропасти, что между нами.

С обрыва на краю отечества
я в пропасть прокричу о вёрстах,
но в гулком эхе человечества
родное мне не отзовётся.

Бездонна, словно твердь небесная,
зияет пропасть пустотою,
и духи лжи и чужебесия
взвиваются над бездной тою.

От отвращения – не от робости
(о ней не может быть и речи!)
я отшатнусь от края пропасти
и ухвачусь за почву крепче.

Корнями, нитями, наитьями –
держи, родная, взгляд мой острый.
Спасительны, когда пленительны
твои размашистые вёрсты.

Ты силой своего воздействия
возносишь сердце к поднебесью.
А почвенность – всегда естественна,
как дух, соединённый с перстью.

ЧУДО О ЗМИИ

Ни почестей, ни царства за победу
доподлинный не примет ланцелот.
Коня! На зорьке! Чтоб уже к обеду
забыть о гуле триумфальных нот.

Пускай толпа законного дракона
в своей среде найдёт и изберёт.
Вершителю же высшего закона
конец дракона ясен наперёд.

Пойдёшь на нового земного бога –
вооружайся правдой до зубов.
А правда – только чистому подмога.
Иначе рыцарский удел суров.

Гордыней не на шутку раззадорен,
себя героем возомнил иной –
и вот с другими вместе, всем на горе,
не ветром унесён – взрывной волной.

Силён дракон, крепка его держава,
ужасен рык его и огнен дых.
Но есть копьё, чьё остриё не ржаво,
и конь под седоком не из гнедых.

И дерзновенье есть – о высшей правде.
Оно в воде спасает и в огне
и в бой выводит не корысти ради
с копьём в руке на белом скакуне.

РЕКА

Откуда ты и куда ты течёшь – расскажи, река.
За отмелью – плёс да омут, за омутом – пережат...

Запрыгнул в лодчонку утром малый из простаков,
от берега оттолкнулся ногой – да и был таков.

И вышла на стрежень лодка, и покати́лась вдаль.
И правил-то лодкой ловко малый, пока не сдал.

За каждым речным изгибом чудился зов судьбы,
таивший частенько то, что хотелось потом забыть.

И даже, бывало, мнилось мальцу, что течёт вода
из полного ниоткуда в полое никуда.

Но, веря в судьбу, а равно и в самого себя,
гребец налегал на вёсла, уключинами скрипя.

Покуда гребец был в силе, ему потакал поток.
Когда же не стало мочи, усталыца поток отторг...

Откуда ты и куда ты течёшь – и зачем, река?
Ответь на вопрос прибитого к берегу старика.

ОДНОМУ ПОЭТУ

Пожизненно, а может, и навечно
твоё крыло – по лихости – увечно.
Зато полёт – затейлив и высок.
Летай, пока пульсирует висок.
Лихачь, но не проси себе поблажки.
Не бойся ни сумы, ни каталажки.
Живи – своим, и помни – о своём.
И не бери ни пёрышка взаём.



Георгий
КАЮРОВ

КРАБ

Приятель, перебравшийся с семьёй в Америку, попросил меня разыскать могилу его предка, похороненного ещё в тринадцатом году. Я обходил городское кладбище, рассматривая надписи на могильных плитах. Слух уловил тяжёлый, грудной рык. Я огляделся по сторонам, но ничего не приметил. Рык повторился, и в этот раз удалось ухватить, с какой стороны он доносился. Особо не раздумывая, я пошёл на возбудивший моё любопытство звук, поглядывая вокруг в поисках того, кто мог бы его издавать. Неожиданно рык раздался совсем близко. Справа от меня, наполовину скрытый небольшим постаментом, склонив голову почти к коленям, сидел крупный мужчина и содрогался всем телом. Одним локтем он опирался на небольшой столик, на котором стояли бутылка водки и гранёный стакан с налитой на треть прозрачной жидкостью. Я взял бутылку и подсел к нему, протягивая стакан. Скрывая слёзы, мужчина принял стакан, не поднимая высоко головы, но я успел разглядеть его крупные, сосудистые глаза. Он стукнул стаканом по бутылке и залпом выпил.

– Фёдор Игнатьевич, – возвращая стакан, представился он.

– Юрий, – назвал себя и я, плеснув себе немного алкоголя.

– Батя мой... – проговорил мужчина, по-своему истолковав мою медлительность.

– За светлую память о нём, – сказал я и выпил.

-
- Георгий Александрович Каюров родился в 1966 году в г. Запорожье. Член Союза писателей России, Высшего творческого совета СП России, Союза журналистов Украины. Главный редактор литературного журнала «Наше поколение» (Молдова). Создатель хрестоматии современной русской литературы для лицеев и филологических факультетов Республики Молдова. Автор семи сборников прозы. Публиковался в журналах: «Молодая гвардия», «Московский литератор», «Литературный меридиан», «Великоросс», «Край городов», «Мост», «Истоки», «Вольный лист», «Русский переплёт» и других изданиях России; «Знаци», «Чёрное море» (Болгария); «На любителя» (США); «Наше поколение» (Молдова). Произведения Г. Каюрова переведены на болгарский и итальянский языки.

– Память... – с досадой проговорил Фёдор Игнатьевич и, схватив лежащий рядом свежесрубленный сук, переломил его пополам. – Посмотри, какая липа толстенная! Я вырубая её, а она снова отрастает. В один год я каждый день приходил. Решил, буду рубать на ростке, но добыюсь своего и изведу. Пока ходил, не росла. Думал, всё, покончено. Прихожу на годовщину батю проведать, а она снова стоит. И когда только успевает силу набрать?

– Может, оставить, пусть растёт? – предположил я.

– Как же оставить? Она растёт прямо в изголовье.

С кладбища мы с Фёдором Игнатьевичем уходили вместе. Он слегка прихрамывал, но шёл бодро.

– Ты кем работаешь? – неожиданно заинтересовался мой новый знакомый.

– Я – писатель.

– Писатель? – с недоверием переспросил Фёдор Игнатьевич и тут же схватил меня за плечо. – Хочешь, я тебе про своего батю расскажу?

– Расскажите, – согласился я выслушать ещё одну историю, тем более собеседник мой оказался запальчивым рассказчиком, говорил вкусно.

– Поехали ко мне, – переполняемый восторгом, предложил Фёдор Игнатьевич. – Я живу один. Супруга моя год как умерла. Дети живут отдельно. Гостей я не жду. Так что нам никто не помешает.

Мы устроились на кухне. Фёдор Игнатьевич насыпал в пузатый заварник чаю, залил кипятком и накрыл полотенцем, вчетверо сложенным.

– Пусть заваривается, – подмигнул мне хозяин и, не откладывая, приступил к рассказу. – Мой батя всю войну прошёл. С самого первого дня. В феврале сорок пятого получили на него похоронку. Я тогда мальцом был. Мать только взглянула на этот жёлтый листик – как вкопанная замерла, глаза выпучила, тяжело задышала, а потом вмиг стихла и говорит: «Жив. Забирай обратно» – и вернула почтальону. Ещё соседка наша, Павлючиха, говорит: «Как бы не тронулась...» Э-эх! – Фёдор Игнатьевич с силой сжал кулаки. – Наши люди умеют поддержать. В общем, и правда, в апреле получаем письмо. Детским таким почерком написано: приезжайте, ваш муж жив, только надо его забрать, сам не доедет.

Мы всей семьёй поехали. Долго добирались. В какой город приехали, сказать не могу, врать не буду. Когда это было? Всего не упоминай. Пятьдесят лет как отца нет, а он почти двенадцать прожил после войны. Хорошо помню: был это большой, объединённый госпиталь. Со всех фронтов туда свозили раненых.

Встретили нас хорошо. Разместили при госпитале. Мать подметила и нам, ребятишкам, говорит: «Прямо не смотрят, все исподлобья на нас поглядывают или искоса, вроде стыдятся за что-то». Нам-то, ребятишкам, всё равно. Мы встречи с батей ждём. Сестрички обходительные с нами, сахару надавали, а одна даже разрыдалась.

Потом выяснили, она и писала письмо. Привели нас в палату. Глядим, батя лежит. Такой смиренный, в потолок глядит. Мне тогда почему-то сразу показалось, какой-то он странный, может, контуженный. Ещё про себя подумал: если малахольный стал, этого нам не хватало. У Серёги отец тоже вернулся с фронта тяжёло раненный, но у того на груди три медали, два ордена. Бригадиром его сделали. А этот лежит – ни гимнастёрки, ни орденов не видно, во всём белом. Думаю, что это за герой? Мысли у меня были такие. Даже не подозревал, что всё куда хуже обстоит. Как сейчас помню: он лежал в самом дальнем углу палаты и улыбался, а взгляд светлый-светлый. Как будто не он раненый – мы к нему раненые приехали. Через ряды коек пробираемся, мать нас вперёд подталкивает, а он глядит, улыбается и говорит матери моей, ну, своей жене: «Вам чего, гражданочка?» Вроде не узнаёт или признать не хочет.

Мать к нему кинулась. Плачет. Медсёстры вокруг тоже плачут. Раненые недоуменно смотрят, плечами пожимают, переглядываются. Мамка ему: «Игнат, Игнатушка». Он снова в ответ: «Вам чего, гражданочка? Вы ошиблись. Я не ваш Игнат».

Тут уже мы, дети, давай плакать. Папка от нас отказывается. Вглядываемся, вроде похож, а вроде и нет. Я его только по фронтовой карточке помню. Он уходил на фронт, мне и трёх не было. Война людей добре меняет. Мать на груди у него лежит, жмётся к нему, а он даже не погладит её. Обидно мне за мать стало. Аж возненавидел его!

Фёдор Игнатьевич умолк, обхватил лицо ладонями. Уняв эмоции, он обтёр жменями глаза и продолжил:

– Нас притянула и хочет, чтобы он потрогал, чтобы таким образом вспомнил детей своих. Батя даже не пошевелился и всё твердил: «Нет у меня никаких детей». Она думала, наверно, контузией память отшибло. Хочет за руки схватить, а не находит. Откинула одеяло – может, прячет их... И тут всё открылось.

У бати не было ни рук, ни ног. Понимаешь, он всю войну сапёром был. Вот и подорвался на противотанковой mine. Это же надо было такому случиться перед самым концом войны! Всю войну без царапинки прошёл, а перед самым концом... В общем, похоронку поспешили выслать, а врачи взяли и сшили его на авось. Выживет – так тому и быть, а помрёт – война спишет. Только конечности пришлось ампутировать. Батя крепкий был, возьми и выживи.

Мать давай ещё сильнее рыдать. Схватила батю и давай тискать, прижиматься к нему, а он всё твердит: «Гражданочка, вы ошиблись. Я не ваш супруг». Головой мотыляет, всем улыбается и всё твердит: «Люди добрые, это не моя жена. Не было у меня никогда жены. Ни жены, ни родителей, ни детей – сирота я».

Месяц мы жили в госпитале, а он всё твердил, что нет у него жены, он не наш отец и не муж мамки нашей. Кто его только не уговаривал, чтобы признался, а он ни в какую. Мать столько слёз выплакала. Раненые уже начали его стыдить. Главврач на беседу забирал к себе в кабинет, а он на своём стоит, и всё тут.

Второй месяц пошёл. Деньги кончились. Нас с матерью трое приехало. Ещё домой возвращаться. Дорога дальняя. Уже мы, дети, стали

сомневаться и матери говорить: «Может, не он? Не хочет ехать, пусть остаётся!» Мать на своём стоит: «Наш батька. Домой все вместе поедет. Погодите чуток. Надо, чтобы обвыкся. Война никого не красит». Сама прячет заплаканные глаза.

В один день главврач нас к себе приглашает. Привозят и батю.

«Ну, вот что, Игнат Пантелеевич, – главврач говорит, – раз это не твоя семья, тогда, значит, выгоняю их из госпиталя. Кормить больше не стану. Но если твоя семья, то выделю денег на дорогу и на всех паёк дам». Мать снова давай рыдать. Едва на ногах стоит. Батю по волосам гладит, свои слёзы с его щёк вытирает. Ну, тут батя уже сдался.

«Моя, – говорит, не удержался, давай плакать. – Зачем я тебе такой? Найдёшь мужика. Я ни к чему не способный. Ни ног, ни рук, какой из меня кормилец?»

Мать его на руки подхватила и давай тискать. Мы плачем. В общем, снарядили нас в дорогу. Всем госпиталем провожали. Главврач слово сдержал – выделил паёк, денег дал на дорогу. Люди скинулись, помогли кто чем мог. Посадили нас в полуторку и отвезли на вокзал.

Прибыли мы на нашу станцию, а до городка, в котором жили, ещё семь километров пешком. Подвод нет. Мы войсковым приехали. Не по расписанию машинист остановился, чтобы нас высадить. Никто никого не встречает. Мать батю на спину посадила, платком обвязала и пошли домой. Так и зажили...

– Заварился, – хозяин сделал паузу и, пока переводил дыхание, разлил заварку по чашкам.

Разговор складывался для него непростой, но видно было: он нуждался в том, чтобы рассказать кому-то всё накопившееся за эти годы.

– Ты понимаешь, зачем я тебе рассказываю? Ты же писатель! Кто, если не ты, напишет о моём бате?

– О войне много написано, – попытался я возразить.

– Это не о войне, – в сердцах выпалил мой собеседник. – Я и сам знаю, о войне написано и переписано. Да и ни к чему тебе о войне писать. О человеке надо написать. О простом труженике, семьянине, защитнике.

– Это можно, – неуверенно согласился я, ещё больше сомневаясь в перспективах, но не стал разочаровывать хозяина – о простых тружениках тоже написано и переписано.

– Ты подожди отказываться, – взволнованно заговорил Фёдор Игнатьевич. – Пей чай, а я буду рассказывать. О моём бате надо написать. На чём я остановился? Так вот, с первых дней, как батя оказался дома, он стал с нашим кузнецом-цыганом подолгу переговариваться. Уединятся за ширмой и всё что-то чертят и обсуждают. Потом цыган на два-три дня исчезнет, а придёт – снова подолгу обсуждают. И всё потихоньку, тайком от нас, домашних. Не помню, сколько это продолжалось, но как-то пришёл цыган довольный, светится, словно вычищенный чугунок. В руках держит два мешка, набитых какими-то железяками.

Вынесли нашего батю в огород, и стал цыган вынимать из мешка всякие причудливые приспособления, все обвязанные ремешками.

Одно достанет и бате на культю ноги наденет и ремешками пристегнёт к пояснице. Мы с сестрой и братом смотрим, а батя встал на эти приспособления. Покачивается, но стоит. В общем, они с кузнецом придумали специальные инструменты. Ну, знаешь, лопату, сапу, грабли, что-то ещё было, топор, вилы – целый арсенал. Они у меня до сих пор хранятся.

И стал наш батя в огороде работать. Мать подвывает к культе необходимый ему инструмент и уходит на работу, а батя выползает в огород и работает. Поначалу часто падал. Еле-еле поднимется и снова давай копать. Потом приловчился и так здорово орудовал! Культы в кровь разбивал. Мать на обед прибежит, перебинтует, другой инструмент подвывает, и батя – снова в огород. Мать в слезах убегает на работу, а мы, дети, наблюдаем. Смешно было смотреть, как батя мается в огороде. Он позовёт кого-нибудь из нас помочь перенести то, другое. Мы бегом помогаем и что есть прыти в дом прячемся. Стыдно нам было. Люди посмеивались. Хоть и прятали улыбки, но мы замечали.

Весь посёлок говорил о нашем бате. Сверстники смеялись над нами и зло шутили, поначалу за глаза, а затем всё чаще и чаще в глаза. Мирная жизнь налаживалась. Человек быстро забывает горе, а к чужому – всегда глух. Мы, дети, стали зло зыркать в сторону бати. Мать часто приходила в слезах, и подолгу родители за ширмой выясняли отношения. На коленях просила его не выходить на улицу в этих грозных железяках. Батя молча выслушивал, что-то тихо возражал, успокаивал мать, а утром всё сызнава. Мать подвывала ему на культю лопату, на другие культы костыли, и он выползал в огород. Мы, дети, тоже пытались не пускать его, загораживали дорогу, закрывали двери на ключ, а он вылезал в окно и всё равно полз работать. Пока были маленькие, он ругался на нас. Когда подросли, ему уже тяжелее было с нами справиться, так он приловчился и бил нас своими железными культиями. Так ловко орудовал ими! Больно было.

Вся семья выслушивала от соседей всякие злые и нелепые шуточки. Больше всех доставалось матери. Над ней особо ядовито подтрунивали мужики. Мы не знали, доходили ли слухи до бати и то, как его называют в посёлке. Но весь посёлок быстро окрестил его. У нас люди по части навешивания ярлыков мастаки!

Как-то я пришёл в школу (в тот год заканчивал десятый класс), прохожу мимо учителей и слышу, за моей спиной тихо говорят: вон идёт сын того-то – и тем самым прозвищем батю моего называют. Мне так обидно стало, до слёз, разворачиваюсь и – домой. Решил: убью. Пусть меня посадят, но спасу семью от позора. Вбегаю в родительскую комнату, а батя на полу сидит и пытается ртом завязать на культе топор, мучается страшно. Мать с утра плакала, упрашивала его не выходить на улицу и наотрез отказалась ему топор пристёгивать. Мы тоже не понимали, зачем все эти жертвы? Он дождался, пока все ушли из дому, и сам решил всё сделать. Понимаешь, с вечера привезли пять кубов дров, вот он и решил наколоть. Тут я вбе-

гаю и давай на него орать. Как сейчас помню, кричу: «Ты знаешь, как тебя называют? Ты знаешь?» И правду-матку ему в глаза: так-то! У меня не отец, а... И снова правду матку: так-то! Нас называют детьми такого-то. Ору на весь дом: «Ненавижу тебя! Чтобы ты сдох!» А он только головой покачивает. Я наорался, трясусь весь, а он поднял на меня глаза, полные слёз, смотрит таким светлым взглядом, даже слёзы искрятся, и тихо так говорит: «Сынок, помоги мне завязать». Всю жизнь живу с этим взглядом перед глазами...

Фёдор Игнатьевич замолчал, и я почувствовал, с какой невероятной силой он давил в себе рыдания.

– Я тогда схватил все его железяки, – переведя дыхание продолжил он, – побросал в мешок и – на речку. Там и утопил.

Вскороности батя умер. Умер во сне. Бабы на похоронах говорили, мол, повезло – не мучился. Что у нас за люди? Как не мучился? Попробуй походить в этих железяках? А он в них работал, семью кормил. Представляешь, огород вскапывал! В общем, уснул и больше не проснулся. Весь посёлок собрался проводить его. Приехали из районного военкомата солдаты. Какой-то полковник оркестр привёз. Мать достала батины награды. Стали солдатам раздавать, чтобы несли перед гробом. Не хватило солдат. Оказалось, у моего бати награда уйма. Мы, дети, впервые видели столько наград. Больше, чем у отца соседского Серёги, которому я позавидовал. Выстроились люди, чтобы принять награды и нести с почётом. Выяснилось, что мой батя был в особых списках нашего военкомата – как геройски воевавший. Идёт процессия, солдаты с винтовками. Когда гроб опускали, салютовали трижды.

Фёдор Игнатьевич умолк и уставился на меня. Я молча взирал на собеседника, не находя, что ему ответить.

– Ты не думай, – взяв меня за руку, продолжил он, – мы ему гроб в полный рост сделали. Как был у него рост метр восемьдесят, так мы ему рост в рост. Я даже пиджак его потихоньку от матери приколотил гвоздиками к доскам. Думаю: понесут, а он ссунется, ног же нет... Уже когда закопали, люди подходили и на холм клали награды. Представляешь, вся могила была уложена наградами. Вот какой у меня был геройский батя!

Мой собеседник надолго замолчал, погружённый в воспоминания. Я тоже не спешил нарушать тишины, потрясённый судьбой человека.

– Ну, – неожиданно обратился ко мне Фёдор Игнатьевич. – Какой я тебе подкинул материал? Напишешь?

– Как его называли? – поинтересовался я.

– Кого? – сразу не понял мужчина.

– Батю вашего.

– Краб.

– Ка-ак? – Я пристально посмотрел на обескураженного моим вопросом собеседника.

– Краб, – одними губами проговорил Фёдор Игнатьевич, сотрясаясь от подкатывающегося нового приступа.

Мужчина навалился на стол и, не скрывая чувств, разрыдался. Я не мешал ему, давая успокоиться. И самому было о чём подумать.

– Цыган ему сделал приспособления небольшие, – не поднимая головы, заговорил хозяин, – чтобы сподручнее держать равновесие. И когда батя передвигался, то опирался на все четыре культи. Как бы тебе объяснить? Представь, к одной культе руки пристёгнута сапа, к другой – скребок, чтобы с лопаты счищать налипшую землю, к ноге – лопата, а к другой – костьль. И вот всё это передвигается. Со стороны смешно было глядеть, и правда казалось, словно краб бежит.

Фёдор Игнатьевич снова захлебнулся слёзами. Пытаясь подавить приступ, хотел продолжить рассказ, но только потрясал кулаком и скрежетал зубами. Наконец мужчине удалось взять себя в руки.

– Ты знаешь, – неожиданно продолжил Фёдор Игнатьевич. – Если бы не батя, мы бы от голода умерли. С сорок шестого по сорок седьмой сильный голод был, а батя мой с самого утра в огороде – копает, сажает, сеет. Всё, что могло вырасти, он сажал и сеял. Каждый день обрабатывал землю. По всей округе, по всем полям собирал, где что найдёт. Десять колосков найдёт, да что там десять, один колосок – так он ни одному зёрнышку не даст пропасть. Всё соберёт. Всё в дом, чтобы семью выкормить и не дать погибнуть. Многие семьи поумирали. Мужики здоровенные не выдерживали и с голоду валялись в снег, а мой батя носился с утра до поздней ночи. У нас за домом стояла тачка с навозом. Так он, знаешь, что придумал? Зимой работы же нет в огороде, приспособил в погребе эту тачку и выращивал грибы. Нашими грибами вся улица кормилась.

Фёдор Игнатьевич снова замолчал, потрясая уже двумя кулаками, и с силой обрушил их на стол.

– Как это понять: вся улица кормилась, а они его – краб?!

– Можно инструменты посмотреть? – Я поймал себя на ощущении сильной потребности увидеть орудия труда этого человека.

Фёдор Игнатьевич словно ждал этого. Резво подскочил и скрылся в коридоре. Послышалось глухое бряканье кованого железа об паркет. Хозяин внёс на кухню два мешка и стал выкладывать прямо на стол.

– Вот они, все до одного. Я их потом из речки достал, чтобы память о батяе осталась. Вычистил. Цыган у нас был кузнец что надо. Дело своё добре знал. Гляди, какой инструмент! Ты же знаешь, кованое железо ржа не берёт! У меня и батя был такой – настоящий русский мужик! Кованый – ржа его не брала!



ИАНА КАИ И СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПОЭЗИА

В современной русской поэзии минувшие полтора десятка лет отчётливо связаны с именем Дианы Кан. Лирика и гражданские стихи, миф и жёсткая инвектива – все эти формы органичны для художественного дарования поэтессы. Её интонации меняются от проникновенно мягких до саркастических, а лирический сюжет вполне может включать в свои пределы надмирное созерцание и геополитику.

Способность к строгой поэтической речи парадоксально соединена у Дианы Кан с чувством воли, берущим начало в русском фольклоре. Её слово порой отличается волшебной детскостью – так ребёнок переливает смыслы из одного звучания в другое, соединяет несоединимое, чувствует себя хозяином произносимых имён и определений.

В поэзии Кан есть широта охвата русской жизни, поразительный спектр сюжетов, множество характеров людей, которые однажды встретились автору, попали в стихи и остались в них образами – художественно ясными и живыми. Жизнелюбие, твёрдость характера её лирической героини удивительны на фоне того плача о «погибели русской земли», что длится до сих пор в отечественной поэзии с начала 90-х годов.

Историзм – скрытая черта многих произведений Дианы Кан. Время от времени он проявляется в видимых формах – как, например, в стихах о Табынской иконе Божией Матери или о волжских атаманах. Но прежде всего – пронизывает все без исключения поэтические размышления автора о судьбах России. Так сложилось, что поэтесса с азиатским разрезом глаз впитала в свою душу огромное сюжетное и интонационное богатство русской жизни. Универсальность её взгляда на происходящее вокруг, при очень личном оттенке речи, как правило, оценивается позже – когда стихи звучат в памяти, когда реальность машинально называется по её строке, когда другой человек плавно вписывается в её характеристику, которая, оказывается, вмещает в себя очень многих.

При очевидной склонности к лирике у Дианы Кан очень заметно глубокое дыхание, которое мы привыкли находить в эпических произведениях. Двадцатый век, разбив-

ший множество судеб, склонил русскую поэзию к фрагментарности, «осколочности» поэтического высказывания. В полной мере, возможно, только Юрий Кузнецов в своих поэмах о Христе дал современной русской литературе парадоксальный образец эпического жанра. Но у него уже сама авторская речь была умягчена лирикой, и это драгоценное соединение большого с малым есть замечательное достижение поэта.

У Дианы Кан нет больших поэм, она не стремится воплотить какую-либо важную тему в пространной литературной форме. Однако свод её стихотворений о родине, кажется, выдохнула грудь самой русской земли – столь велики пространство и время, что укрыты словами поэтессы, будто невесомой и прозрачной тканью, под которой видны горы и бездны, одиночество и единство, покой и стремительное движение.

Её отношения с Богом в очень малой степени выплёскиваются в стихи, в которых нет громких «православных» деклараций. Но есть тихое упование на милосердие и смирение, в которых небо соединяется с землёй. Не однажды поэтесса упоминала русское родовое начало, для неё – это важнейшая опора отечественной культуры. Соединяя чувство рода с интуитивным переживанием правды, которое на Руси в последнее тысячелетие связано со Спасителем, она являет собой пример русского человека в единстве его противоречий и жажды справедливости.

Невозможно заранее представить, какая тема в самых общих чертах явит себя в стихотворениях Дианы Кан. Непредсказуемость – столь важное качество для поэта – в её случае оказывается органической чертой творчества. Все книги Кан, от первых небольших сборников до последних по времени объёмных изданий, сохраняют главные линии её поэзии. Однако любая новая вещь почти всегда у неё читается как первая в тематическом ряду.

Между тем существует ещё одно измерение этого имени. Не перечислить молодых поэтов, которым Диана Кан так или иначе помогла обрести себя. В эпоху, когда нарушены взаимные творческие связи, Союз писателей России ослаблен целым рядом организационных проблем, она стала своеобразным центром, в котором объединяются самые разные дарования, налаживаются журнальные связи. Постепенно – месяц за месяцем, год за годом – создаётся поле горизонтального взаимодействия творческих сил русских поэтов и прозаиков. И сегодня уже многие известные литераторы могут сказать о ней с сердечной теплотой: «Наша Диана!»

Принято считать, что у неё трудный характер и вспыльчивый нрав. Очень часто такая характеристика, кажется, отодвигает в сторону её поэзию. Однако способность к состраданию и отходчивая душа удивительным образом перекликаются со строками Дианы Кан, подтверждают их человечески, лично. И делают её стихи достоверными, незримо совмещая литературу с жизнью – как бы далеко друг от друга они ни отстояли в наше горькое для правды и таланта время.

**Диана
КАН**

МЫ ВСЕ У БОГА В ПРАВЕДНОЙ ГОРСТИ...

Событий смутных нам темно значенье,
Но Судный день грядёт:
Исполнится библейское реченье,
И гада гад пожрёт.

И, не суля безоблачного рая,
К нам наконец,
Овец от злобных козлищ отделяя,
Придёт Творец.

Господь придёт пожар лечить потопом,
И – ной не ной! – библейский ладь ковчег.
На скорбном стыке Азии с Европой
Ты призван свыше, русский человек!

Пусть неоглядна матушка-Расея –
Пожар, потоп, поклёп, сума, тюрьма...
Но даже на семи ветрах Рифея
Живи, не выживая из ума!

Живи – от Бога в вековечном шаге,
Что одолел за несколько минут!..
...Пусть вострубит пикирующий ангел,
Призвав земное на небесный суд.

-
- Диана Елисеевна Кан – член Союза писателей России, поэтесса. Автор книг «Високосная весна», «Согдиана», «Бактрийский горизонт», «Подданная русских захопустий», «Междуречье», «Обречённые на славу», «Покуда говорю я о любви...», а также многих публикаций в центральных и региональных изданиях России. Дважды лауреат Всероссийской премии журнала «Наш современник». Лауреат Всероссийской литературной премии «Традиция» за серию публикаций стихов о России высокого гражданского звучания, Всероссийской премии «Имперская культура» в номинации «Поэзия», Всероссийской литературной премии им. Святого благоверного князя Александра Невского. Живёт в г. Новокуйбышевске Самарской области.

Собирай, зима, котомку
Ледяных напрасных слёз!
Трясогузку-ледоломку
На хвосте журавль принёс.

И, верна своей привычке
Быть первой в деле том,
Эта птичка-невеличка
Разбивает лёд хвостом.

В поднебесье не летает,
Но усердием её
Лёд, сковавший сердце, стает
И стечёт в небытие.

Припасла для всех подарки,
Несмотря на суету:
Юной яблоньке-дикарке –
Подвенечную фату.

Речке-старице – свиданье
Со стремниной молодой.
Иве-брошенке – страданья
Над высокою водой.

Снежной бабе-несложёнке
Солнечной любви оскал...
...Всё, что мне, дрянной девчонке,
Ты когда-то обещал.

Над рюмками взлетевшая бутылка
Свой соколиный совершит полёт...
Собрат-поэт, ты жив ещё, курилка?
О суетном забудь, оно пройдёт.

Не нам считаться шрамами и раны
Не нам и не сегодня бередить...
Но после первой рюмки всё же рано
На пару трубку мира закурить!

Не курится – хоть тресни! – трубка мира.
Знать, не о том, не так мы говорим.
Пускай решит изменчивая лира,
Кому быть первым, а кому вторым.

Кончай рыдать и хоронить Россию!..
Мы все у Бога в праведной горсти.
И красною писательскою ксивой,
Как белым флагом, перестань трясти!

Ну, по второй? А то всё ноешь, ноешь...
Ну что, дружок, поделаешь с тобой?
Коль в бой пойду, ведь даже не прикроешь,
А будешь маркитанить за спиной!

По третьей намахнём и – распростимся...
Не по пути поэтам завсегда.
Моё, тобою проклятое, имя
Пускай тебя согреет в холода

Не мутною брагулькой на досуге –
Настоянным на родственной крови,
Смакуемым под причитанья вьюги
Вином братоубийственной любви.

Царевщина, примай-ка на постой!..
Ведь я готова гостевать по-царски.
Здесь зелень проросла сквозь сухостой
И русский клён не побеждён канадским.

Горящая багрянцем октября,
Горчащая рябиновою гроздью,
Царевщина – царишна моя,
Почто зарделась в царском взоре грозном?..

Ай ты гостям не рада? Не лукавы!..
Они ль не покуражились на славу?
И листьев позолоченная ржавь
Навек сроднилась с отсветом кровавым..

Здесь вьюги – дебютантки декабря
И февраля шальные фаворитки –
Имперские подарят соболя
Тебе, допрежь обобранной до нитки.

Здесь сквозь века обнимет речка Сок
Соколых гор воздушную громаду.
И небосвод пронзительно высок:
Взмахни крылом и – обожжёшься взглядом.

Здесь я пою с ветрами в унисон,
Учусь у них быть вьюгой и подругой.
...И в небо, словно сокол, вознесён
Царёв Курган, парящий над округой.

Январской вьюги чувственные стоны.
Разбитого окна сквозной оскал.
Вновь вовремя явилась только полночь.
А ты опять – ты снова! – опоздал.

И, не надеясь, видимо, на чудо,
(А ведь оно бывает иногда!)
Услышать предпочёл: «Иди отсюда!»,
Хоть прозвучало: «Идиот, сюда!»

Я не просила твоего вниманья
Вдали от злой насмешницы-мечты –
В том городке, которого названье
И не пытался выговорить ты.

Однажды попытался и – запутался..
Чуть не сломал язык, махнул рукой..
И – прочь побрёл ухабистой улицей
По городку над Волгою-рекой.

По городку, что местными хабалками
В дым обкумарен смрадом сигарет.
По городку, где фонари фингалами
Веками зверовато смотрят вслед.

По городку, где вьюжная метелица
Вскипает в подворотнях, как змея..
По городку, где очень слабо верится
В небесный смысл земного бытия.

По городку, где в списках ты не значишься
И значиться не будешь никогда..
...И городок вослед тебе таращится
Окном, разбитым вдрызг и навсегда.

Ты долго по миру блукал,
Всемирности русской заложник.
Среди иноземных лекал
Себя отыскать невозможно!

Ты счастья отнюдь не просил.
Ты классика принял на веру,
Который не раз говорил,
Что счастье – земная химера.

Что все мы под небом седым,
Где ветры вселенские свищут...
Невольно о воле скорбим,
Покой, беспокойные, ищем.

Выходим один на один
С пропахшим степями култуком...
Но – вал повернёт баргузин,
Нам став и собратом, и другом!

...Ты все так долго искал
Покоя. Созвучья. Участья...
...Россия. Распутин. Байкал...
Ну что ещё надо для счастья?

Ты, кого я высотой окрыляла,
Далью манила, дразнила, влекла...
Ты, для кого я однажды упала
В мир, где царила полночная мгла.

Ты, для кого я сквозь сумрак окрестный
В вечность сбежала строптивой водой,
Не уловима тщетою телесной,
Не побеждаема смутой мирской.

Ты, для кого я себя созидала –
Жгла, леденила, сводила с ума.
Даже глагольною рифмою стала,
А ведь была от рожденья нема!..

Ты, в небеса выводящий из комы
Души несчастных братьев моих,
Вечно и всюду исконно искомый –
Несокрушимый классический стих!

*Поздравляем замечательную поэтессу
Диану Елисеевну Кан
с юбилеем!*



**Алексей
БУСС**

ТИХАЯ СЛАВА

Заметки к десятилетию
со времени создания журнала «Волга–XXI век»

Ранняя весна 2004 года. Собрание в Саратовском отделении Союза писателей. Николай Васильевич Болкунов, ранее известный мне только как хороший прозаик и просто старший коллега по литературному цеху, вдруг с заговорщицким видом подсаживается ко мне и сообщает: «Есть разговор...»

После собрания мы сидим с ним неподалёку от подъезда СП на скамейке, он курит и с присущей только Николаю Васильевичу размашистой эмоциональностью повествует мне о блестящих перспективах задуманного им грандиозного дела – возрождения журнала «Волга». Перспективы выглядят неплохо, а меня он зовёт на должность заместителя главного редактора, хотя из разговора уже становится понятно, что нужен скорее не сотрудник, а соратник, единомышленник.

Я соглашаюсь. Естественно.

Моя литературная биография началась сразу с «толстого» журнала. Не со столичных «Москвы» или «Нашего современника», а с регионального, казахстанского, но всё же именно с журнала, а не с газетной публикации. И с того момента я перед литжурналами благоговел и работать в них мечтал.

Однако впасть в эйфорию от «сбычи мечт» было недосуг. Николай Васильевич, что называется, взял с места в карьер – уже через несколько дней мы с ним обивали пороги Министерства печати, отстаивая смету журнала.

-
- Алексей Александрович Бусс родился в 1973 году в г. Тахиаташ (Каракалпакская АССР), окончил филологический факультет Акмолинского государственного педагогического университета (Казахстан). Автор пяти книг стихов и прозы, публикаций в областной периодической печати, альманахе «Саратов литературный», журналах «Волга–XXI век», «Нива» (Казахстан), «Эдита» (Германия). В 2004–2005 гг. – заместитель главного редактора журнала «Волга–XXI век». Член Союза писателей России. Живёт в Саратове.

Позже у нас в редакции особо требовательным в гонорарном плане авторам мы как поучительный анекдот рассказывали, каких мытарств нам стоило вообще включить в смету строку расходов – «гонорары»! Николай Васильевич, с присущим ему шармом и со сборником издательских нормативов 1984 года выпуска наперевес, мягко, но решительно отстаивал авторскую копейку.

И отстоял. Начинаящие или просто незнакомые с журнальным миром авторы потом потешно удивлялись: «Как, ещё и гонорар? Мне?!» Вам-вам. Знали бы вы, какого количества нервных клеток это стоило Болкунову!..

Так вот, журнал начинал жить. Ещё не было ни штата, ни помещения, ни договора с типографией, а редакционный портфель уже стремительно пух от рукописей – авторов известных и неизвестных, маститых и молодых, саратовских и иногородних. Информация о новом-старом издании распространялась как огонь в сухом лесу и добиралась неожиданно для нас в какие-то совсем сумасшедшие дали, откуда шли и шли пакеты со стихами, прозой, публицистикой.

Причём этот самый «редакционный портфель» был не виртуальным в привычном понимании, а совершенно конкретным, вещественным – это был потёртый кожаный портфель Николая Васильевича, в котором вместе с финансовыми и юридическими документами зарождающегося автономного некоммерческого образования «Журнал «Волга–XXI век» обязательно лежало несколько рукописей. Он вычитывал их сам, ожидая чиновников в приёмных, в автобусе по дороге в типографию, дома в свободную минуту, а также передавал мне и своему второму помощнику – Владимиру Ильичу Вардугину. Точнее, конечно, Владимир Ильич – это первый помощник и соратник Болкунова в деле возрождения журнала. С решительностью, которой он известен далеко за пределами саратовского писательского сообщества, Владимир Ильич отчаянно бросился в журнальную и околожурнальную работу по принципу «война план покажет», ни на что и ни на кого не оглядываясь, с тем же воодушевлением, с каким энтузиасты начала космической эры просили отправить их на Луну без возврата – лишь бы быть там первыми! Именно с В. И. Вардугиным Болкунов издал нулевой, ставший уже библиографической редкостью номер журнала «Волга–XXI век».

Итак, рукописи для публикации уже были, энтузиазма – хоть отбавляй, и впереди нас ждала рутина – но рутина приятная, жизнеутверждающая.

Первым делом встал вопрос о помещении. Старые номенклатурные связи Николая Васильевича помогли: большую и светлую комнату в здании дореволюционной Саратовской думы, на углу Московской и Комсомольской, нам выделили быстро и на льготных условиях. Помещение было просторным, удобным, в силу архитектурных особенностей своих (надстройка в виде своеобразной веранды) имело богемные черты мансарды, но, как позже выяснилось, и один большой минус: было очень холодным. Однако, поскольку практически это был он – «дарённый конь», в зубы мы ему смотреть не стали, а бодро взялись за благоустройство и обстановку.

В это же время у новой редакции появилась хозяйка – по званию поэтесса, а по должности – заведующая редакцией Наталья Кочелаева. Многие авторы впоследствии будут ей благодарны за перепечатывание текстов из выдающегося бумажного, практически ахматовского «сора» и за вдумчивую редактуру, но сейчас на её хрупкие плечи легли обязанности по приданию человеческого и по возможности уютного лица нашей литературной конторе.

Надо сказать, что Николай Васильевич видел в моей должности – должности заместителя главного редактора – существенную хозяйственную составляющую. Поэтому все приобретения наших «средств производства», от компьютеров до ручек, так или иначе касались меня, причём зачастую в самом прямом смысле – как администратора, снабженца, водителя, разнорабочего, грузчика. Работа с рукописями в тот период проходила у меня между строк накладных и инструкций к оргтехнике, а обдумыванием возможной правки текстов или ответов авторам я занимался за рулём автомобиля, на заднем сидении, в багажнике которого тряслись то офисные стулья, то факс, то сейф, то обогреватель.

Моя тогдашняя машина на какое-то время даже стала символом редакции. Не раз наблюдавший её и нас с Болкуновым в ней во время светлых деловых поездок по городу поэт Николай Байбуза метко окрестил этот маленький («Ока») автомобильчик «Буссинкой» – за размер авто и фамилию его владельца.

Забегая вперёд, хочу рассказать ещё один забавный случай из жизни только-только становившегося на ноги журнала. Первым нашим общим действием, вехой в редакционной истории, если хотите, стало освящение редакции. Николай Васильевич уделял особое внимание этому обряду. По его просьбе из епархии к нам прислали хорошего молодого священника – о. Алексея. Привозил и увозил его я всё на той же «Буссинке», и встречавший нас у крыльца Николай Васильевич, как бы извиняясь, обронил: «Вот, пока что «Волга» ездит на «Оке». На что оказавшийся весьма остроумным отец Алексей бойко и обнадеживающе ответил: «Ничего, будет и «Волга»!

Полностью редакционный состав был укомплектован с приходом Ивана Владимировича Пыркова, замечательного нашего поэта, более известного под псевдонимом «Иван Васильцов», ставшего заведующим отделом поэзии и критики. Вместе с ним наш шеф «призвал» в качестве консультанта, наставника и просто друга журнала отца Ивана Владимировича – Владимира Ивановича Пыркова, ветерана «старой» «Волги», который, благодаря его громадному опыту журнальной работы, мог оказать поддержку там, где она особенно нужна – от перевозки новой мебели до споров с матёрными графоманами...

Кроме шуток, я не без оснований горжусь тем, что не только обсуждал с одним из лучших волжских поэтов – Пырковым-старшим – сложные вопросы поэтики И. Анненского, но и таскал с ним новые стулья для редакции. Нередко выходило так, что отзывчивый Владимир Иванович был моим помощником в хозяйственных делах, а уж какие литературные и общечеловеческие проблемы мы с ним

успевали обсудить во время этих работ и деловых поездок на «Бусинке» – об этом можно написать отдельную статью.

Владимиру Ивановичу принадлежит и фраза, которая стала для нас с Н. В. Болкуновым своего рода девизом, системой координат, духовным маяком в деле возрождения журнала и его становления. Однажды, беседуя с Пырковым-старшим на различные отвлечённые темы во время поездки не то за канцтоварами, не то за оргтехникой (он в очередной раз вызвался в добровольные помощники), я услышал от него историю из его литературной биографии. Это была обычная во времена СССР поездка группы писателей «в народ», на встречи с читателями в сельскую местность. Владимир Иванович описывал её яркими красками умелого рассказчика, время от времени смешно похихикивая в бороду (почему-то он мне всегда в эти моменты напоминал доброго сказочного ежа!), иронизируя над писательским цехом и метко отмечая особенную доброту внимательного читателя из «глубокой провинции». И среди прочего вспомнил, как в одном из посещённых писательским десантом сёл столкнулся с культом местного, давно ушедшего из жизни поэта. В областном центре, «в городе», его, конечно, знали, но основательно уже забыли. Здесь же, на его малой родине, его не просто чтити – установили бюст, праздновали день рождения, рассказывали о нём детям. Причём эта любовь была именно народной, почти родственной, а не навязанной откуда-то сверху и не принесённой литературной модой. Владимир Иванович сказал, что был очень впечатлён этой мягкой, уютной, камерной формой почитания поэтического таланта. В этой любви к поэту – одновременно и местному, и всё-таки принадлежащему через это своё село и всей стране – читалась какая-то великая правда, нечто исконно правильное, неоспоримое, главное и в то же время ненавязчивое, независимое от мнений, по-хорошему упрямое – как упорство в своей правоте. Владимир Иванович назвал это «тихой славой» – и, по-моему, точнее сказать нельзя.

Этот наш разговор я позже передал Болкунову, и он долго и с восхищением играл этим определением: «тихая слава... тихая слава... тихая слава», – будто пробуя его на вкус и рассматривая с разных сторон. А потом сказал, что это ведь, если вдуматься, и есть цель нашей работы над журналом. Слава – да, но не в банально-фанфарном её понимании. Слава – как способ достижения сердца читателя. Слава – как прославленная песня, написанная хорошим поэтом, но ставшая народной. А потому – тихая. Как читальный зал библиотеки, где за тишиной – не пустота, а неведомые глубины и тихий шёпот миллионов букв, сливающихся в слова, предложения, мысли, чувства, страсти... И способ достижения такой славы прямо противоположен способу получения славы площадной, громкой. Это методичный, незаметный, но неустанный труд и память – память писателя, помнящего о корнях своих, и память читателя, для которого книги, знакомые с детства, – это тоже корни, это фундамент, который не даёт упасть в трудной жизненной ситуации.

Не удивительно, что эта переключка Болкунова и Пыркова позже продолжилась на страницах журнала. В номере 9–10 2004 года изда-

ния, уставший от мелких уколов оппонентов журнала (у меня есть ощущение, что появились они у «Волги–XXI век» ещё до выхода первого номера), он высказал всё, что думал на тот момент о месте и задачах журнала не только на литературном поле современной российской действительности, но и в духовной жизни общества. Его статья «Одоление зла» отразила разом и искреннюю, личную боль Николая Васильевича и за произошедшие незадолго до выхода номера бесланские события, и за общий разгул освобождённых межвременем сил зла, и за расцвет клеветнической лжи в литературе... «Без балды – значит без лжи и клеветы. По мере своих скромных сил мы будем продолжать своё дело – служить гуманной, совестью, духовной русской литературе. А ещё настойчиво собирать вокруг журнала здоровые творческие силы, способные к терпимости и единению», – писал он.

Кстати, именно в этом своём монологе Болкунов дал ответ всем тем, кого слишком уж задевал его главный духовный постулат – православию. Он предъявляет чёткие – не издательские, а философские требования к рукописи, претендующей на публикацию: «...если в ней не будет ни тени лжи и клеветы, если она будет пропитана болью сегодняшней России, если она будет хоть чуточку добавлять к нашей исконной [...] православной любви к ближнему». То есть Николай Васильевич как редактор отнюдь не требовал от авторов православия как такового: в «Волге–XXI век» печатались люди самых разных вероисповеданий и без оно. Кроме того, одним из его ближайших соратников, без ложной скромности, тоже имевшим некоторое влияние на духовный облик журнала, был ваш покорный слуга – потомственный атеист в третьем поколении. Но даже мне было понятно, что главное для Болкунова – это именно она – православная любовь к ближнему. Православная – значит общечеловеческая, на вечных евангельских моральных принципах основанная, но православная также значит – русская, наша любовь-боль, любовь-служение, любовь-откровение.

И сильным, разудалым, просторным, а вместе с тем – тихим, как плеск воды на песчаном берегу протоки между волжскими островами, эхом ответил Николаю Васильевичу Владимир Иванович Пырков в своём монологе «Парус, чёлн и ладья» в финальном номере журнала за 2004-й, дебютный год. Идя, плывя в этом замечательном эссе от Лермонтова к Гоголю и Пушкину, к Языкову, Садовникову, Хлебникову и Крылову, вновь в изящнейшем пируете мысли возвращаясь к Лермонтову и его «Парусу», поэт Пырков говорит уже исключительно о русской поэзии, но сколь созвучны его мысли болкуновскому послы отлучения от лжи и клеветы: «Есть такое устойчивое выражение у рыбаков Волго-Каспия: «уронить парус», то есть убрать парус, осадить его. Согласитесь вы или нет, но я считаю, что наша русская поэзия, совершенствуясь и развиваясь из века в век, никогда не роняла своих парусов. Своего предназначения. Своей чести».

И Волга-река выступает у Пыркова своеобразным эталоном этой чистоты, зеркалом чести, мерилем всего для волжанина и волжско-

го поэта. Не стремление к суетному и сиюминутному, а упокоение и созерцание на её берегу, где каждый уголок, каждая заводь, каждая песчинка дышит «тихой славой». И мы «...смотрим на Волгу, на её близь и даль, как на свою судьбу» – сверяем самих себя с главной русской рекой, голубой линией судьбы русской цивилизации.

Две эти публикации в рубрике «Монолог» как бы задали тон всей дальнейшей судьбе журнала – тернистой, но светлой. Уже в этом же, 2004 году появилось целое созвездие великолепных материалов – поэтических, прозаических, литературоведческих, краеведческих. В номере 1–2 вместе с признанными мэтрами литературного цеха – Иваном Малохаткиным, Николаем Палькиным, Владимиром Бойко, Владимиром Вардугиным, Павлом Булгиным, Михаилом Чернышёвым, Александрой Баженовой – были опубликованы блестящие дебюты Елизаветы Мартыновой и Маргариты Борцовой.

В номере 3–4 читатели нашли произведения Людмилы Каримовой, Виктора Политова, Я. Удина, Михаила Муллина, Натальи Тяпугиной, Виктора Маняхина, Виктора Бирюлина, а также ещё один яркий журнальный дебют – Павла Шарова.

А номер 5–6 запомнился литературному сообществу и вовсе целой чередой дебютов: он открывался подборкой стихов Наталии Кочелавой, продолжался новыми стихами Валерия Кремера, а в качестве мощного литературоведческого аккорда в нём звучала всей мощью своей полифонии, на мой взгляд, одна из лучших работ Ивана Пыркова – «Сон Обломова» и «Щит Ахилла». В этом же номере были опубликованы стихи трагически ушедшего из жизни Игоря Алексева – «Мне надо пережить рассвет...» Я помню его визиты в редакцию, в его легендарной красной кепке, спокойную, внимательную манеру ведения разговора, общее ощущение какой-то особой трагической мужественности, исходившей от этого человека и поэта.

Кроме того, этот номер содержал произведения Михаила Меренченко, Дмитрия Худякова, Олега Молоткова, Владимира Азанова – в общем, в определённом смысле его можно считать эталонным для журнала Николая Болкунова – воплощением в жизнь взгляда на свободную и духовную литературу.

А с первой страницы номера 7–8 в лицо читателя ударял неуёмный ветер своенравной Катунь! Поэт Николай Сергеевич Байбуза со свойственным ему размахом открывал тему литературных путешествий – делился впечатавшимися в душу впечатлениями от посещения родных мест Михаила Шукшина. Байбуза, навсегда объединивший в себе и в своих стихах родной Алтай и Поволжье, где ему довелось прожить много лет, в этом эссе остался верен себе: чувствовать широко, вдыхать в себя ветры эпох всей грудью. Лично для меня многое в прозе Шукшина и его биографии стало понятнее после прочтения байбузовской «Горькой ягодки памяти».

А ещё в номере 7–8 были опубликованы Николай Зиновьев, Наталия Соболевская, Вячеслав Клыков, Андрей Ребров. Трогательное повествование Юрия Неклюдова «Протоколы хвалынского детства» не оставило равнодушным никого из читателей, а стихи Ивана Василь-

цова из подборки «По чашам невидимых слёз» стали одной из самых заметных поэтических публикаций года.

Значительной вехой для журнала и лично для его редактора стала публикация труда иеромонаха Нектария в рубрике «Духовные истоки». А монументальный исторический труд А. Н. Галямичева и В. П. Тотфалушина «Саратовский край глазами чужеземцев» был с большим интересом встречен краеведами и просто любителями истории родного края.

К моменту публикации этого номера журнала в редакции накопилось уже довольно большое количество читательских откликов. Некоторые из них отличались особенной искренностью, радостью от встречи с «Волгой–XXI век», и редакция единодушно приняла решение публиковать такие отзывы в отдельной рубрике. В номере 7–8 были размещены отклик и небольшая подборка стихов Виктора Робертуса – русского немца, любителя русской поэзии и просто вдумчивого читателя.

Номер 9–10 кроме рассмотренной ранее статьи редактора «Одоление зла» был отмечен стихами Владимира Шемшученко, произведениями Ивана Корнилова, Виктора Бокова и других авторов.

Последний номер первого года издания, 11–12, содержал стихи Валерия Шамшурина, дебютную поэтическую публикацию Алисы Орловой и ещё два своеобразных «дебюта»: поэта Валерия Кремера – в прозе, и известного радиоведущего Евгения Грачёва – в поэзии.

Я неслучайно так подробно останавливаюсь на публикациях «Волги–XXI век» в первый год существования журнала. Мне кажется, что именно в этот год был заложен фундамент того здания, что ныне, спустя 10 лет, носит гордое имя, придуманное Н. В. Болкуновым. Ведь ни для кого не секрет – и в момент создания новой «Волги», и далее не прекращались и не прекращаются споры о её праве на правопреемство традиций «старой», фединской «Волги» – литературного символа Саратова. Давая имя своему журналу, Н. В. Болкунов не просто пытался избежать совсем ненужных в тесном писательском провинциальном цеху юридических тяжб с владельцами бренда «журнал «Волга». Он задавал своему «кораблю» курс на будущее – чтобы он, как гончаровская «Паллада», открывал новый век, новую литературу, а в его чистых кильватерных струях блистали лучшие произведения прошлого – разных эпох и авторов. Чтобы он шёл, как гриновские парусники, к горизонту – без лишнего суетного шума, тихо, уверенно и славно – к тихой славе.



**Юрий
МОГУТИН**

Я ЖИЛ В ТОЛПЕ ЖИВЫХ ЗЕРКАЛ

Жизнь прекрасна, как бычки в томате!
Ни Чечня не светит мне, ни срок.
Списан по нулям в военкомате.
Не грозит калеке воронок.

В яростной войне дворцов и хижин,
Прежде, чем загонят за Можай,
Раз уж в недожизни этой выжил,
Гегемонам, блин, не возражай!

Среди них непопулярна жалость,
Когда делят общее добро.
Ладно бы за Сталина сражались,
Так ведь нет, грызутся за бабло!

Мир тесен – я здесь неуместен:
На свадьбе, тризне, на параде,
С молитвой, с песней и без песен,
В Москве, Пропойске, Воблограде.

-
- Юрий Николаевич Могути́н родился в 1937 году в семье дипломата, репрессированного в 1938 году, приговорённого к высшей мере, заменённой 25 годами лагерей. Вместе с матерью, как ЧСВН (члены семьи врага народа), был выслан из Москвы. Детство Ю. Могутина прошло в эвакуации на Урале и в разрушенном войной Сталинграде. После войны учился в школе рабочей молодёжи, был разнорабочим на стройках по восстановлению Сталинграда, матросом на рыболовецком судне на Каспии, служил в авиации в Прикарпатье. Окончил историко-филологический факультет Волгоградского педагогического института, преподавал русский язык, работал в газетах. Прожил в Сибири 16 лет. Окончил Высшие литературные курсы. Член Союза писателей СССР. Автор многих книг стихов и прозы и многочисленных публикаций в центральной и региональной печати, лауреат Горьковской литературной премии и премий «толстых» журналов. Живёт в Москве.

В Нечерноземье и Сибири
Моим не верили слезам.
Они б сто раз меня убили,
Но порешили: сдохнет сам.

Я жил в норе, пахал как трактор,
Задобрить силился страну.
Но вот стихи – пожалуй, фактор,
Отягощающий вину.

Дырявый чайник, банки-склянки
И колченогая кровать...
По разумению Лубянки,
Как мог я это продавать?

Ночами что-то ищет в сенцах,
Кому-то жалуясь со сна,
С верёвки скинет полотенца –
И вновь глухая тишина.

Вздохнёт – и шторка затрепещет,
В трубе скребётся, в ставню бьёт.
Простыл? А может, что похлеще
Ему покоя не даёт...

Пошто ты маешься, сердешный?
Иль от людей передалось?
Ведь ты анчутка, нежить, леший!
Что ж у тебя всё вкривь да вкось?

Зачем вчера свалил корыто
И давишь кур исподтишка?
Он зыркнет на меня сердито
И крутит пальцем у виска.

Срок пришёл доживать самотёком,
Слать молитвы в небесный ЦК
И делиться с приبلудным котёнком
Магазинной туфтой молока.

Поманило – и нет изобилья.
Сыплет крупкой в прорехи избы.
Обречённая поступь кобылья
У моей захиндрящей судьбы.

Спит в тулупе сугробов пространство.
Но земле не поставишь в вину,
Что она молода и прекрасна...
(Я живущих имею в виду.)

Всё смешал в Своей колбе Провизор:
Честь и подлость, комфорт и пургу.
Остающейся жизни огрызок
Я в Господень чулан волоку.

Развалюха на склоне оврага –
Почернелый, сутулый сарай.
Нищета, беспросветность, бодяга.
Но в сравнении с нежитью – рай.

И тут не вмоготу, и т а м нас вряд ли ждут –
С монетою во рту: т а м взятки не берут.
Вот разве что обол возьмут за перевоз...
Раствитель? балабол? – со всех там будет спрос.

Свой неподъёмный грех влачат на Суд стукач,
Заслуженный палач и нелюдь-вертухай.
Загубленных судеб агонию и плач
Горилкою зальют и выдохнут: нехай!

Ужо вам, с багажом, награбленным у жертв!
Над Родиной взошли иные времена.
Окончен карнавал, кровавый ваш фуршет.
Стукавшим на меня уже не до меня...

Твой день последний настаёт.
Глядишь, он снова – предпоследний.
И жизнь – не в жизнь, и смерть нейдёт,
Надежда топчется в передней.

На сто-заброшенной версте
Я жил без крова и прописки,
Но выжил бы и в Воркуте,
Пусть и без права переписки.

Перемогаюсь как могу
И выживаю как умею.
Иголку не ищу в стогу:
Что мне, слепому, делать с нею!

– Старьё берём! Старьё берём!
В обмен на жвачку для утехи.
Оставленный Поводырём,
Пощусь – прореха на прореха...

Почёт – по чётным, офис – по нечётным.
Что возвеличит, то нас и убьёт.
Летит по траекториям расчётным
Акцизный нумерованный народ.

Конечно, клерк везде неодинаков,
Но за маржу химичит до конца
И ради водяных желанных знаков
Не пощадит родимого отца.

Я знаю их – за фирменным фасадом
Не отводящих глаз под Божьим взглядом,
Хоть больше знаю тех, кто сир и нищ
И не имеет хлеба и жилищ.

Все думают, что не могли иначе –
Таков судьбой назначенный дресс-код.
В слюне зачатья, немощи и плаче
С трудом людьми становится народ.

Был ручным, как граната, и безопасным, как бритва,
Драку и мат предпочитал молитвам.
Всласть нахлебавшись брошенности сиротской,
Не просекал, что жизнь не должна быть скотской.

Слепоглухонемая вещь не в себе – Фортуна
Мимо меня просвистала в сторону, что ли, Хартума.
В поисках этой вещи я обыскал округу,
А неудачи тем часом крались за мной по кругу.

Исподволь прорастали, словно Чернобыль, пустошь,
Сумерки, старость, глаз покупной на скотче
И ожиданье: когда мне грехи отпустишь
И подобреешь ко мне, Авва Отче?

Я – как разобранный Богом на части «конструктор»,
А подо мною – Урал, трудовой, трёхколёсный.
Часть меня чукчам развозит по тундрам продукты,
Прочая – в шторм на Оби налегает на вёсла.

Птица в плену принимает контуры клетки,
Клетка – подобие в ней содержащейся птицы,
Рыба становится блюдом, запутавшись в сетке,
Люди – лишь спицы Господней большой колесницы.

Быть не убитым таким назначеньем сугубым
Нам позволяют стихи – подстрекатели речи.
И воспаряем на миг над субстанцией грубой,
Чуя, как крылья растут из окрепших предплечий...

Все мы – пасомый Пастырем скот,
Пена летейских вод.
Плоть исчерпала земной завод,
Катится на извод.

Ангел-Хранитель учит терпеть,
Божий вселяет страх,
Дарит надежду на лёгкую смерть,
Упокояет прах.

Чается рай, а назначен ад –
Третьего не дано.
– К вам прилетят, – буркнет медбрат
И растворит окно.

Из бездомных, полуголодных лет,
Из затурканных маленьких безотцовщин
Вырастает чудик, типа поэт,
Иногда Бендер, порой фарцовщик.

И поскольку спасение в нём самом,
В окруженье успешных, мордатых, сытых,
Он идёт на штурм, ва-банк, напролом –
В депутаты, рейдеры или в бандиты.

Униженья детства, уйдя под спуд,
Бередят мучительное сознание;
Вызревает цель: месть, самосуд.
Но кому? У страны другое названье.

Живём на стройке, на помойке.
Всё что-то чиним, ремонтируем,
Талдычим всё о перестройке.
Никак мы рай не спроектируем.

Тут котлованы, там колдобины,
Обезображенные речки,
Культи деревьев, наподобие
Хромых, увечных человечков.

И в исступлении ремесленном
Что ни построим – разрушаем,
Дороги превращая в месиво, –
Ништяк, страна – она большая!

Она, смирившаяся, выдюжит
Раздрай, разруху, какофонию,
Лелея, как о граде Китеже,
Мысль о комфорте и гармонии.

Среди окрестных мужиков
Незнание иноязыков
Не почиталось недостатком.
И на родном-то кое-как
С себе подобными протак
Общался, путаясь порядком.

Откуда же в одном из них
Возник однажды странный стих,
Малопонятный и корявый?
Кто в полумраке снова
Надиктовал ему слова
И наградил бациллой славы?

Тем чудачком, увы, был я.
Пройдёт! – надеялись друзья.
Однако блажь не проходила.
Опередив НКВД,
Она со мной была везде
И всласть пером моим водила.

Я жил в толпе живых зеркал
И трудно к чувству привыкал,
Что где-то видел эти лица.

«Вем только то, – сказал Сократ, –
Что ничего не вем». Стократ
Я в этом вскоре убедился.

Но если слово – пустота,
Трясенье воздуха, тщета,
И если пустота не ранит,
То почему душа в крови
Изнемогает от любви
И что нас крутит в рог бараний?

Своя у каждого Дункан,
Любовь танцует свой канкан,
И надо всем витает Слово,
Неформулируемо вслух.
Когда любовь испустит дух,
Ты будешь в роли понятого.



И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН, ИЛИ КТО БЫЛ КЕМ

Беседа с саратовским писателем и журналистом
Евгением Грачёвым



– Евгений, собираетесь ли вы в преддверии вашего юбилея подводить творческие итоги – издавать книгу, устраивать творческие вечера – или такой рубеж для вас условен и вы продолжаете свободно творить?

– Пока я об этом не думал. Очевидно, будут какие-то творческие встречи. Если меня приглашают, то я никогда не отказываюсь. Я могу выступить в библиотеке или в клубе, и для меня неважно, большая аудитория или маленькая, главное – чтобы были слушатели, чтобы происходило общение, о чём-то спрашивали, а я отвечал. Так было в Ярославле, Пензе, Самаре, Минске и Москве. Кстати, мне уже на юбилей подарок сделали: в ростовском издатель-

стве «Проф-пресс» вышла книжка «Загадки маленьким», а в саратовском издательстве «Десятая муза» – раскраска со стихами «Светлячковый сундучок». А вот «самую-самую» юбилейную детскую книгу в соавторстве с художником Станиславом Вороновым я готовлю. Она будет называться «Конфеты фараона, или Путешествуем по странам мира».

С детства я мечтал стать моряком, поплавать, побывать во всех странах. Но мечта эта не сбылась. Я окончил наш университет, работал журналистом в разных газетах, ездил в командировки на Кавказ, Украину, в Белоруссию, Казахстан. От этих поездок оставались впечатле-

ния, заметки в блокнотах. Конечно, я путешествовал очень мало... И вот эта книга – отчасти осуществление детской мечты. Мне хотелось бы, чтобы со мной попутешествовали мальчишки и девчонки так, как это иногда делаю я. Беру глобус: ага, Южная Америка... А что там, в Уганде, интересного? Посмотрим?

*Колбасное дерево – вот чудеса!
В Уганде на ветках растёт колбаса,
Но здесь африканские обезьяны
Её не едят – им вкуснее бананы.
Колбасное дерево – чудо-плоды!
Под деревом кто-то оставил следы.
Взлетают меж веток всё выше и выше...
Наверно, летают колбасные мыши!*

В эту книгу вошли стихотворения о 55 странах «от А до Я» – от Австралии до Японии. Очень сложно в маленьком произведении рассказать о большой стране. Надо создать некую визитную карточку, чтоб было понятно самое главное. Вот, например, Канада. Визитная карточка – канадский хоккей.

*В Канаде спортсмены выходят на лёд,
Гоняют за шайбой взад и вперёд,
Несутся к воротам, быстрее и быстрее,
Ну кто же не любит канадский хоккей!*

Для полноты впечатления я сделал книгу из двух разделов. Первый – «Путешествия», а второй – «Компас эрудита».

Немногие, наверное, знают, что первый галстук был изобретён в Хорватии, сахар-рафинад – в Чехии, первый самокат появился в Германии, а самая длинная канатная дорога – во Вьетнаме.

И вот во втором разделе известные люди – артисты, политики, писатели – рассказывают про каждую страну. Пятьдесят пять стран – пятьдесят пять соавторов.

Так, во втором разделе легенда советского хоккея Владислав Третьяк рассказывает о Канаде, в том числе о канадской купюре, на которой изображены мальчишки, гонящие шайбу по льду озера.

Прочитав эти два раздела, дети будут знать, что представляет собой Канада, где она находится, запомнят, что у канадцев есть дружба здесь, в Саратове.

Или Индия. Есть стихотворение, и есть рассказ одного саратовского путешественника об Индии: слоны, обезьяны, чайные плантации, на улицах Дели гуляют священные коровы и ездят трёхколёсные велосипеды с рикшами, как в цирке. А известный гроссмейстер Анатолий Карпов поделился знаниями о том, что Индия – это родина шахмат. Здесь их первая древнейшая форма называлась «чатурангой». По правилам этой игры надо было истребить все фигуры соперника. Со временем правила поменялись, но неизменно высокой остаётся

популярность этой великолепной игры, развивающей интеллект, внимание и характер.

А вот болгарский космонавт Александр Александров (он тоже приезжал в Саратов) прочёл моё стихотворение о Болгарии и сказал: «Сразу видно, что ты в Болгарии не был, потому что кроме Софии в нашей стране есть и другие интересные города». И когда он летал в космос, то всегда в иллюминатор смотрел на Болгарию: очень интересно ему было на неё взглянуть в таком ракурсе.

Во многих странах я не бывал, потому доверяю свидетельствам тех, кто там живёт или постоянно гостит. Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт, рассказала о Кубе – она там часто бывала, у неё там много друзей. На Кубе проходят музыкальные фестивали, а ещё кубинцы подарили всему миру прекрасные танцы, которые называются «сальса» и «ча-ча-ча». И Валентина Владимировна заметила, что кубинцы не только танцуют и поют. Это очень трудолюбивый народ, выращивает сахарный тростник, овощи и фрукты...

Немногие, наверное, знают, что в Норвегии были изобретены первые лыжи. Эти дощечки на ноги надевали первобытные люди-охотники. Артур Чилингаров, известный путешественник, доктор географических наук, член Британского Королевского Географического общества, президент Ассоциации полярников, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации, вспомнил том, как он ходил на лыжах: «Мне тоже часто приходилось вставать на это чудо-изобретение, чтобы побывать и в Арктике, и в Антарктике».

В книге есть стихотворение про Иран. Посольство Ирана как-то пригласило меня на презентацию персидских сказок в Москву, в детскую библиотеку. Сказки подарили. Такая дружба завязалась! И в книге моей Хосейн Табатабайи, главный редактор журнала «Караван», рассказывает про Иран – интересную страну с красивыми традициями. Там работают Музей современного искусства, Музей ковров, Национальная сокровищница, где буквально захватывает дух от обилия редчайших драгоценностей. Среди археологических памятников выделяются древняя крепость Шешме Али и 20-метровая башня Тогрол, расположенные на окраине Тегерана.

Когда я работал над этой книгой, конечно, тоже сделал для себя много открытий. Как появилась первая застёжка-липучка и кто её изобрёл? Почему в горных Альпах нужен парашют, а в Боливии всё белым-бело, но не от снега? Ответы на эти и другие важные вопросы читатели получают из книги «Конфеты фараона, или Путешествуем по странам мира».

Написал я и стихотворение о России. А во втором разделе книги своими впечатлениями о разных уголках нашей страны делится певица Валерия.

Эта книга появится осенью, и первая презентация пройдёт во Всероссийской детской библиотеке в Москве.

– Я поняла, что ваша книга – это такой масштабный проект, очень интересно, оригинально задуманный. Ничего похожего я раньше не встречала.

– Это такой учебник по географии. Книжку прочитал – и, может быть, потом тебе интересно будет этот предмет изучать. Занимательная география.

– **Насколько я знаю, вы пишете не только стихи, но и прозу. Написание прозы отнимает много времени, и к тому же у вас такая серьёзная журналистская работа. Как вам удаётся всё это совмещать? Есть какой-то свой секрет?**

– Что касается прозы, то журналистика мне во многом помогает. Те сюжеты, которые не вписываются в репортажи, я могу использовать для рассказов и повестей. Приведу два примера. Однажды я поехал в Саратовский район. Там есть старая «многоколейка», и многие железнодорожники жили прямо тут же, в вагончиках. Вот я и поехал, чтобы разобраться в ситуации и помочь людям. Оказалось, что там сохранился вагон, в котором ездил Сталин – «сталинский вагон», бронированный, очень хорошо сделанный.

Что касается железнодорожников – да, был репортаж, всех переселили потом, помогли. А про вагон я стал наводить справки. Как-то беседовал с краеведом Андреем Касовичем, и он мне рассказал, что в годы войны Ставку из Москвы перенесли, и было несколько бункеров Сталина – и в Самаре, и в Саратове, на Соколовой горе. Такая легенда, а может быть, и не совсем легенда. Однажды один из журналистов записал интервью с инженером, который утверждал, что побывал в бункере Сталина и держал в руках архивные документы того времени.

Мне осталось только сесть за компьютер и написать повесть «Бункер Сталина». Естественно, доля вымысла в ней присутствует, но ведь без него и нельзя.

Второй пример – повесть «Дембельский альбом», напечатанная в журнале «Подвиг». Я служил в 1977 году (самый расцвет «дедовщины») сначала на Украине, в Днепропетровске, потом нас перевели в тайгу, в Читу. Я был командиром, младшим сержантом. Приходилось с этим явлением сталкиваться, разбираться, и «махаться», и не «махаться». «Махаться» – это когда офицеры уезжают с точки, остаётся один дежурный, и среди солдат начинаются внеуставные взаимоотношения. Это очень серьёзные разборки. Порою трагические. И я дал себе слово, что напишу об армии, потому что люди должны знать правду о ней. Но в 70–80-е годы в СССР, в эпоху застоя, конечно, никто бы эту вещь не напечатал.

А потом, в восьмидесятые годы, появилась повесть теперешнего редактора «Литературной газеты» Юрия Полякова «Сто дней до приказа». Это, конечно, был прорыв. Значит, тема была актуальная и болезненная, и не один человек хотел об этом написать...

Моя повесть появилась намного позже. Я писал об армии уже иначе, с долей иронии, потому что прошло время, всё остыло и не хотелось огорчать наших призывников. Это своеобразное повествование «в байках».

В журнале «Подвиг» (№ 2, 2010) повесть «Дембельский альбом» была напечатана с восторженным предисловием Сергея Шуракова,

который отмечал художественность и объективность повествования. Не скрою, что мне это было очень приятно.

– И так, ваша проза выростала из журналистики, из каких-то жизненных ситуаций. А изначально какой был импульс – всё же творческий? Или вы начали работать журналистом, а потом стали писать прозу и стихи?

– Стихи я пишу с детства, первое стихотворение написал, когда мне было пять лет. Первым слушателем и критиком была моя бабушка. Ну а позже долго писал «в стол», некоторое время печатался под псевдонимом. Вообще, публикация для меня не самоцель. По-моему, творчество – это болезнь. Специально я не пишу, не следую принципу «ни дня без строчки», хотя он тоже хороший, позволяет чувствовать себя в форме. А у меня происходит по-другому: что-то начинает угнетать, раздражать. Как будто гриппом заболеваешь. Чего-то не хватает. А затем процесс письма так увлекает, что можешь ночь просидеть. А потом наступает кайф.

– Евгений, и всё же, несмотря на то, что публикация для вас не самоцель, вы активно участвуете в литературном процессе. С вашей точки зрения, можно ли что-то изменить в современном литературном мире своими силами, когда верхушка писательского сообщества занята разделом имущества и финансов, а в провинции достойные писатели не имеют возможности официально издать свою книгу? Может ли писатель своей позицией повлиять на эту ситуацию или он бессилён?

– Я бываю в разных городах и заметил одну характерную особенность. Везде есть свои команды, как в футболе. Свой вратарь, защита, нападение, запасные, и больше им никого не надо. Иногда проводят конкурсы, чтобы выявить молодых и талантливых. В любом случае нужно стучаться в двери интересных тебе изданий. Мне-то проще: я кого-то знаю, меня знают – а вот молодым очень сложно выйти из замкнутого пространства.

– Получается, что в литературном процессе каждый человек должен пробиваться самостоятельно? А может ли писатель повлиять на литературный процесс в целом, помочь не только себе, но и другим? Я вот, например, стараюсь помочь писателям как редактор, при помощи журнала.

– Есть ещё один срез – это интернет. В интернете можно создавать сайты, сообщества, журналы, проводить конкурсы...

– Но порой начинающий писатель на литературном сайте находит «большую мусорку», в которой сложно обнаружить «жемчужину». Нет ориентиров, нет путеводителей. Но если они появятся, вы правы, интернет может стать одним из выходов. И всё же это пространство виртуальное. А вот в реальном?

– И один в поле воин. Надо что-то делать, хотя бы писать хорошие тексты. Я считаю, что если написана какая-то хорошая вещь, она всегда найдёт себе дорогу и её обязательно напечатают. Вот я написал свои сказки про волшебную страну детства Смеходрон. Прошло время, эту рукопись заметили, и она была опубликована.

Не нужно подменять творческий труд проталкиванием, а поэта – менеджером. Пришёл автор в издательство, его рукопись оценили: талантливая вещь! Вообще гениальная вещь! Но даже в этом случае от автора требуется найти спонсоров. Так, деньги нашёл, книгу издали, и ему говорят: всё, забирай свой тираж, то есть ты должен сам обращаться в магазин и заниматься реализацией.

– Вот поэтому я и говорю, что «один в поле воин» – хорошо только с точки зрения творчества, а когда наступает момент «продажи рукописи», начинаются те проблемы, которые, по идее, должны решать писательское сообщество. Но пока, к сожалению, оно их не решает.

– Меня один знакомый спрашивает: если ты поэт, писатель, пишешь книги для детей, песни для известных певцов, сценарии, то почему ты такой бедный? А я говорю: потому что мне приходится продавать свои вещи за копейки. Я над книгой работал 10 лет, а гонорар за неё мизерный. Но я вынужден подписывать этот кабальный договор с издательством, потому что не хочу выступать ни в роли менеджера, ни в роли продавца. Этим всем заниматься у меня просто нет времени.

– Действительно, если этим заниматься, некогда будет писать стихи и прозу. Я вот тоже не понимаю, когда люди стараются сами себе «пробить» книгу или вечер...

– Что касается вечеров, так ко мне просто в очередь встают. Приходится даже иногда отказывать, потому что не успеваю. Иногда извиняются, что не могут заплатить. Да бог с ним, я же знаю, что на этих вечерах не разбогатею, это с моей стороны благотворительность. Вышла у меня книжка «Дело было в Смеходроне» – 20 тысяч экземпляров. Я их с друзьями, художниками, музыкантами дарил школам, интернатам. Это был такой благотворительный жест.

– Мне кажется, что созданная вами передача – «Клуб саратовских писателей и краеведов» – это тоже попытка повлиять на наше литературное пространство. Ведь всё-таки люди нас слушают, слушают стихи, узнают о том, что вышел журнал, создано новое издательство, провели «Библиночь» или тот или иной литературный конкурс...

– Абсолютно согласен. Всегда хочется сделать что-то не только для себя, но и для своих коллег. У меня несколько таких попыток было. Некоторое время назад мы при Союзе писателей начали выпускать литературный альманах под названием «Плѣс». Несколько номеров вышло, участвовали поэты, прозаики – всё как положено. Но дальше не пошло. Я приобрёл больше врагов, чем друзей. Начались разногласия: «меня не напечатали, а его напечатали»; «а у него стихи слабее, чем у меня» – и всё такое...

Была возможность продолжать этот литературный проект, но я понял, что мы погружаемся в какую-то трясицу, а зачем? И главное – для чего мне это надо?

– Да, писателям не хватает доброго отношения друг к другу и понимания того, что все мы делаем общее дело.

– Теперь у меня уже есть опыт, и в «Клубе...» у нас совсем другие отношения. Стараемся приглашать новых творческих людей, ведь если это талантливый автор, если у него есть новые идеи и мысли, то они обязательно прозвучат в нашей передаче. А к нам приходят и писатели, и поэты, и библиотекари, и издатели, и даже композиторы. В разное время в нашей передаче участвовали писатели Михаил Александрович Каришнев-Лубоцкий, Михаил Семёнович Муллин, Александр Борисович Амосин, поэт и композитор Михаил Александрович Кольяшкин, краевед Владимир Ильич Вардугин, депутат областной думы, журналист и краевед Александр Дмитриевич Сидоренко и многие другие.

Ещё мне хотелось бы сказать о песенном творчестве. Песенный жанр часто воспринимают как «второстепенный». А между тем, если народ поёт песню на стихи того или иного поэта – это что-нибудь да значит. Некоторые поэты остаются в литературе одной песней. И вот создание песни – это тоже возможность «продвинуть» творчество автора, позволить ему звучать.

Так что, несмотря на трудное для литераторов время, у каждого из нас остаётся множество возможностей реализации: это создание песен, участие в конкурсах, публикации в журналах, общение в интернете, участие в радиопередачах, проведение творческих вечеров. Главное – качественно делать своё дело, не завидовать друг другу и помнить: только время покажет, кто был кем.

Беседовала Елизавета МАРТЫНОВА



*«Клуб саратовских писателей и краеведов»
(слева направо): В.И. Вардугин, Е.А. Грачёв, А.Д. Сидоренко,
Е.С. Данилова, А.Б. Амосин*



**Иван
ЩЁЛОКОВ**

СТРАСТИ ШЕКСПИРА НЕ СХОДЯТ СО СЦЕНЫ

Перелистывая страницы номеров
всероссийского альманаха «День поэзии – XXI век».
2006–2013 гг.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ, ИЛИ «ЭПИГРАФ»

Эти заметки изначально предназначались вышедшему в Петрозаводске на базе журнала «Север» очередному всероссийскому альманаху «День поэзии-2013», и стихотворные цитаты, соответственно, я заимствовал из текстов авторов этого выпуска. Но для полноты информации замечу, что ранее стартовой площадкой для издания ежегодника были «Литературная газета», журналы «Второй Петербург», «Нева», «Юность», «Подъём». А сам «День поэзии» возрождён был в 2006 году по инициативе энтузиастов из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа.

По прошествии восьми лет отчётливо понимается, что появление возрождённого ежегодника относится к событиям, имеющим более широкое значение для поэтической жизни современной России, чем просто выход очередного номера. Поэтому, положительно оценивая сам факт возрождения «Дня поэзии», невозможно уйти от разговора о фундаментальных вещах: в каких, например, условиях

-
- Иван Александрович Щёлоков родился в 1956 году в селе Красный Лог Каширского района Воронежской области. Окончил филологический факультет ВГУ. Член редколлегии альманаха «День поэзии». Член Союза писателей России. Автор поэтических книг «Под знаком Водолея», «Долгое эхо», «Осенние многоточия», «Страждущий ветер» и других. Публиковался в литературных газетах и журналах, поэтических сборниках. Живёт в Воронеже.

существует сегодня русская поэзия, как она взаимодействует с внешним миром, насколько здоров дух её, что несёт она обществу, способна ли по-прежнему быть «вечевым колоколом» или неизбежно мимикрирует, мельчая и вырождаясь...

А на фоне «цветных революций», «арабских вёсен» и «киевских зим» можно поставить вопрос и шире: насколько созвучен голос современной поэзии голосу масс? Востребует ли поэтическое слово своё исконно честное, мужественное гражданское и социальное звучание в обществе, где глобализм как идеология не стал адекватной заменой более мягкому понятию интернационализма (включая и коммунистический), духовной скрепой которого были всё-таки традиционные ценности человечества?

Не менее ответственной тема самого поэта в начале нового столетия. Кто он? Безликий винтик политико-маркетинговой сети, специализирующийся на «производстве изящной услуги», или сумасшедший одиночка, бредущий против глобального потока? Надо ли ему в нынешних реалиях следовать некрасовской формуле: «*Поэтом можешь ты не быть, / Но гражданином быть обязан...*» или евушенковской фразе: «*Поэт в России больше, чем поэт...*»? А может, и то, и другое – отдающее нафталином одеяние, и для юного, деидеологизированного (в смысле – дезориентированного) творца виршей поэзия – это лишь прикольный коктейль для продвинутой публики?

Пока писал эти заметки, пока размышлял об альманахе, о поэзии, о жизни, неожиданно выплеснулось из сердца что-то из ряда стихотворных «вариаций на тему». И подумал: пусть будут своеобразным авторским эпиграфом к разговору. Ведь настоящая поэзия рядится не только в одеяния симпатичных, чувственных барышень и влюблённых юношей, но нередко – в доспехи доблестного воина, заступающего в дозор.

*Служение пуще охоты...
Поэты – народец такой.
Не скажешь о них: из пехоты,
Но каждый – на передовой.*

*Ни в танке, ни в шахте ракетной,
Ни в лодке средь мёртвых пучин,
Они – из других – неприметных,
Но животворящих глубин.*

*Они от особого фронта,
От мирных резервных полков:
Не бьют из эсминцев по фортам,
Напалмом не жгут городов.*

*Бойцы благородного толка
По воле небес и Творца
Строкой, а не дулом винтовки
В полон забирают сердца.*

*От хладных полярных предместий
До вечных хоривских купин
Сдаются им розно и вместе
Германец, еврей, славянин.*

*Ни в пошлой войне дилетантов,
Ни в марше глобальных свобод
Поэты, подобно десанту,
Своих не оставляют высот.*

«НЕТ НУМЕРАЦИИ... ПОЭТОВ»

Наверное, можно говорить, что возрождённый «День поэзии» как уникальный постсоветский издательский проект состоялся, преодолел первый «звуковой» барьер в путешествии по пространствам русской словесности. Будут ли преодолены второй, третий, последующий барьеры? Прогнозы, как известно, дело неблагоприятное, хотя и пометать было бы тоже невредно.

Тем не менее почему-то хочется верить, что для большинства читателей знакомство с новоявленным «Днём поэзии» – не столько ностальгия о том ещё альманахе, который выходил в советские годы, с 1956-го по 1990-е, сколько желание возродить чувства духовной и эстетической чистоты, без чего, видимо, немислимо представить поэзию как вид литературы. Нынешний альманах – это десятки известных и малоизвестных поэтов. Они из разных уголков России, из Белоруссии, Казахстана, Украины, Армении, Израиля, других стран. Это о них и о себе, как всегда, афористично говорит Евгений Евтушенко:

*Нас Пушкин выдышал
одноупряжно.
Кто кого выше был –
не так уж важно.
У русской нации
среди пуль, наветов
нет нумерации
её поэтов.*

Зато есть во всех выпусках альманаха калейдоскоп чувств и мыслей, волнений и тревог, метафор и образов, созвучий и настроений. И всё это светло ложится на душу, напитывает волшебством и счастьем, энергией любви и сопричастности к великому таинству постижения мира через Слово. И даже объявившийся вдруг в «Дне поэзии-2013», будто из того забытого общего мира, народный поэт Казахстана Олжас Сулейменов меня несказанно обрадовал своим присутствием на страницах альманаха и проникновенным словом приветствия: «Возрождение альманаха «День поэзии» – это значительное событие культурной и литературной жизни на просторах Евразии»

в XXI веке. Новый «День поэзии» – это прорыв в будущее. Приветствую редколлегия, попечительский совет и составителей, которые нашли в себе мужество талантливо отстаивать честь нашей великой поэзии в новом веке».

Олжас Сулейменов буквально вернул меня в конец далёких 70-х годов прошлого века. Я тогда был студентом четвёртого курса филфака Воронежского госуниверситета. Замечательный педагог и учёный, прекрасный знаток литературы народов СССР П. А. Бороздина настоятельно посоветовала мне писать курсовую работу по творчеству О. Сулейменова. Не прислушаться к совету учителя я не мог: студенты всех поколений обожали Полину Андреевну за открытость, доброту и честность. Любили ходить к ней на квартиру, где с трудом передвигались – все стены были уставлены стеллажами с книгами.

За плечами Полины Андреевны – а ей теперь перевалило уже за девяносто – непростая и интересная судьба. Студенткой вышла замуж за опального профессора, авторитетнейшего в столичной научной среде учёного-востоковеда Илью Николаевича Бороздина, лично дружившего в начале XX века с Блоком, Есениным и другими выдающимися литераторами той эпохи. Они охотно дарили ему свои книжки с авторскими надписями. Впоследствии, спустя десятилетия, всё это бесценное семейное богатство Полина Андреевна подарила университетской библиотеке. В 1935 году Илью Николаевича сослали в Алма-Ату, в 1937-м отправили на Дальний Восток, осудив на десять лет. После лагерей ему разрешили поселиться в Ашхабаде. Там-то Бороздины и нашли друг друга. Полина Андреевна преподавала детишкам в аулах русский язык, занималась популяризацией туркменской литературы. В 1959 году семья переехала в Воронеж...

Я до сих пор счастлив, что с подсказки П. А. Бороздиной открыл тогда для себя О. Сулейменова. Он был по-настоящему ярким продолжателем поэзии Востока. Его слово также органично вплеталось в узоры европейской традиции, прежде всего русской. И всё это стало возможным благодаря продуманной национальной литературной политике в СССР. Талантливых авторов из республик охотно переводили, печатали в ведущих «толстых» журналах страны, издавали огромными тиражами их книги. И, словно в подтверждение своих мыслей, вдруг обнаруживаю в последнем выпуске альманаха строки Александра Горюничкина:

*И народ, погибавший в глуши азиатских окраин,
Лишь в Великой империи станет Великим народом.
И на митингах шумных, собрав малочисленный кворум,
Жить начавшие врозь, позабывшие славные даты,
Не спешите назад расползаться по брошенным норам,
Не ломайте свой дом, возведённый отцами когда-то.*

После такого психологически точного диагноза можно сказать: «День поэзии» – осколок русского поэтического архипелага с прилегающими к нему территориями из малых национальных литератур, плывущий по океану айсберг. А каждая книжка ежегодника – как

поиск духовной матрицы. Мы обронили её в суматошных перестроечных вихрях на обломках вчерашней цивилизации, в несущих конструкциях которой поэзия, изящное слово вообще являлись одной из опорных колонн суперэтнуса. И вот теперь спустя годы будто бы ищем свой культурный код. А проект по возобновлению выпуска «Дней поэзии» – что-то вроде нравственной и духовной компенсации, интуитивного чувства вины за содеянное ранее.

К каким берегам несёт нас по течению современности через глубины памяти метафорический айсберг? Что за странное племя ведёт свой катера наперерез ходу? Зачем так возбуждённо кричит оно о каких-то новых временах, о неслыханной донине абсолютной свободе личности и духа? Неужели диктатура менеджеров, пресс-секретарей, сетевых технологий, интернета и транснациональной коммуникации и есть настоящая свобода для человека? Неужели те, кто отпихивает от себя былинный айсберг в пучину небытия и при этом смеётся и ёрничает над поэтическими забавами предков, и есть глашатаи новой, более совершенной, более прогрессивной морали и культуры?

Хочется верить, что это всего лишь сон. Что это к восходу солнца пройдёт. Потому как человек не машина, не лазерный диск, который кто-то ловко совывает в умное нутро технического прогресса. Слава Богу, пока это «нутро» не научилось жить человеческими страстями.

Наше же живое нутро, в отличие от компьютерного, пока ещё саднит, болит, кровоточит, как, например, в строчках Александра Анашкина:

*Нам пьянеть от границ, от цветных лоскутов
домотканой материи кровных историй...
Хоть картины пиши широтой-долготой,
хоть стирай нас водой из пяти океанов, –
мы останемся здесь...*

И действительно, куда ж мы даже в самую технологичную эпоху от своих эмоций и переживаний, от листопадов и зимних перламутров, любви и предательства? И всякий раз, когда нам дрянно на душе, мы берём в руки, например, есенинский томик и замираем до щемящей сердечной боли: «Отговорила роща золотая...», «Не жалею, не зову, не плачу...» или «Пускай ты выпита другим, / Но мне осталось, мне осталось / Твоих волос стеклянный дым / И глаз осенняя усталость...» Ни одна техногенная революция не вытеснит из сердца этих ощущений! Прав Глеб Горбовский, с пафосом строк которого трудно не согласиться:

*Мы пьём современного мира
коктейли: любовь за бесценнок...
А страсти людские Шекспира
не сходят со сцены!*

Не знаю, как кому, но мне, пролистывая выпуски «Дня поэзии», хочется воскликнуть: «Браво, русская поэзия жива!»

СОСТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО

Издание в последние годы активно прирастает провинцией. В этом есть историческая справедливость и неиссякаемый источник новизны и свежести отечественного стихосложения. Слияние в одном издании поэтических потоков двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга – с поэтическими потоками из глубинки создаёт уникальный опыт воссоздания единого российского литературного процесса, который за последние десятилетия порядком обмелел и в силу различных причин застоялся в болотцах регионального «самодостатства». Думаю, что с перемещением центра тяжести в подготовке и выпуске альманахов в регионы организаторы проекта выполняют благородную собирательную миссию. Без неё невозможно с максимальной полнотой получить представление о состоянии современной поэзии в стране.

Ещё одно важнейшее объединительное начало «Дня поэзии» – в дружбе организаторов проекта с авторами из других государств. Такой, с позволения сказать, «таможенный союз» русской поэзии помогает сохранять ареал нашего языка и словесности за пределами административно-государственной территории.

Доброй традицией ежегодника стали публикации статей о классиках русской поэзии, чьи юбилейные даты приходится на год выхода очередного номера альманаха. Однако в таких публикациях нет никакого официально-торжественного, оркестрового славословия. Наоборот, это серьёзные, глубокие статьи. И написаны они авторитетными, уважаемыми в современной литературной среде людьми, чьи личные творческие заслуги несомненны: Лев Аннинский, Наталья Гранцева, Геннадий Иванов, Геннадий Красников, Станислав Куняев, Вячеслав Лютый, Сергей Мнацаканян, Андрей Шацков...

Симбиоз современной лирики и литературной критики, можно сказать, являет собой пример бескорыстного, сострадательного просветительства. Каждый экземпляр альманаха – щедрый подарок для людей нравственных и совестливых, чутких и неравнодушных. Каждый экземпляр – это маленькая энциклопедия поэтической жизни страны. Передайте в школьную библиотеку – какой богатейший, живой, сочный материал попадёт в руки преподавателя русского языка и литературы! Жаль, что так увлекательно и честно сегодня не пишут в учебниках: «кастрация» курса русской классической литературы в образовательном процессе, вырванная из единого литературно-исторического контекста вульгарная эпизодичность ведут напрямик к дилетантизму и беспамятству.

Конечно, на фоне мировых процессов, под воздействием которых трансформируется устоявшееся политическое и культурное мироустройство, выход альманаха представляет собой не самое большое событие. И всё-таки есть в этом ежегодном маленьком празднике Слова что-то симптоматичное, ведь Россия – неотъемлемая часть этого мироустройства, она исторически обладает мощным запасом влияния на общецивилизационные культурные тенденции. И неслучайно сегодня она, как огромная этнокультурная держава и хранитель-

ница традиционных планетарных ценностей, подвергается жестокому прессингу со стороны «культурного» глобализма.

Не знаю, согласятся ли читатели, но острая востребованность в поэтическом альманахе лично мной воспринимается как своеобразная защита от агрессивной пошлости и эстетической безвкусицы в современном искусстве. Хорошо написал об этом А. Городницкий:

Цивилизация устала от культуры...

<...>

*Ей дела нет до Ветхого Завета,
Ей важно то, что сделано сейчас.
Достигшая всемирного охвата,
Сметая или ставя города,
Она, как Каин, убивает брата,
Не признаваясь в этом никогда.*

Жаль, что никто пока не обосновал зависимость между уровнем развития высоких технологий, в частности информационных, и глубиной деградации, опошления культуры, внутри которой низменные, физиологические инстинкты и поклонение мракобесию пожирают сущностные (гуманистическое и эстетическое) начала индивидуума и сообщества.

«КОСТЁНКИНСКАЯ» ВЕНЕРА И КИРПИЧНО-ЩЕБЁНОЧНАЯ КУЛЬТУРА

Несколько лет назад мне довелось присутствовать на открытии выставки современного искусства. Посвящалась она творчеству Андрея Платонова. Много чего экстравагантного я увидел там. Но один выставочный экспонат меня особенно взволновал. Посреди зала стояло глубокое ржавое корыто советских времён. На дне корыта покоились ребристая доска для стирки и брус хозяйственного мыла. Надпись гласила, что это «Котлован» Андрея Платонова». Отсутствием фантазии я, вроде бы, не страдаю. Однако сколько ни пытался посредством предмета домашнего обихода представить сложнейший по своей философской конфигурации образ платоновского произведения, так и не смог. Во-первых, оцинкованный предмет быта был из более поздних образцов, примерно хрущёвских времён, и эта исторически недопустимое обстоятельство уже претило принятию «творческого» замысла автора как удачного. Во-вторых, смысловое содержание... Оно, мягко говоря, вызывало протест. Даже не из-за способа восприятия «Котлована» Платонова, а по причине откровенно издевательского отношения лично ко мне, ко всем присутствовавшим на выставке, к пониманию искусства и получаемому от него положительному эстетическому заряду, даже к человеку вообще и его социальной, интеллектуальной и духовной миссии на Земле.

Я поделился своими сомнениями с уважаемым коллегой-искусствоведом. Он с витиеватой корректностью стал говорить, что в современном искусстве существуют различные, порой до нелепости авангардные направления... «Я это всё понимаю, – прервал я ход его мыс-

лей. — Объясните мне, для чего существует искусство? Куда должно звать? Вы же бывали в музее «Костёнки»? Почему наш предок, дикий, в сущности, человек, в своих творческих фантазиях звал соплеменников к небу, солнцу, звёздам, безграничному пространству совершенствования? И куда зовёт это корыто? Обрати, туда — к мёртвой тверди, хаосу, червям, к исходным точкам цивилизации? Зачем?» «Возможно, вы правы...» — пожал плечами коллега.

И раз уж коснулся темы первобытного человека, отвлекусь на краткий рассказ об упомянутом уникальном археологическом музее-заповеднике «Костёнки». Расположен он в полусотне километров от Воронежа, на крутом, правом берегу Дона. Прямо в центре села с одноимённым названием. Музей широко известен в мире открытиями стоянок кроманьонцев. Последние выводы учёных, в том числе из Америки и Великобритании, говорят о том, что позднее именно отсюда, с этой донской территории, человек современный шёл осваивать западно-европейскую часть материка. Жили здесь предки исключительно за счёт охоты на мамонтов и рыбной ловли. При раскопках культурных слоёв археологи среди прочих предметов быта (наконечники к копьям, иглы из бивней мамонтов, крючки для ловли рыб, ножи и т. д.) нашли женские фигурки из камня. Причем учёные пришли к выводу, что эти небольшие по размеру скульптуры представляют собой изваяния беременных женщин. Первую же фигурку тогда образно назвали «костёнкинской» Венерой.

Я бывал в этом уникальном историческом уголке много раз. Удивительные по природной красоте места. Холмистая возвышенность волнообразно переливается на солнце разноцветными бликами дня. Внизу, стремительно огибая меловые отроги, извивается быстроводный Дон. Сверху белые-белые облака и густая синева неба. И всюду, насколько хватает взора, степная ширь, неоглядные просторы, по которым вольно гуляют ветры, поигрывая листвою в небольших припойменных дубравах.

В ощущениях мне легко представить, как здесь, на моей земле, размеренно паслись в седой древности мамонты, грузно передвигая свои тучные тела с одного крутояра на другой. А в эти мгновения где-нибудь поблизости осторожно, чтобы не спугнуть лохматую добычу с огромными, грозными, будто застывшие молнии, бивнями, мелькали в коротких перебежках гибкие, выносливые тела курчавых, темнокожих предков — переселенцев из Африки. Чувствовался едва уловимый, дальний запах дыма от очага и приглушённые расстоянием голоса женщин и детей. И мамонт, и древний человек в моём воображении составляли неразделимый и, как ни странно, гармоничный мир той эпохи.

Последний раз я приезжал в Костёнки года три назад. Везил туда московского журналиста из газеты «Культура». Какие-то нерадостные, противоречивые чувства испытывал почему-то. Смотрел на хорошо знакомые очертания древних жилищ, сооружённых предками из костей мамонтов, слушал экскурсовода, даже поглаживал по шерсти чучело ископаемого животного, в натуральную величину исторического зверя, изготовленное столичными специалистами для музея, а мысли вслед за донскими водами уносились в туманную даль безответности. Туда ли идёт человечество, к тому ли причалу движет-

ся, не заблудилось ли в своих корыстных устремлениях, проскользнув мимо главной ценности на Земле – жизни? Помнится, по возвращении домой написал я два стихотворения. Думал, и дальше буду развивать эту тему, но что-то необъяснимое вдруг остановило, произошло какое-то внутреннее торможение. Стихи эти хочу здесь привести полностью: очень уж они ложатся в тему разговора.

В КОСТЁНКАХ

1. ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ

*Ты мечтаешь быть циником, спать на циновке,
Хотя бы и псом в особняке на Рублёвке.
Твой друг – просыпаться на Эйфелевой башне,
С башкой, неподъёмной от попойки вчерашней.
А я – ваш третий спутник по общему веку –
Грущу по жизни обычного человека.
Плыву дикарём по Дону на плоскодонке,
Чтоб вновь побывать в музее села Костёнки,
Взглянуть на бивни мамонтов и на жилище
Далёкого предка... Подо мною – все тщици
Кроманьонских родов, с волосами в колючку,
Кто выныривал в муках судьбу человечью.
С этих круч меловых, из мослов симпатичных
Изваялась позднее Европы античность...
Жаль мне вас, даже если вы где-то в Париже:
Ваше завтра – кость мамонта в глиняной жижке.
За циновку цена по рублю на Рублёвке...
За похмелье на Эйфеле – пиво в бочонке...
А в Костёнках пронзает нутро от прозренья
О грядущей судьбе моего поколенья!*

2. ПЕРВАЯ ВЕРА

*Здесь не было богов – они явились позже,
Когда людская плоть, насытившись сверх меры,
Сползала с дикаря клоком звериной кожи
И обращала в чувства обнажённость нерва.*

*И вразумлялись первобытные провидцы
Под мамонтовый рёв в долинах травостоя,
Простив влюблённым, будто лёгкую провинность,
Познания грех под соблазнительной луною.*

*К нему и к ней спускались боги в час любильный,
И посылали им удачную охоту,
И украшали оберегами из бивней
Тела и шеи за отличную работу.*

*Провидицы плакали светло от осознания
Единства неба, звёзд, людей и трон звериных.
И зов любви, как главный промысел познания,
Был первой верой в этих играх дикариных.*

Я часто спрашиваю себя: почему наш предок, дикий человек, пребывая в жесточайших древне-тундровых условиях выживания, сердцем и духом стремился ввысь, к звёздам, солнцу, чтобы оторвать себя хотя бы взором от брэнного бытия, от кишашей опасностями тверди и почувствовать молекулярное единение себя и мира, земли и неба? Для чего его огрубелые в черновой и часто кровавой работе пальцы так трепетно и нежно ваяли образ возлюбленной? Чтобы эту красоту донести до соплеменников, научить их восхищаться и стремиться к гармонии. У него, предка, не было планшетника и «моби́лы», он не пользовался электронной почтой и интернетом, не запускал «оранжевые» проекты глобализма. Он жил, как умел, и испытывал потребность в высшей красоте.

Почему же некоторые «продвинутые» современники (при «моби́лах», айпадах, «мерсах» и прочей суперцивилизованной «утвари») производят впечатление простейших? Разве не рвут они набором сомнительных ценностей ту самую «молекулярную решётку» единения и гармонии в отношениях с миром? Что за удовольствие получают они, восторгаясь до визга голыми задницами на театральных подмостках? Зачем они без краски на лице внимают отборному мату в общественных местах и когда слушают стихи с похабщиной на творческих вечерах новоявленных «гениев» изящной словесности? Какая особая красота творческого духа влечёт их в выставочные залы, где художественность бытия сведена к кускам железа, ржавым гвоздям, вёдрам и корытам, поддонам из-под кирпича? Ведь, по большому счёту, это отходы производства, мусор. Мне могут возразить: а как же знаменитое ахматовское: *«Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи...»!* И я полностью соглашусь с поэтессой, с её чудной, космической пронизательностью: в основе гармонии лежит хаос. Но сам хаос не может быть гармонией.

«Индустриальные» атрибуты выставочной демонстрации могут быть использованы автором в своих творческих фантазиях. Но вряд ли как самостоятельная художественно-философская целостность. Деталь в любом творчестве лишь деталь, элемент. Чтобы получить законченное «сооружение», художнику недостаточно поместить в нём, скажем, только «окна» или только «крышу», потребуется много других вспомогательных деталей, при умелом соединении которых и рождается оригинальный художественный образ.

Ещё страшней видеть на выставках современного искусства высыпанные горками сахар, подсолнечные семечки, другие продукты. А это уже неприкрытое кощунство... Не знавали, видать, авторы голода, как «костёнкинские» предки, как наши родители в годы войны, как миллионы нынешних недоедающих уроженцев Африки, Латинской Америки и Азии...

Я отнюдь не противник экспериментаторства в искусстве, в том числе в стихотворчестве. Сам люблю иногда повольничать с рифмовкой, размером, аллитерациями... Поэтика не может быть застывшей в классицизме, романтизме, критическом или советском реализме. Поиск новых форм и содержания – нормальное явление для каждой эпохи. Эксперимент, художественно оправданный, освежает стихи, как морской бриз.

Слава Богу, во всех состоявшихся выпусках альманаха «День поэзии» не делят авторов на традиционалистов, приверженцев классической формы, и новаторов, допускающих «фантазии» в стихосложении. Но здесь это органично, талантливо, изящно. Здесь нет примитива, «стихотворной попсы». И значит, это настоящая поэзия.

В противном случае получается, что современные люди, проделавшие колоссальный путь от дикаря к человеку творящему, создающему, развившему в себе способность поэтически-одухотворённо постигать окружающий мир, вступили в эру обратного хода времени. Они, став жертвами цивилизации, в страхе вооружают себя кирпично-щебёночной и верлибро-звериной культурой ужаса и хаоса, забывая, что строительный мусор и отходы промышленного производства тоже есть продукт осознанных, а не стихийных (природных) процессов разрушения.

Верный признак глубочайшего духовного и нравственного кризиса современной цивилизации в том и состоит, что естественное, поступательное движение вперёд на определённом этапе переходит в безусловное, эмоционально не ощущаемое движение назад. Причина – исчерпанный ресурс объективных развивающих мотиваций и появление лжемотиваций. К одним из них относится попытка человека оторвать себя от пуповины окружающего материального мира, от общества себе подобных и обрести полную экзистенциальную свободу выбора, вкуса и действий. Разве не ложное стремление к абсолютной свободе от тысячелетней морали и нравственности, не слепое уверование во вседозволенность и безнаказанность публичного разврата похоронили под вулканическим пеплом греха такие развитые цивилизации, как Древний Египет и Древний Рим?

Нынешний мир стоит у такой же опасной черты.

КОМИССАРСТВО, КОММЕРСАНТСТВО И ДИКТАТУРА «МАНАГЕРОВ»

Сетевая (торгово-посредническая) модель организации различных сторон человеческой деятельности, принцип поточного производства, обеспечение непрерывной коммерческой выгоды отрицают индивидуальный, штучный товар (и поэтический вкупе), а сфера чувственного, традиционное искусство и литература объявляются атавизмами, бреднями «воскрешённых» романтиков. По их замыслу, свободная личность не должна быть мотивирована к серьёзной, духовно насыщенной работе души и сердца: со-чувствие, со-мыслие, со-переживание

не создают прибавочной стоимости и не приносят прибыли. Такой личности отведена роль поглотителя массового арт-попкорна в красочных обёртках под маркировкой «фабрик звёзд», сценических действий с демонстрацией гениталий, бесформенного и бессодержательного стихопотока с нецензурной бранью...

С этой точки зрения «Дни поэзии», конечно же, мощный фильтр, активный чистильщик современного поэтического пространства. Отсортировывая «околостихотворный мусор», он нейтрализует вредоносные мифы о свертехногенности и непоэтичности нынешнего времени. Однако надо понимать, что вопрос о том, какое время поэтично, а какое нет, – это как пат в шахматной игре: и проиграть невозможно, и победить нельзя. Каждое поколение находило свои аргументы в обосновании этих определений.

Когда-то давным-давно, на заре перестройки, в одной из публикаций «Комсомольской правды» вычитал любопытную фразу, не помню, правда, автора, а произнесена она была в отношении Бабеля: «Было время, когда в России молодые люди из коммерсантов уходили в писатели, а в наше время они предпочитают уходить из писателей в коммерсанты...»

Не знаю, закончилось ли на Руси жуткое время не только комиссарства, но и коммерсантства, но, судя по всему, нет, если в рейтингах популярности профессий пока ещё побеждают юристы и экономисты – главный резерв в пополнении диктатуры «манагеров»: «белых воротничков» и «офисного планктона».

Но нередко вижу и другое: в наше внешне «непоэтичное» время почему-то растёт число пишущих стихи. Значит, черпают в чём-то молодые авторы вдохновение, находят его в современной, насквозь технологизированной действительности. Что-то подвигает их выплёскивать на-гора вулканическое состояние душ и духовную аритмию сердец? Значит, болит, тревожит, беспокоит что-то; достают неокрепшую душу «проклятые» вечные вопросы бытия, даже виртуальная зараза не затягивает по горло в болото бездуховности и краха юношеских иллюзий. Значит, не всё ещё отдано на откуп «менеджерам» и другим рабо- и роботоподобным существам. Значит, крепка ещё в крови нашей библейская заповедь: «В начале было Слово...»

И если это слово действительно Божье, и если живы в нём стыд и грех, вера, надежда и любовь, то не скоро ещё его опорочат приверженцы беспамятства и разврата. Верней, никогда не опорочат!

Генетическая память человека прочней новомодных течений. Мы по природе своей отзывчивы на извечное Слово. В этом и состоит высшая степень нашей личной свободы. И такая свобода не имеет ничего общего со свободой бегать по сцене без штанов, горланить в микрофон рифмованный или нерифмованный мат либо вываливать горы строительного мусора в выставочных залах, приравнивая сиюминутное к вечным ценностям.

В начале ведь было Слово...

И оно – Начало Начал...

И оно – Традиция...

Всё остальное – подражание, производное от Сотворённого...



«К ТЕБЕ ДОЙДЁТ МОЯ ЛЮБОВЬ»

ПИСЬМА АЛЕКСЕЯ КРОТКОВА К ДОЧЕРИ

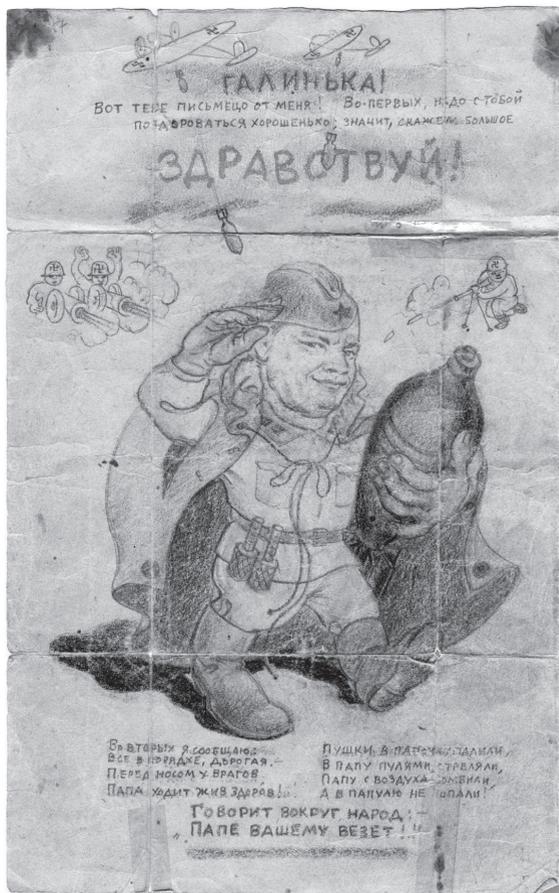
В номере 9–10 журнала «Волга–XXI век» была опубликована рецензия на книгу, посвящённую художнику, выпускнику Саратовского художественного училища Алексею Кроткову. В тридцатых годах прошлого века Алексей Кротков переехал в Москву, работал в «Мосфильме», на сельскохозяйственной выставке, оформлял витрины магазинов, создавал плакаты, разнообразные макеты. В предвоенные годы Алексей Кротков был председателем горкома художников-оформителей. Погиб на фронте в 1943 году. Оставил интересное творческое наследие, как художественное, так и эпистолярное. Потому и первая книга, посвящённая Алексею Кроткову, была изданием его уникальных фронтовых писем – с рисунками, стихами, приметами военного времени.

Как первая, так и вторая книга подготовлены и выпущены его дочерью, Галиной Алексеевной Кротковой, которая так пишет о назначении этого издания: «...надеюсь дать более полное представление об Алексее Кроткове как о художнике и человеке, который просто жил в непростое для всех время».

Настоящая публикация представляет собой подборку писем Алексея Кроткова, адресованных дочери, Галине Кротковой. Это небольшая часть от общего количества писем, присланных с фронта Алексеем Кротковым своим родным. В них отразилась эпоха Великой Отечественной войны, в них звучит живой голос человека доброго, умного, талантливого, любящего жизнь. Думается, эту подборку интересно и полезно будет прочитать и детям, и взрослым.



Снова
годом!



Письма Алексея Кроткова

Без даты

Галюша! Здравствуй, дружок! Я всё еду и еду.

Уж очень далеко моя станция, поезд никак довести до неё не может. Машинист ищет её и никак не найдёт. Если бы я знал, что буду так долго ехать, я бы лучше на твоих салазках из Москвы покатылся бы и тебя с мамой захватил. Но теперь к вам обратно меня не пускают. Говорят, что только летом все папы на самолётах к ребятам прилетят и разные подарки привезут.

Недавно в одном лесу я разговаривал с самым старшим медведем. Он всё знает про всех, и он мне сказал, что ты плохо маму слушаешься. Это нехорошо. Я тогда попросил этого медведя чаще ходить в Москву, за тобой подсматривать и всё передавать мне. Так что лучше слушайся, живи дружно, учись, играй, рисуй и пиши мне письма. Шлю тебе много воздушных поцелуев.

Твой папа

5 января 1942 года

Дорогая Галинька!

Вот и прошёл праздничный денёк Нового года. У нас всегда в самый день праздника, как раз в тот час, когда его встречают, начинается стрельба. Это полагается вместо веселья и для того, чтобы фрицы нос свой не показывали из-под земли. После же того, как праздничный денёк кончится, мы выбираем какой-нибудь другой день и открываем своё гулянье.

Я рассказывал тебе, каким был у нас недавно сосновый лес. До Нового года всё ещё держались на его зелёных ветвях снежные хлопья, а теперь их стряхнул поднявшийся ветер, который сейчас шумит и шумит в нашем тёмном бору и ночью заставляет ещё внимательней прислушиваться, потому что под этот шум может подползти к нашим окопам враг. Но мы стоим крепко на защите Родины, и пока у нас всё благополучно.

Только одно плохо: маленькая кошечка наша сильно захворала. Она перестала кушать, а жалобное мяуканье стало похоже на плач, и всё чаще и чаще мы стали наблюдать исчезновение из блиндажа своего милого серенького дружка. Иногда киска пропадала так долго, что мы уже не надеялись её вновь увидеть. Казалось, что она заснула вечным сном где-нибудь в холодном снегу под ёлочкой.

Но вот недавно она вдруг снова замяукала около нашей двери! Мы впустили её, она, дрожащая и похудевшая, голоденькая, стала просить кушать. Конечно, мы её сразу покормили всем лучшим и вкусным, что только было у нас из съестного. Я наделал ей бутербродики с маслом, другие товарищи дали ей мяса, третьи угощали больную рыбными консервами. Но, главное, все окружили её заботой и лаской. Теперь она пошла на поправку, чувствуя такую заботу, и начала снова мурлыкать так же задушевно, как и прежде. Ко мне киска льнёт больше, чем к остальным. Она постоянно спит только со мной, пригреваясь в мехах моего полушубка. А потом, ведь только я один знаю

хорошо трудный кошачий язык и могу с ней разговаривать по секрету. А она секретничать большая охотница, особенно с такими весёлыми шутниками, как я. Может быть, когда-нибудь я опишу тебе наши таинственные с ней разговоры, а сейчас некогда этим заняться.

Галинька, милая! Ты, конечно, знаешь и слышала, что наши советские войска начали крепко бить немцев. Это очень хорошо! Если так в новом году будем изо дня в день уничтожать фрицев, тогда, может быть, и войне скоро придёт конец и, если в меня не попадёт пуля, можно будет рассчитывать на встречу папы и дочки.

Папа

16 марта 1942 года

(...) Галинька, здравствуй, дружок! Твоих писем я не получал, потому что почтальон меня не нашёл. Теперь он знает мой адрес и принесёт всё, что ты мне пошлешь. Я, с тех пор, как простился с тобой, всё время служу в Красной Армии. Ты знаешь, что все папы воюют, а мамы и детки дома сидят, одни свой век коротают.

Чтобы ты знала, каким оружием папа будет бить врага, я тебе немножечко расскажу о нём. Это орудие вроде пушки, но пушка тяжёлая, и её возят лошадки, а моя пушка лёгкая, складная, её носят красноармейцы на спинках. Зовут эту пушку миномёт. Значит, твой папа стал миномётчиком, а если я на войне много врагов перестреляю, тогда меня будут звать молодчиком-миномётчиком. Теперь я хочу знать, как ты поживаешь, учишься ли чему-нибудь, слушаешься ли маму, с кем дружишь? Я домой не приеду ещё очень долго и поэтому хочу, чтобы ты без меня училась так же, как и при мне. Надо стараться быть умницей-разумницей, всё уметь делать, помогать маме и слушаться её. Пиши мне, рисунки свои присылай. Буду рад получать от тебя всё, что сочинишь.

Папа

26 марта 1942 года

Пишу, рисую на листочке для ненаглядной дочки! Галинька, дорогая! Как я только бываю свободным, я тебе обязательно пишу. Но мне не дают здесь времени для своих занятий, поэтому ты от меня письма получаешь редко. Уж такая война-злодейка, что всем жизнь испортила и от деток далеко пап увезла. Вот ты вырастешь большая, для тебя книги напишут, и тогда ты прочитаешь, как трудно было Красной Армии прогнать врага с нашей родной земли и что для вас, ребят, ваши отцы отдали все свои силы, защищая СССР и Москву.

Второй твой рисуночек получил. Он мне очень понравился, художница ты моя чудесная! Рисуй ещё. Учись правой ручкой. Я тебе нарисовал свой миномёт, из которого стреляют мои красноармейцы, а я стою, поднял руку и командую: «По врагам Родины – огонь!», и тогда из миномёта вылетает мина и рвёт врага на куски. Красок только у меня здесь нет, поэтому и не раскрашиваю.

Ну, всего хорошего, целую тебя. Твой папа. Слушайся мамочку. Теперь ведь жить стало труднее, и поэтому надо помогать старшим. Учись мыть посуду, вытирать пыль, подметать и всё, что ещё сумеешь и что разрешит тебе мама. Как научишься, тогда напиши.

(На обороте – рисунок: бойцы заряжают миномёт, папа командует.)

29 апреля 1942 года

Дорогая Галинька!

Пишу тебе ещё письмецо. Хочется поговорить с тобой. Я вспомнил, что через несколько деньков тебе исполнится шесть лет. Это будет как раз на праздник, в нынешнем году мы с тобой его проводим в разных местах: ты – в родной Москве, а я ни в городе и ни в деревне, просто там, где придётся – то в чистом поле, то в лесочке под открытым небом. Но где бы я ни находился, ты видишь, почтальоны всегда наши письма доставят по адресу. Они все дорожки хорошо знают. И какая бы опасность им ни грозила, всё равно их не испугают ни вражеская сила, ни танк, ни самолёт.

Я пока тоже жив и здоров, ни одной ранки не получил. А враг всё время стреляет, да только мимо. Вместо меня одну красивую птичку убил. Шлю тебе два пёрышка от этой птички. Посмотри, какая она была пёстренькая. Хотелось бы мне подарок тебе послать хороший, да нет здесь ни одного магазина. Теперь уж придётся, наверное, ждать да ждать лучших деньков, когда снова будем жить без войны, когда снова появятся вкусные вещи и когда я вернусь домой к тебе с каким-нибудь свёрточком в руках, а в нём – твои любимые лакомства. Итак, этот первый май мы с тобой вместе не погуляем. Проведи его хорошо с мамой. Запомни, что видела, нарисуй это и пришли мне письмо. Буду ждать его, а сам тоже постараюсь приготовить тебе новый рисуночек. Недавно я нарисовал тебе, как мы живём в лесу. Получила это письмо? Пока до свиданья, целую тебя. Маме передай привет и поцелуй, ей напишу немного попозже.

Твой папа

Май 1942 года

Галинька!

Я помню, дружок, что у меня есть дочка, которая ждёт моих писем. Долго не писал, потому что войной были заняты – стреляли, рыли окопы, строили мосты.

Теперь я со своими миномётчиками перешёл в другой лес. Вокруг нас везде болота, а поэтому очень много комаров жужжит, а мы от них отбиваемся. Вот какое проклятое насекомое – покоя не даёт хуже фашистов!

Кроме них да певчих птичек ещё в нашем месте много лесных мышек водится, они бегают в кустах и нас не трогают, сами боятся красноармейцев. А лягушата прыгают здесь всюду, потому что самое их житьё как раз в болотах.

У меня, детка, пока всё цело: и руки, и ноги не потеряны, и пули все мимо пролетают, не ранят твоего папу и не убивают. Но скоро мы с немцами будем драться сильно-сильно, вот тогда, может быть, в меня попадут из какой-нибудь пушки, но я думаю, что из пушки меня не пробьёшь.

Если ты хочешь знать, чем я занимаюсь в свободные минуты, я тебе немного расскажу. Здесь я постепенно собрал себе инструмент: пилку, молоток, подпилоч, понаделал ещё кое-какие из разных железок и смастерил себе на досуге этим инструментом всё, в чём нуждался и чего тут ни за какие деньги не купишь. Ведь никаких магазинов в лесах нет. Во-первых, деревянную ложку – кушать; во-вторых, мундштук и трубку для курения; в-третьих, лампочку-коптилку, чтобы по ночам светила. Ну и вообще этим инструментом мы справляем всё своё хозяйство. Словом, скучать не приходится: хлопот-забот полон рот.

Но и между дел я всё же очень часто вспоминаю Москву, где на Красной площади мы с тобой иногда гуляли. Сейчас я снова с удовольствием побывал бы там и прошёлся бы с тобой и мамой под ручку. Но война никак не кончается и нас домой не пускают. Может быть, к зиме мы победим врага, и тогда мы встретимся снова.

Теперь лето, стало тепло и всем приятнее жить. Чем занимаетесь вы с мамой, чем ты помогаешь ей? Самое главное – слушайся хорошо. Я жду от тебя письма, где ты обо всём расскажешь. Пока до свиданья. Целую твои лапки.

Папа

9 июля 1942 года

Здравствуй, Галинька!
Вот снова письмецо моё готово!
Вот тебе письмо с войны,
Где уж я давно-давным...
Хоть давно, но день и ночь
Помню маленькую дочь!

29 августа 1942 года

Душки мои!

Вчера получил ваши письма и книжечку. Целую вас за ваши труды и просто так. Жалко только, что рассказыки малоинтересные, но это не от вас зависит. В прежних изданиях иногда встречались в таких же небольших форматах произведения классиков литературы. Но их можно найти только в магазинах букинистической книги. А я очень бы хотел почитать своим бойцам хорошие вещи – и смешные, и серьёзные. Например, Гоголя «Тарас Бульба», «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», Л. Толстого «Хаджи Мурат», Пушкина «Медный всадник», «Полтава» и др. Маленькие рассказы Лермонтова, Горького, Короленко, Джека Лон-

дона. О' Генри, Мопассана. Словом, выбор тебе ясен. И в своё время книжки можно было посылать бандеролью, ты узнай, может, и сейчас принимают. Тогда ни их размер, ни вес не будут иметь значения. Если всё это станет недорого, тогда в свободные дни сделай, пожалуйста. Правда, наш фронт шевелится, и скоро может измениться обстановка – некогда станет читать, но пока ещё это удаётся.

Галинька и Маминька! Живу по-прежнему хорошо. Дни сейчас тёплые – радуюсь им. Всегда очень доволен, когда получаю от вас весточки. С ними на душе ещё лучше. Ты, Галюша, уже терпи войну и делай всё так, как мама говорит, а ты, мама, не забывай себя работой до потери сознания и дай отдых себе и дочке. Немножечко, а отдыхать обязательно нужно. Будьте обе здоровы и дружны. По мере удаления от вас на запад я всегда постараюсь писать.

Папа

6 сентября 1942 года

Галинька!

Я всё время сейчас занят... Переезжаю на новую позицию. Она у нас расположена на полянке среди берёзок. Когда я ехал ночью из своих старых блиндажей, я посадил с собой котёночка, который пристал к нам, военным. Ведь здесь немец все дома разрушил, и кошкам негде стало жить, как и людям. Вот котята все и разбежались кто куда, а мы их собираем и прикармливаем. А то кто же, кроме нас, о них позаботится? Так этот котёночек теперь ни на шаг от меня не отстаёт, ласкается, мурлычет и спит со мной. А когда возле меня мышка заведётся и захочет украсть мои сухарики из мешка, он выпустит свои молодые острые коготки да как метнётся за мышкой, так сразу и сцапает её, воришку. Вот только жалко, что за неимением времени я всё ещё не выполняю своего обещания написать тебе один рассказик. Но, может быть, всё же как-нибудь вырвусь.

Живу я славно. Если бы ты увидела, как я живу, тебе бы понравилось. Пока ещё новых блиндажей мы не сделали, я сплю под берёзкой. Лягу и смотрю в тёмное небо. Потолка нет, и видно все-все звёздочки; я люблюсь на них и думаю, как красиво на земле, как хорошо жили все прежде, и хочется мне скорее уничтожить врагов, чтобы опять нашему народу можно было лучше жить, а детишкам веселее играть и вкуснее кушать. Ну, желаю тебе успехов, жму твои ручки. Целую тебя.

Папа

29 сентября 1942 года

Галинька!

В прошлом письме я обещал тебе написать побольше, а вот случилось так, что не успел сочинить никакой песенки. Но ты не унывай: пока я жив, можно надеяться получить от меня обещанное, и я понемножечку пишу тебе. Как только сложу вместе все строчки, так и пришлю. Я живу очень хорошо! Всё у меня есть. Даже в мой

блиндаж напозло зверей всяких – ужас сколько! А какие звери – я тебе расскажу в следующем письме.

Я пишу, а ты – ни строчки...
Писем жду я каждый день,
Но напрасно...
Знать, у дочки
Завелась большая лень.
Почему от игр ребячьих
Не урёшь часок-другой?
Не снесёшь в почтовый ящик
Письмецо своей рукой,
Чтоб от слов твоих на фронте
И душа, и сердце грелись!
Хорошо бы...
Да почаще.
Чтобы каждый говорил:
«Галя – душка! Галя – прелесть!
Вот так дочь, себе на счастье,
Галин папа сотворил!»

13 октября 1942 года

Галинька, дружок!

Получил твоё хорошее письмецо! Вот спасибо тебе, постаралась и нарисовать, и написать. А написала ты в этот раз!.. И написала аккуратненько. Строчки ровные, и между слов промежутки есть, ну, честь честью, как надо. Я доволен. Только рисуешь ты за последнее время, вероятно, меньше. Раньше у тебя ловчее получалось. Жалко, что я теперь позаниматься с тобой не могу, но уж если война, значит, надо потерпеть.

Вот котёночка я тебе уже не обещаю показать. Снова он пропал у меня, когда мы стали переходить с одних позиций на другие. Пропал без следа, и не знаем сейчас, куда его забросила судьба и хорошо ли ему на новом месте. А может быть, он уже и погиб, бедняга. Ведь здесь каждый день только и ожидай беды. Но на новом месте, Галинька, мы нашли двух других котят сразу. Пока ещё мне некогда было с ними познакомиться. Всё же я уже заранее вижу, что наш Негодяй по характеру рождён был гораздо веселее и нравился всем больше. Недаром говорят: «Старый друг лучше новых двух».

Теперь, дочка, у нас здесь темно и холодно становится. Лето прошло, и скоро будет падать снежок. Ещё одну зиму мы проведём с тобой в разлуке, а там, если я останусь жив после войны, встретимся опять в Москве. Но если я и не вернусь домой, ты долго не тужи. Ведь в боях за Родину кому-то умирать приходится. Ты только скажи тогда, что папа твой здорово защищал СССР и тебя заместительницей своей оставил. Когда вырастешь, будешь боевой девушкой. Главное, для этого учиться надо хорошо и старательно. Ведь кто учится, тот ума набирается, кто не хочет учиться, тот дурак-дураком живёт и все над ним смеются.

Галинька, ты выучи наизусть мой адресок и попроси маму научить тебя совсем-совсем самостоятельно отправить мне письмо. А то вдруг

с мамочкой что-нибудь случится, а ты и не знаешь, как мне почту послать. Ведь так тогда мы можем потерять друг друга. Время сейчас тревожное, и ты, как только сумеешь, скорее учишь писать письма с начала и до конца без указки от старших. Теперь я ещё прошу тебя, чтобы ты заучивала писанные буквы. Печатные ты знаешь, но очень важно знать и писанные. Учишь, учишь. Это тебе потом облегчит жизнь. Ты всё тогда легче будешь понимать.

Ну, пока целую тебя крепко. До свиданья, милое создание!

Папа

1 ноября 1942 года

Дорогая моя!

Я очень люблю получать письма! И особенно мне нравится, когда почтальон приносит толстые конверты. Тогда уж я знаю, что мне и почитать что будет, и посмотреть на что. Вот последний раз вы с мамой прислали именно такой пухленький конвертик, которому нельзя было не порадоваться. Там я нашёл и письма, и рисунки; на всё было приятно посмотреть, и всё интересно прочесть.

Теперь отвечаю на твои пожелания. Во-первых, ты хочешь знать о котёночке. Дружок мой милый! Я уже поведал тебе печальную историю о том, что кошечка, когда-то найденная мною, вдруг бесследно пропала. Уж что мы ни делали, начиная поиски беглянки! Собрали общий совет всех полков красноармейских и стали думать: может прожить кошка без человека или нет. Одни говорят: «Может, потому что она сама мышей ловит и, значит, с голоду не умрёт». Другие спорят и не верят, чтобы такая домашняя зверюшка без людей на белом свете прожила. И решили мы в тот вечер ещё раз общими усилиями поискать маленькую дезертирку.

Везде, где живут люди, по телефону сообщили им, чтобы всех кошек задерживали. Сами же пошли по полям и лесам. Но сколько мы ни ходили, так ни одного «мяу-мяу» и не услышали. Значит, не суждено нам было напасть на кошачий след. Если бы с нами искала какая-нибудь собачка, она бы сразу унюхала. А мы своими носами учуять ничего не смогли. Вот почему, Галинька, я очень жалею, что у меня нос не собачий. Во-первых, он на войне гораздо нужнее нашего, во-вторых, дочка, мне кажется, что с собачьим носом я был бы даже чуточку красивее.

Так, заканчивая историю киски, я должен сказать, что мы спрашивали всякого встречного-поперечного, не попадалась ли она им на дорогах. И однажды услышали от прохожего старичка, будто бы какая-то киска, как две капли воды похожая на нашу, побежала одна в Москву на праздник. Мы сначала ушам своим не поверили! Конечно, это удивительно и даже нехорошо с её стороны! Такая маленькая – и вдруг одна, без провожатых, в Москву! Кроме того, нас очень беспокоит, не заплутается ли она и не попадёт ли в лапы врага. Я лично сердит на неё и за то, что, собравшись на Красную площадь, киска совершила своё путешествие тайно, не предупредив меня ни о чём. А если бы я знал, куда она идёт, я привязал бы обязательно ей на шейку мешочек с подарками для тебя и поздравительное письмо. Но так или иначе этого не удалось

сделать. Ты всё-таки посмотри там, в Москве, не скитается ли она где-либо беспризорной. Ведь таких плохих никто не возьмёт жить к себе. Её легко можно узнать по белым пятнышкам на груди и по белым лапкам. На этом, Галюша, и конец моего рассказа про киску. И когда в свободные минуты я вспоминаю прозвище нашего котёнка, я вполне соглашаюсь с именем Негодяй. Он был именно таким негодником.

Ну-с, потом, детка, ты говорила в своём письме, что хочешь увидеть меня. Это сейчас ещё труднее, чем ты думаешь. Ведь к нам, на фронт, никого в гости не пускают, потому что от гостей здесь может не остаться костей. И нам до вас из окопов уйти нельзя. Ведь должен кто-то защищать нашу землю от поганого фрица! Придётся, милая, обождать. Вот когда отвоюемся, тогда встретимся и расцелуемся по-настоящему.

К тому времени, когда ты получишь это письмо, наступит октябрьский праздник. В Москве на улицах вывесят красные флаги, будет играть музыка и говорить радио. А у нас здесь нет улиц и нет радио. Мы будем, как и всегда, находиться на своих позициях в кустиках, а вместо красных флагов станем поджидать утреннюю зорьку. Она окрасит наше небо яркими красками праздничного дня. Мы вспомним Москву и своих близких и душой будем вместе с вами. Сегодня мы уже купались в нашей полевой баньке. Навели чистоту. Я до сих пор ещё моюсь той мочалочкой, которой мыли тебя на даче в детском саду, как раз когда война только начиналась. На мочалке и сейчас остались вышитые мамой твои имя и фамилия. Я читаю их, и от этого на душе становится хорошо-хорошо, потому что я знаю, что у меня есть родная дочка.

Папа

(Вложен рисунок «Да здравствует наша Родина!»)

Октябрь или ноябрь 1942 года

Галинька!

В прошлый раз я писал тебе, кажется, о том, что мы перешли на новое местечко и что я привёз с собой котёнка. Теперь я расскажу, как он потерялся и как снова его отыскали мои бойцы.

Однажды ночью перед боем мне необходимо было сходить на другой участок. Там, далеко от наших позиций, стояли мои красноармейцы. Ночь была лунная, но луна часто закрывалась тучами. Порой моросил дождь. Тогда вокруг становилось совсем темно, и за несколько шагов от себя нельзя было уже разобрать, что виднеется впереди. Дул сильный ветер, заглушая все шорохи в лесу и на полях. Это было хуже, так как при ветре не разберёшь, когда крадётся по нашей земле враг. Шли мы вдвоём – я и мой товарищ-связной. На плече у каждого винтовка, а в руках наготове граната. Чуть что – и тогда бросим её в ненавистного захватчика!.. Бах!.. И не жить ему больше на свете! А если ты сам прозеваешь минуту и не заметишь вовремя опасности, тогда проклятый немец кинется на тебя из засады. Ну, и прощай, значит, жизнь. Значит, сам не сумел перехитрить вражью силу. Но мы шли осторожно и бесшум-

но, как кошки, иногда приныкая к земле и высматривая, не мелькает ли впереди что-либо подозрительное. Так наконец мы благополучно добрались до своих. Там я проверил, всё ли готово для боя, и рано на рассвете вернулся обратно на прежнее место. Но здесь уже никого не было. Все ушли вперёд и оставили только одного бойца, который должен был указать мне новую дорогу. Медлить было нельзя, и я быстро зашагал вдогонку ушедшим. Вскоре мы прибыли на новые позиции, откуда наши миномёты готовились к стрельбе. С восходом солнца начался бой. Сначала я командовал на батарее и сам не видел, где рвутся наши мины. Мне передавали только с наблюдательного пункта, куда направлять огонь. Но спустя некоторое время я пошёл сам на наблюдательный пункт сменив командира, который там находился с утра.

Галинька, дружок, ты у меня ещё не вояка, однако я объясню тебе, что такое наблюдательный пункт. Прежде всего он находится всегда почти перед носом у врага, но так устроен и замаскирован, чтобы враг его не нашёл своими противными глазами, а мы, наоборот, как раз всё можем заметить нашими прекрасными глазками, что делает фриц и где у него спрятаны войска, танки, пушки, пулемёты. И вот когда мы в бинокль заметим что-нибудь, тогда по телефону передаём на батарею, куда ей бить. А сама она тоже скрыта от врага где-либо за лесом: и её не видно, и она ничего без наблюдателей не видит.

Так вот, сижу я на наблюдательном пункте и думаю, что же это ни один фашист не выползает. Долго я сидел и всё ждал да ждал. Так до вечера ни единого фрица и не дождался. Ничего не поделаешь, не всегда удаётся обнаружить врага. Он выкопал себе глубокие окопы и очень редко из них выходит: боится нам показаться, так как наши снайперы ему не дают житья.

Когда боевой день кончился и наступила ночь, мы опять вернулись туда, где жили. И вот смотрю я во все блиндажи, а котёнка моего нет. Вероятно, поняв, что люди покинули свои жилища, он тоже куда-то ушёл. Ему очень скучно показалось одному оставаться в холодных, нетопленных помещениях. Мне было жалко котёночка. Не хотелось его терять, потому что он был веселее всех нас и очень ловко ловил мышей. Только с ним одним я мог играть в свободные минуты. И мы с ним делили суп и кашу во время обеда. Словом, были друзья: он мне мурлыкал песенки, засыпая у меня под боком, а я ему рассказывал о том, как хорошо быть котёнком и как плохо быть котом. Правился котёночек и красноармейцам. Все его звали по-разному, кто Васькой, кто Тузиком, кто просто киской, но, когда с ним играли, все его звали одинаково: Негодяй. Звали в шутку Негодяем за то, что этот котёнок больше всего любил играть с нашими руками. Бывало, гладить его, он лежит смиренно, мурлыкает от удовольствия, а потом вдруг схватит руку в свои лапки и начнёт понарошку кусать её. Дальше да больше разыграется так, что норовит напасть на руку и бороться с ней, и пойдёт тогда горячая схватка! Уж здесь не плачь и не обижайся, если он тебя оцарапает до крови или сильно покусает... Вот за это и прозвали его Негодяем.

Ну-с, живём день без котёнка, живём два. Слышу, красноармейцы всё чаще поминают: куда же подевался наш кот?.. Не иначе кто-нибудь уманил его отсюда... И стали они посматривать в соседние блиндажи. Наконец, сегодня утром я просыпаюсь и что же вижу!.. Около меня,

свернувшись клубочком, тихо дышит котёнок. «Откуда он? Где пропал?» – спрашиваю людей, а они отвечают: «Нашли в кухне у соседей. Стали звать: «кс-кс-кс!» – а он не идёт, и повар его не пускает. Что, думаем, делать, как кошку обратно завлечь? Потом вспомнили, как она любила, когда вы ей рассказывали о том, как хорошо быть котёнком и как плохо быть котом. Тогда мы ей шепнули: «Киска, пойдём к тому командиру, который сказку тебе сочинил». Тут она сразу – пры! – одному бойцу на плечо и ну мурлыкать: «Хор-р-р-рошо, хор-р-р-рошо! Неужели командир жив? Несите меня к нему скорей, да смотрите, не обманывайте, а то всё равно убегу снова на кухню». Как увиделись мы с киской, так тут же и засмеялись от счастья. Я – по-человечески, она – по-кошачьи. И кто из нас смеялся смешнее, трудно сказать. Только стоявший вокруг народ тоже принялся хохотать, поджимая животики, потом послышался смех и в других окопах и блиндажах, потом стал смеяться целый полк, потом – подумать даже невероятно! – засмеялся весь фронт на разные голоса. И всё смеётся и смеётся до сих пор, и никак его успокоить не могут.

Вот такая получилась история с котёнком! Я даже сам не ожидал такого конца.

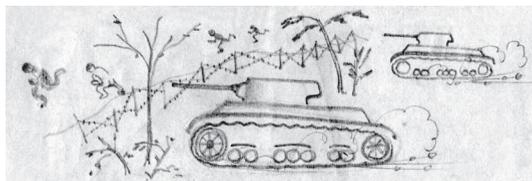
Пока до свиданья. Целую тебя.

Твой папа

11 декабря 1942 года

Здравствуй, Галинька!

Давно получил твой вопросик, правильно ли у тебя получается на рисунке танк? Задержался я, дружок, с ответом – хворал немножко, но сегодня уже вернулся к себе на новые позиции жив и здоров. Танк у тебя нарисован подходяще – ни к чему придраться нельзя. У нас пока они другие, но у тебя самый такой, которым лучше воевать. Во-первых, он трёхэтажный и, значит, просторно в нём: если в одном этаже станет туго, тогда танкисты перелезут в другой или в третий и оттуда будут стрелять, и так или иначе фрицам всё равно конец придёт. Твой рисунок я здесь показал одному инженеру, который танки строит, и этот инженер выпросил у меня рисуночек и говорит: «Дайте его нам на завод, мы по Галинькиному чертежу работать будем. Один танк на пробу сделаем, да к Новому году и угостим из такого танка немчуру». Только он хочет ещё к этому танку прицепить радио, которое без перерыва целый день будет кричать: «Ура!» Вот теперь мы и ждём с нетерпением Нового года и нового танка. А наши танки старые устроены приблизительно так:



Здесь, на этой картинке, ты видишь, как танки идут в атаку, а за проволочным заграждением фрицы вылезли из окопов и тикают. Но всё равно им далеко не убежать, так как танки их догонят и обязательно передавят. Наши танкисты так быстро водят свои машины, что только пыль летит у них из-под гусениц!

13 января 1943 года

Друзья мои
Барышни!
Мама и Галинька!

Получил от вас хорошей бумаги много, два карандаша, два подпилочка, ножичек, пилки, краски, две кисточки, одно пёрышко, парафин, две записные книжки, отдельные маленькие листки бумаги.

Во! Как сразу много у меня имущества стало!

И хотя ко мне приходят самые крошечные ящички из Москвы, но вещицам, которые в них положены, все завидуют. Особенно разгорелись глаза на записные книжечки.

Всё по-прежнему горюю, что вам не могу перекинуть через леса и поля ответные приятные ящички. Шлю вместо «спасибо» свиные жирки. На семейном совете решайте сами, как их кушать.

16 января 1943 года

Галинька!

Прошёл день Нового года. Ветер стряхнул снег с ёлочек и прогнал с неба скучную облачность. Блестит солнышко ярко, а по ночам всё залито лунным сиянием... Морозцы начали хватать за нос и за ушко. Вот и к нам на фронт заглянула настоящая зима! Но недолго наш лес простоял зелёным. Иней покрыл его колючие ветки так чудесно, что они кажутся цветущими ветками яблони и вишни. Как бы хотелось, Галинька, показать тебе всё это! Ведь и сам я не видел раньше, когда жил дома, всей красоты полей да лесов. И только бы остаться целым после войны, долго буду вспоминать тогда житьё своё в глухой стороне, ту землю, на которой пришлось воевать и на которую смотришь сейчас с любовью. Я стараюсь лучше запомнить каждый день, проведённый здесь. Ты, смотри, тоже запоминай крепче свою детскую жизнь в годы войны. Я знаю, что тебе, как и всем деткам, много трудного выпало на долю, но хочется верить, что ты у меня молодец и перенесёшь всё трудное по-молодецки. С тобой мы уже давно не видимся, а в ребячьи годы дети растут и изменяются быстро. Поглядеть бы на тебя, какая теперь ты! Если встретимся, пожалуй, и не узнаю свою дочку, а ты меня сразу угадаешь. Я всё такой же, каким был раньше: не вырос сам, ни усов, ни бороды нет на лице, и лысинка ещё чуть проглядывает. Словом, до тех пор, пока у тебя самой не будут детки, а я не стану дедушкой твоих ребят, мне борода и усы не понадобятся; а когда внучат заимеем, тогда дело

другое. Они станут звать меня дедушкой, а дед обязательно должен ходить с бородой.

25 января 1943 года

Галинька!

Что же ты замолчала, моя детка? Мама мне тоже не пишет ничего, и я не знаю, как вы живёте. Много писем было послано мною в январе, и всё напрасно. Я беспокоюсь и ежедневно жду ответа.

Ты, вероятно, слышала, что наша армия стала бить немцев и в хвост и в гриву. Бежит немчур! Но я пока ещё с места не двигаюсь. До нас очередь не дошла ещё идти в наступление, но мы тоже готовимся к тому, чтобы победить Гитлера на всех фронтах. А если добьёмся победы да я жив останусь, ты сама знаешь, тогда мы снова с тобой увидимся.

Живу я, как и раньше, лучше всех. Я умею радоваться везде. Мне нравится на свете всякая всячина: и простор синего неба, и то, как на земле красивы поля и леса, где мы сейчас воюем, и разные люди – ребятишки весёлые, разговорчивый взрослый народ и старички.

Жаль только, что обо всём в письме не расскажешь. Письмо всегда маленькое, на одном листочке, а сама жизнь огромная-преогромная, на всей земле едва помещается!

Когда ты вырастешь, Галинька, уж мы покалякаем с тобой об этой настоящей жизни вдоволь и по душам. Я думаю, что мы будем с тобой очень большими друзьями и найдём о чём побеседовать. Жду от тебя ответиков. Хочу скорее узнать, здорова ли дочка моя.

Целую тебя крепко. Пиши скорее.

Папа

28 февраля 1943 года

Дорогая доча!

Так как у тебя все годочки молоденькие и всё для тебя в жизни ново, я тебя могу поздравлять с Новым годом в любое время. Случайно вот попалась эта открытка, я её хвать! И думаю: надо Галиньке послать.

Ничего, что прошёл
Праздник новогодний,
Галинька будет рада
Всякой картиночке
И сегодня!

26 марта 1943 года

Дружочки мои дорогие!

Жив и здоров сегодня, а завтра – посмотрим! Я вам не рассказываю много о своей боевой жизни. Так гораздо спокойнее. Уж когда встретимся, тогда и поговорим. Опять долго не получаю писем от вас, а теперь адрес мой изменился, и я даже не смогу прочитать те письма, которые вы мне выслали до этого. Перед этим послал вам письмо, в которое вложил начатый было рисунок с себя. Сначала хотел его

выбросить. В своё время не дали закончить, а потом решил, что это будет служить доказательством того, что папа хотел показаться вам и до окончания войны. Сегодня решил отослать обратно часть фото, взятых мной при уходе из дома. Они лучше сохранятся у вас. Оставил себе только четыре штучки. Фото шлю в двух конвертах.

Галинька! Шлю тебе коротенький стишок, который сложился в коротенькие же минуты боевых досугов.

Когда решает грозный бой
И жизнь и смерть в одной судьбе,
Неразлучённые с тобой
Мелькают мысли о тебе.
И верю я, что вновь и вновь
С живой земли, с того ли света
К тебе дойдёт моя любовь
И ласка нежного привета.

Апрель 1943 года

Галинька!

Получил твоё маленькое письмецо. Давно получил его, с ответом задержался. Ты приглашаешь меня домой, дружок, но меня никак не отпускают отсюда – вот какой я стал нужный, что без меня не обойтись на войне. Ты пишешь, что была в кино и видела Гулливера. Это хорошо, я очень рад, что мама тебя иногда развлекает. Вот мне бы вырасти таким, как Гулливер, тогда бы я всех немцев сразу передал бы в их окопах и быстро вернулся домой. А я рос, рос и не дорос. Так и приходится воевать – долго и трудно.

Последнее письмо, за день до ранения:

6 сентября 1943 года

Томочка и Галинька!

Войны всё больше и больше, а я до сих пор жив и здоров. Хотел бы я сейчас иметь кусочек другой жизни, о которой мог бы написать вам приятные новости, а то о военных делах рассказывать будет нечего, если опять приеду домой.

Желаю вам здоровья и своих мирных радостей.

Пишите, авось дождусь.

Мой адрес: полевая почта 30744-ч



Ефим
ВОДОНОС

В ДИАЛОГЕ СО ВРЕМЕНЕМ

В июле 2014 года в залах Радищевского музея проходила выставка произведений талантливого белорусского писателя и живописца Юрия Петкевича – любопытное событие в насыщенной многочисленными вернисажами художественной жизни нашего города. Юрий Анатольевич принадлежит к числу весьма неординарных личностей. Многообразие творческих интересов этого необычайно одарённого мастера не лишает его искусство завидной цельности. В наш суетный переимчивый век он сумел сохранить свою особость, непохожесть ни на кого другого, словно следуя завету поэта «оставаться собой – в диалоге со временем, в поединке с Судьбой».

Самобытность этого мастера, его абсолютная творческая независимость рождены особенностями жизнеощущения, генетической памятью, предопределившей его. И обострённым чувством своего персонального художнического пути. *«И я пошёл собственной тропой, не зная и не спрашивая никого, была ли это лучшая дорога. Я знал только одно: это была моя дорога»* (Э. Сетон-Томпсон). Эти слова замечательного канадского писателя могли бы стать эпиграфом к литературному и живописному творчеству Юрия Петкевича.

Его живопись, как и его проза, отличается именно своим эмоционально-образным содержанием, а не какими-то нарочито акцентированными приёмами. Манifestировать свою стилистическую новизну у него нет ни намерения, ни желания. Технические изыски ремесла его не волнуют. Здесь нет ничего из того, что именуют «энергетикой дерзости». «Он творит так, будто до него вообще никого не было», – пронизательно заметил о Петкевиче писатель Евгений Попов. Это в равной мере относится к его прозе и к живописи, ибо всё он пишет, целиком полагаясь на свою художественную интуицию.

Здесь нет намеренного обособления от других мастеров. Ибо сам аппарат образного восприятия диктует ему тематику, сюжетные мотивы и стилистику, оставляя его в простодушной убеждённости, что всё запечатлённое им в слове или же кистью именно таково и есть. Однако не стоит преувеличивать его творческую наивность. Да, он не учился ни в Литературном институте, ни в художественном училище. И, быть может, именно потому не пошёл по накатанной

колее. Известно ведь, что иногда человек, шагающий не в том направлении, торит свою особую тропу. А формальное художественное образование зачастую не имеет в творчестве определяющего значения.

Сам Юрий Петкевич вспоминает: «Живописи я нигде не учился. Но, когда ещё мальчишкой показывал свои работы знаменитому белорусскому художнику В. К. Цвирко, он ещё тогда мне сказал: «Ну, поступишь ты в институт, но ещё неизвестно, чему тебя там научат...» Показал мне свои работы и добавил: «Вот так надо писать». Я перевёл свой взгляд со своих серых работ на его «цветные» и сразу что-то понял». А понял он, что в живописи главное – цветовая энергия и напор пластики. Этому научить нельзя, а научиться можно, если есть врождённый вкус, чувство колорита, упорство неустанного поиска. А богатство впечатлений и нарастающий опыт получают важнейшее значение.

Виталий Цвирко дал первый толчок. Определяющую роль в становлении творческой судьбы Юрия Петкевича сыграл его наставник на Высших сценарных и режиссёрских курсах в Москве Павел Финн – высокообразованный, талантливый, требовательный и чуткий, по-настоящему мудрый педагог. Он бережно отнёсся к его индивидуальности, а сама учёба и пребывание в столице давали обильную пищу его уму и чувствам, обогащали настоящим чтением, знакомством с музеями, выставками, встречами с интересными людьми.

Так заложены были основы художественной культуры, а непрерывная работа обеспечила заметный рост мастерства. Пришло и осознание высшей цели любой творческой работы: «И я понял, что и в литературе, и в живописи должно что-то пребывать, что выше самой литературы и живописи, – и только тогда это будет иметь смысл», – вспоминает Петкевич.

Сюжеты его возникают, по-видимому, спонтанно. Это свободные импровизации по поводу лично им увиденного и пережитого. Его живописные холсты и живописно-графические листы отличают свобода и непредсказуемость художественного воображения. Так проявляется природённая естественность дарования. Именно в этом коренится своеобразие его так называемого «примитивизма».

Петкевич вовсе не обыгрывает иронически первоисточники изобразительного фольклора, как это делали в начале 20-го столетия мастера «Бубнового валета» или «Ослиного хвоста». Он и не стилизует под их художественное наследие собственные свои полотна, как это нередко делают неопримитивисты нынешние. Он руководствуется скорее интуитивной угадкой, нежели осознанным конструированием.

Но его примитивистски пристальная обострённость видения, доверительно-поэтическая интерпретация наблюдаемых явлений и событий всё-таки заметно отличаются от стилистики по-настоящему неискушённых в живописи, действительно наивных и безоглядно фантазирующих художников. «Сказки-небылицы» священника Валентина Юшкевича, творчеством которого очень увлечён Юрий Петкевич, и доверительно-правдивая сказовая быль его собственных картин, с их особой достоверностью или напряжённой гротесковой выразительностью, – всё-таки явления различной художественной природы. Мастер порой чуть «умягчает» сдержанным юмором подспудный драматизм иных своих невыдуманных сюжетных мотивов.

Масштаб его творческой личности стал очевиден многим. Появились серьёзные публикации в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Континент»; вышли книги: «Явление ангела» (2001), «Колесо обозрения» (2001), «С птицей на голове» (2012, Горьковская литературная премия). В Москве прошли персональные выставки его живописи: «Дух дышит, где хочет» – в театре «Школа драматического искусства», и «Возвращение с праздника» – в галерее «Кино».

О Юрии Петкевиче заговорили в художественных кругах. «Его называют наследником Марка Шагала и Анри Руссо, а как прозаик он явный и несомненный ученик и продолжатель Андрея Платонова», – отмечал писатель и сценарист Юрий Арабов. И неслучайно его персональная выставка состоялась в художественном музее Воронежа в рамках очередного Платоновского фестиваля летом 2013 года.

Высокие сопоставления определяют вовсе не масштабы творчества, а скорее его направленность. Петкевич мог бы повторить вслед за Шагалом: «Жизнь – это очевидное чудо». Но чудо не только в смысле её чудесности, но и чудинки, чудаковатости, прихотливой и затейливой непредсказуемости, гротесковой выразительности неостановимого потока обыденного бытия. Эта видимая «очевидность» чудного и чудного реализуется у него в примитивистской стилистике, напоминающей наивную удивлённость вроде бы неумелых детских рисунков, с ошеломляющей непосредственностью передающих всё, что случайно попадает в поле зрения их авторов.

Как и для них, так и для этого мастера, темой тоже становится буквально всё: вариации по мотивам древней иконописи, праздничное застолье, предметы домашнего обихода или нарядные букеты, распахнутые, просвеченные солнцем «плывущие» пейзажи, облики знакомых или случайно встреченных прохожих, люди, выходящие из храма, сидящие на лавочке, бегущие, поющие или танцующие на мосту, выпивающие или занятые рыбалкой; фантазийно-натурная, сложно выстроенная динамичная композиция «Идёт с птицей на голове», где особенно ощутимо воздействие образных возможностей кино, та непрерывно движущаяся «экранная визуальность», которая сообщает ощущение протяжённости во времени сугубо пространственному живописному произведению.

Эта импульсивная непосредственность видения не имитированная, не извне привнесённая, а, по всей видимости, прирождённая, органично впаянная в саму его поэтику, естественно создающая стиль его образного мышления. И, как у малолетних, бесстрашно рисующих «гениев», всё написано Петкевичем с той степенью обобщённости, которая изнутри монументализирует образ. Поэтому каждая его работа, за редким исключением, воспринимается эскизом масштабной стеной росписи или значимым её фрагментом, выявляющим существенные стороны жизни, непринуждённо переводящим буднично-бытовое в бытийное, обнаруживающим глубинный духовный смысл самых повседневных и обыденных явлений.

И становится ясным, что не так уж прост такой с виду очень уж простодушный художник, без пафосных притязаний и шумного манифестирования отстаивающий своим творчеством подспудное содержательное начало непритязательного, обращённого к каждому искусства. Вот к этому и стоило бы внимательнее присмотреться не только нашим зрителям, но и саратовским его коллегам.



**Галина
ТАЛАНОВА**

ЭТА ЖИЗНЬ С КАЖДЫМ ГОДОМ ЦЕННЕЙ...

Опять приснишься мне живою.
И голос – словно наяву.
Чем сердце нынче успокою?
Тем, что по заводи плыву?
Вода – подёрнутая ряской.
И лоб мой сморщила река.
И рву цветы в букет с опаской,
Что дразнит пчёл моя рука.
В зените солнце.
В круг деревья
Стоят, как близкие, стеной.
Мотор буравит речку дрелью.
Жужжит слепень
Как заводной.
И я одна в июльском рае.
Родных зову – не дозовусь.
Я продолжаю бег по краю...
И всё ж когда-нибудь сорвусь –
И голоса тогда растают,
Соскочат с кончика иглы
В синь неба, чья бязь выцветает,
И тучки – горстками золы.

-
- Галина Таланова (настоящее имя – Галина Борисовна Бочкова) родилась г. Горьком. Окончила биологический факультет Горьковского государственного университета по специальности «Биофизика», кандидат технических наук. Живёт в Нижнем Новгороде. Работает в ООО «НПО «Диагностические системы» начальником подразделения, занимается разработкой и производством иммуноферментных тест-систем. Поэт, прозаик. Автор шести книг стихов и двух романов. Стихи и проза публиковались в центральной печати («Литературная Россия», «Роман-журнал XXI век», «Юность», «День литературы», «Новая газета», «Аргатак», «Созвучье муз» (Германия), «Север», «Вертикаль. XXI век», «Природа и человек», «Новая Немига литературная», «Невский альманах», «Сура», «Гостинный двор», «Российский колокол» и др. Член Союза писателей России. Лауреат премии «Болдинская осень» (2012) и премии журнала «Север» в номинации «Проза» (2012), лонг-листер премии им. А.И. Бунина (2011, 2012).

Говорить разучусь постепенно.
Буду мерять шагами свой дом.
Никому не скажу откровенно,
Что из горла не вытолкну ком.
Здесь живу в тишине и покое,
Отдыхаю от бега в строю.
Чем же сердце своё успокою?
Тем, что смело стою на краю?
И держусь,
Как сосёнка на скалах,
Скособочившись,
Карликом в рост?
Тем, что время такое настало,
Где разводит навечно ночь мост?
Но к любимым пока ещё рано,
Хоть и корни парят на ветру.
И стою, как на цыпочках, странно,
Как готовясь к прыжку на миру.

Как занавес, с небес
Спустился ливень хлёсткий.
И лупит по окну,
И барабанит в дверь.
Пузырится пятно
На старенькой извёстке,
И с потолка вода
Течёт, проникнув в щель.
И слышится, как встарь,
Что сель пошёл на дачу.
И кажется, что я,
Как девочка, дрожу.
И жизнь моя ещё
Вся сложится иначе,
Лишь только, как пчела,
Над лугом покружу.

Мне больше нечего сказать:
Две разошедшиеся льдины.
И руку если и подать,
То не изменит суть картины,
Где вскрылась чёрная вода,
Что пузырится бурой пеной
И нас разносит навсегда,

Просвет всё ширя постепенно.
Да. Так бывает...
Всё росло
В нас напряжение и зрело...
Тебя куда-то понесло,
Меня бессмысленно задело.
Теперь две льдины в тишине
Разносит резвою водою.
И коршун рыщет в вышине:
Не промелькнёт ли в тьме живое?
Но только пенится река
И льды идут своей дорогой.
И опускается рука.
...И остаёшься недотрогой.

В квартире гости...
И в прихожей дым –
Клубки его ползут под дверь, как змеи.
Себя не ощущаешь молодым,
А голоса в дому звучат наглее.
Из стереоколонок – будто взрыв
Веселья, сумасшествия и звона.
И оглушённый, про гостей забыв,
Плывёшь по речке лунной, что с балкона
Упрямо льётся, душу теребя...
Ты в этот поезд прыгнул понапрасну:
Чужой вагон, где всё не для тебя,
А спрыгнуть на ходу уже опасно.

Снова сердце ёкнуло беспечно,
Снова чуда жду, как в двадцать лет.
Только жизнь, как праздник, быстротечна,
И петарды тает в небе след.
Так не стой в раздумье на пороге,
Закружи как вихрь свистящих вьюг,
Замети назад пути-дороги,
Зацелуй в моих глазах испуг,
Что лечу куда-то, обмирая,
Будто в детстве с горки ледяной,
И боюсь уже не столько края,
А того, что снова быть одной.

Значит, поздно.
И нет уже лёгкости,
Чтоб летать на качелях любви.
И робеем от странной неловкости,
Что огонь затушили в крови.
Значит, поздно.
Метелица белая
Остужает мой лоб и лицо,
Будто снежника ягоды спелые
Сыплет снег на моё пальтецо.
И ловлю я губами горячими
Свежий снег, забывая слова.
И смотрю я глазами незрячими
На тебя –
Ни мертва, ни жива.

Темнота не пугает теперь,
Как страшила в той юности робкой.
Приоткрою тяжёлую дверь –
И пойду еле видимой тропкой
Средь заплаканных чёрных кустов,
Что качаются, будто с поминок,
И стоят, окружая мой кров.
И скользит под ногами суглинок.
Я вдохну этот воздух сырой,
Погляжу в зонтик неба над садом –
Там не видно звезды ни одной.
Тускл фонарь перед дома фасадом.
Привыкаю к пропаже огней,
Вот и контуры чётче всё вижу.
Эта жизнь с каждым годом ценней,
И конец, скрытый в сумраке, ближе.



**Александр
АМУСИН**

АГАТКА ДЛЯ МАТРЕНЫ

(журнальный вариант)

ЛУЧИК

Ещё до рассвета тучи над селом сцепились так плотно, что даже крохотному солнечному Лучу проскользнуть между их мрачными разбухшими телами, кажется, невозможно. Но он упрямо ныряет, протискивается, пробуравливается... Ему невыносимо больно, намокшее тельце парит, растворяется золотисто-алым туманом. И вот Лучик всё-таки пробивается через серую тучную массу и лихорадочно начинает искать старый сад с древним колодцем, а в его бездне – непонятно как оказавшуюся там каменную куколку.

Её пригожее личико молочного тона с лёгкими вкраплениями вроде веснушек исходит таким беспокойным светом, что Лучику нестерпимо хочется прижать к себе красавицу, отогреть, зажечь капельный огонёк в её огромных голубых глазах. Лучик пытается донырнуть до неё, но не получается преодолеть холодную толщу воды, растущую с каждым часом под напором весеннего паводка. Но Лучик не отступает, не гаснет и с каждым новым рассветом разгорается всё сильнее и сильнее, превращаясь в расцветающий Луч.

Непонятно, почему, вспоминая о куколке, тоскуя и перешёптываясь со своей мечтой, Лучик нарёк её Агаткой. Сам он, рождённый несколько дней назад и пока не имеющий имени, ещё не ведаёт, что статуэтка вырезана из магического сапфирового агата, который, по преданиям,

-
- Александр Борисович Амусин родился в 1959 году в селе Долина Саратовской области. Писатель, журналист. Публиковался в журналах «Волга–XXI век», «Московский Вестник», «Молодая гвардия», «Юность», «Москва» (Россия), «Обзор» (США), в альманахах «Согласование времён», «Русский стиль» (Германия) и других изданиях. Отдельные поэтические произведения переведены на немецкий и английский языки. Автор книг «Жажда дождя», «Долина», «Этюды времени».

соединяет реальный мир физической материи с незримым небесным царством воздушных замков и надежд.

ТАЛИСМАН

– Опять небо в чёрный поход свою армию снаряжает! – ворчит дед Матвей Нораев, сгребая сено под навес. – Вот неймётся окаянному! И другой поры не могло сыскать! Обязательно в сенокос. Все-непременнойше! Можно подумать, звёзды светить перестанут, если не зальёт подсушенное. А куда глядело, когда поля от зноя душу рвали? Землица, бедненькая, была вся в трещинах...

– Чего мелешь, старый, не надоело самому с собой балакать? Кто услышит – на смех подымет! – забранилась подошедшая к деду супруга. – Ну сколько можно талдычить одно и то же: человеки вокруг, соседи! Кто твою заушь, окромя меня, поймёт да примет?

– Ага, щас! Ты понимаешь, а что, другие скудоумнее?

– Я?! Я, Матвеюшка, давно уже слышу, вникаю, чую и принимаю. А ежели говорить по совести, живу тобой всяким – со словами внятными, да непонятыми, и заботами беспросветными, и делами увесистыми. И всё вместе, Матвеюшка, всё рядком да ладком. Вначале сердцем к тебе прикипела, затем детьми приросла, а потом и судьбою вжилась. Годину за годиною для тебя у себя скрадываю.

– Ну, положим, не только для меня. А дети, внуки?

– И где они? В городах чужих обретаются, а дом родной два раза в год и видят – во дни рождений наших. А приведись в одну пору нам народиться? В один день бы приезжали? То ли радоваться, то ли плакать от такого скудного календарика...

– Радоваться, Мотрюшка, радоваться! А представь, и этого могло бы не случиться.

Дед не успел договорить, а бабка расцвела улыбкой.

– Ты про... гадание вспомнил?

Дед торопливо закивал головой.

– Да, свет Матрёна Арсентьевна, я ведь тогда не намеревался идти, на Рождество, совсем не собирался. Матушка вытянула, усовестила. Представить страшно: а вдруг не пошёл бы, не встретились, не случилось?.. Где бы ты сейчас обреталась, с кем бы я бедовал?

– И меня родимая не пускала. Боялась, Матвеюшка. Сам помнишь, какие времена стояли. Детей тайком крестили. Иконами печки растапливали. В церквах скотину держали. А в красном углу портреты вождей вешали. Тьфу!

Дед воткнул вилы в копну, повесил на стенку сарая грабли, взглянул на небо, достал серебряный портсигар. Матрёна Арсентьевна, улыбаясь, зачарованно пропела:

– Бережёшь! Раньше папироски в нём хранил, а таперича сигаретки. Никак не расстанешься?

– Твой талисман, Мотрюшка, помнишь, как заговаривала?

Матрёна Арсентьевна моментально сникла, грустно покачала головой.

– Как забыть, Матвейюшка? А я вот твой талисман не уберегла. Сколько лет хранительница на комодке возле зеркала простояла, присматривалась к будущему, каждым днём меня оберегала. Возьму, бывало, в руки, особенно когда тебя дожидалась, а она словно студёная, снежно-ледяная и по цвету, и по блеску, а столько тепла хранила, такой сердечностью горела... А глаза! Вроде голубые, а светятся – солнечные. Волшебные глазоньки! Чую, ведали, что в душе моей вершилось, такие глубокие-глубокие и участливые-участливые... Когда тебя в больницу на операцию отправляла, я ведь с ней разговаривала. Хошь смейся, а я, Матвейюшка, иногда слышала, как она отвечала. Нет, не словами, Матвейюшка, думами, светом. Веришь, гляжу на неё и слышу. Сердцем чую, Матвей, и каждое слово как музыка для меня, музы...

Внезапно лицо у Матрёны Арсентьевны померкло, слёзы, что заполняли морщинки под глазами, задрожали, бабка покачнулася, неуклюже взмахнула руками, точно раненая птица крыльями.

– Кружится всё, Матвейюшка, что-то сердце полыхает, мает...

Дед едва успел подхватить разом ослабевшую жену, осторожно уложил на сено, кинулся в дом за лекарством.

– Эх... И у кого рука поднялась такой оберег уворовать?

АГАТА

Маленькая Агата проснулась рано. Торопливо подбежала к окну, одёрнула шторы. Со слезами на глазах кинулася в спальню к матери.

– Мама! Мамочка! У неба плохое настроение. Мама, там тучи чёрные-чёрные, злые-презлые... Ему больно, больно!

Агата плачет. Мать, спросонок недоумевая, пытается разобраться:

– Агаточка, у тебя зуб болит? Нет? Ну, хорошо-хорошо, скажи, где больно, и мы вылечим. Быстро, быстренько!

Агата поворачивается, тычет пальчиком чуть пониже горла.

– Там, мамочка. Там плохое настроение спряталось.

– Неужели ангина? Боже, только от ветрянки избавились!

– Какая ангина, мама! – Агата снова показывает чуть пониже горла. – Там плохо, плакать хочется, там!

– Понятно, у тебя в сердце нехорошее настроение спряталось, правильно?

Девочка обрадованно кивает головой.

– Тебе скверный сон приснился?

– Да, про Лучик солнечный! Он мне сказал, что если я не расскажу про куколку бабушке, он больше никогда не вернётся на землю. И я замёрзну совсем, и бабушка, и папа, и все замёрзнем, замёрзнем!

– Фу! Перепугала! Какая кукла, где, пойдём за ней!

– Она далеко, там, в колодце.

– И давно? – ещё не осознав, но начиная догадываться, спрашивает мать.

Агата прячет лицо в ладони, укрывается одеялом.

– С весны, – слышит мать сквозь рыдания из-под покрывала. – С весны! Мы ею сосульки скалывали с Витькой. На краешек поставили, а она упала в колодец!

Просыпается и отец.

– Что случилось? Что стряслось? Почему родные врозь?

– Лучик, – всхлипывая, отвечает Агата, – Лучик сказал, что больше не вернётся, если я бабушке не сознаюсь про куклу.

– Так-так... И про какую игрушку ты ей должна повиниться?

Агата молчит. Боязливо поглядывая то на окно, то на мать, то на свои ладошки.

– При чём тут игрушки, Саша? Похоже, давняя пропажа сыскалась. Помнишь, в прошлом году на день рождения к твоей матери ездили, тогда ещё талисман пропал – куколка агатовая, заговорённая. Мама потом темнее тёмного ходила. Говорила, будто по молодости с отцом напропорочили, чей талисман первым пропадёт, того первым и... в общем, потеряем.

– И ты в эту ерунду веришь?

– А куда деваться? Я где-то читала, агат называют Оком Творца. И у многих народов он считается оберегом, несёт в дом здоровье, удачу. Думаю, люди не напрасно тысячелетиями в это верили. И потом, ты же знаешь, мама совсем сдала за минувшую зиму. Отец пишет, никогда её такой потерянной не видел. Почти ничего не ест. Высохла. И всё время задыхается. Зимой с открытыми окнами спят. К врачам возил самым опытным – те только руками разводят. Отец боится, что к лету, в жару, ей ещё хуже будет.

– Понятно, что ничего не понятно. Старость – она никого ещё не вылечила. Придёт лето, и достанем Агатку-талисманку.

– Лета не будет! Не будет лета! Лучик не вернётся! – снова заплакала Агата.

– Ну, это уже серьёзнее, намного серьёзнее. Значит, будем думать, как его возвратить побыстрее. Успокойся.

Агата оживилась. Она ничего не спросила, но отец сказал:

– Я помню, день рождения матушки – семнадцатое апреля. Сегодня середина марта, но ты догадываешься, какой лёд сейчас в колодеце?

– А если его растопить? – вмешалась в разговор дочь.

– Как?

– Чайником! Лить и лить горячую воду, лить и лить! Мы так сосульки разогревали, чтобы ангины не было.

– Ну что ж, совет на уровне открытия, так и сделаем...

АГАТА

Говорят, солнечные лучи живут недолго. Неправда. Если есть ради кого гореть – могут годами полыхать их хрупкие тельца радужным светом и угаснуть в одночасье вместе с тем, во имя кого жили. Каждое утро Лучик спешил к ней! Не сразу, но Агатка его заметила. Точнее, выделила среди иных заглядывающих в колодец лучистых братиков. Те сияли безмятежно, этот пульсировал взволнованной

радугой, а когда погружался в закатные сумерки, долго парил огненным пёрышком над водной преградой и, медленно угасая, растворялся в последних отблесках уходящего солнца.

И хотя Агатка была сотворена из камня, её сердце, не ведающее боли, словно расслаивалось, когда исчезал Лучик. Он покидал её водяную обитель последним. Каждый вечер Агатка с ужасом ожидала мрачных мгновений, когда непроглядные тени, одна за другой, цепляясь за бревенчатые стены сруба, начинали заполнять колодец. И если днём под спудом ледяной воды ей не хватало воздуха, то ночами она слепла от бессилия перед собственной неподвижностью. Обречённая лежать не шелохнувшись, она угрюмо смотрела в ночное небо, наделившее её такой жуткой участью.

Глубоко за полночь, чтобы избавиться себя от мучительной тоски, она утопала в воспоминаниях тёплых и нежных, как сама Матрёна, для которой крошечную Агатку из цельного камня некогда вырезал влюблённый Матвей. Снова и снова возвращалась в тот день, когда, очарованный красотой девушки, парень привёл её на окраину села, где на высоком валуне, исполином возвышавшемся посреди огромной цветущей луговины, стояла крохотная красавица. Больше месяца с резцом в руках Матвей «колдовал» над куколкой, силясь создать её похожей на любимую Матрёну. Больше месяца ночами, при мерцающей масляной лампе, по крупицам, совершенствовал своё творение. А теперь сам, словно огонёк в лампадке, с трепетом ждал, признает ли девушка себя в крошечной фигурке.

Матрёна молчала. Она искренне не понимала, зачем они пришли за околицу и встали перед замшелым булыжником. Конечно, и раньше догадывалась, что нравится Матвею, да и сама не совсем равнодушно смотрела на его крепко сбитую, словно выкованную кузнецом фигуру. Но Матрёна жила своей жизнью, вначале с любопытством, а затем безучастно поглядывая на многочисленных тайных воздыхателей и явных ухажёров. Матвея тоже нельзя было назвать одиноким. Многие из сельских девушек на парня засматривались, некоторые, не стесняясь, искали встречи, но напрасно – дурной молвы о нём не было. Матвей и Матрёна, если и встречались – невзначай, кивали друг другу, приветствуя, и расходились до нового случая. А весной Матвей и вовсе исчез. По селу поползли слухи, будто парень уехал на Урал – за длинным рублём погнался. Но ближе к лету он вернулся и больше месяца почти не выходил из дома.

– От стыдобы хоронится, от сраму! – злорадствовали соседи. – Не пришёлся ко двору у богатеньких, взашей, похоже, выгнали, коли долго так прячется!

Матвей подошёл к дому, где жила с родителями Матрёна, в день её рождения. Больше часа дождался, пока девушка выпорхнет из калитки. Ни слова не говоря, взял, как ребёнка, за руку и повёл за околицу. Матрёна попыталась заупрямиться, но, взглянув в обеспокоенные глаза парня, ни о чём не спрашивая, покорно пошла следом. Когда остановились, об Матвея можно было зажигать спички – так покраснелся, волнуясь.

– Нравится? – Матвей кивнул на валун.

Матрёна недоумённо пожала плечами.

– Что? Луговина? Ну, цветистая, и что?

Матвей замаялся, понимая, что Матрёна не видит куклу на вершинке.

– А помнишь Рождество, гадание... Нам с тобой цыганка нагадала про...

– Цыганка?! И ты ей поверил?!

В этот день Агатка впервые услышала, как смеётся Матрёна – мягко, ласково, напевно, словно боялась обидеть своим смехом. Немного успокоившись, девушка изумлённо спросила:

– Цыганка, говоришь? Которая напорочила, что выйду замуж за того, кто меня из камня изваяет, на камень вознесёт да в дом из камня приведёт?

Матрёна сняла с валуна куколку, улыбаясь, долго вглядывалась в неё.

– Ой, Матвей, теперь понятно, зачем ты на Урал ездил да отчего почти всё лето носа не казал на улицу. Неужто, Матвейка, своими руками так искусно смастерил? А глаза-то какие душевные, надо же! И как удалось? Ты же плотник, а не этот, который по камню мастер, что в сказке. – Матрёна слегка смутилась, вспоминая, как звали Данилу-мастера. – Матвеюшка, а как этот камушек называется?

– Агат.

– Стало быть, она Агаткой народилась. А вот про цыганку тебя разогорчу, Матвеюшка, а то ведь ещё и усадьбу из камней блестящих отгрохаешь, настырный. Не было никакой гадалки. Это подружку мою обрядили да как нашёптывать подучили. Я же сама это пророчество с талисманом и придумала, чтоб кавалеры поостыли с предложениями. Устала я, Матвеюшка, от них. Молодая ещё берега искать, да и родной дом дорог, хоть и не кирпичный. Всем та цыганка одно и то же про меня говорила, да только ты один и услышал, исполнять кинулся.

– Ну, не было цыганки, значит, не было! – Матвей ссутулился, неуклюже нарвал букет из васильков. – Всё одно, с днём рождения тебя, Матрёна Арсентьевна, с днём рождения!

– Ну, тогда нас обоих с Агаточкой поздравляй. Раз она на меня так похожа. Я её на подушку рядышком укладывать буду. Пусть про всё явное да затаённое знает, даже про то, о чём сама думать боюсь. Глядишь, легче на душе станется, всё не одной маяться. Спасибо за подарок, Матвеюшка, спасибо! Я тебе... я тебя...

Не договорив, Матрёна резко развернулась и побежала в деревню. Матвей не заметил, да и никто не увидел, одна Агатка почувствовала: её каменные руки, шею, плечи обожгли крупные жаркие слёзы. В этот день Агатка узнала, как смеётся Матрёна и как плачет. Но она ещё не понимала, когда плачут от горя, а когда – от счастья...

МАТРЁНА АРСЕНТЬЕВНА

Однажды Лучик не добрался до своей любимой. Почти неделю над селом бесновалась метель, забрасывая избы и дворы холодным

блестящим снегом, за одну ночь превратила деревню в один сплошной сугроб, в котором дулами поверженных орудий торчали печные трубы да сломанные телевизионные антенны. Двери невозможно было открыть – настолько плотным был снежный покров. Досталось и колодцу. Брошенной гренадерской шапкой возвышался он посреди занесённого сада после метельного нашествия.

А что творилось на дне? Лёд, нависший над Агаткой, был настолько тяжёл и тёмн, что бедняжка, пролежав неделю в непроглядной темноте, уверилась: солнца она никогда не увидит – его больше нет, иначе бы оно не допустило того, что творилось в колодце. А раз так, ей некого больше ждать, ей незачем больше спасаться воспоминаниями о Матрёне, Матвее, их детях и внуках. Агатка поблёлка, потускнела, а затем почти угасла. И только одна мысль не давала ей совсем отключиться от внешнего мира, превратиться в мёртвый камень. Слова билась где-то в глубине куклы, словно сердце: «Нельзя! Матрёне плохо! Нельзя!»

Действительно, с того дня, как Агатка оказалась в колодце, Матрёна почувствовала себя не просто худо, а как она выразилась, «совсем никудышно». Часто стала задыхаться, на руках и ногах появились какие-то пятнышки. И если при солнце она могла, опять же по её собственному выражению, «совладать с собой», то с наступлением темноты не могла и «шагу ступить».

Племянник Матрёны Арсентьевны, участковый Матвей Таволгин, в каких только больницах не перебивал с ней. Даже самые опытные врачи, друзья капитана, разводили руками, не понимая, что с ней происходит.

– Это всё из-за куколки: худо ей – и мне худо, и нечего попусту хороших людей заботить, – возвращаясь домой, ворчала бабка Матрёна после очередных обследований и анализов.

Дед Матвей подзывал крючковатым пальцем племянника:

– Найди ей куколку, разыщи, хоть из-под земли достань! Пусть вернут!

А пока Матвей-младший пытался разыскать пропажу, Матвей-старший с каждым днём становился всё мнительнее, подозрительнее, раздражительнее и нелюдимее. Всех сельчан, кто был в день исчезновения Агатки на дне рождения Матрёны, стал обходить, не здороваясь. Соседей сторонился, со двора выходил редко.

Однако в селе деда понимали и не осуждали, сами видели: Матрёне с каждым днём становилось всё хуже и хуже. Бледная, исхудавшая, она уже не вставала с постели, почти ничего не ела, силы её таяли. Через неделю, когда случилась пурга и всё село завалило снегом выше крыш, Матрёна подозвала мужа:

– Не сердись, Матвеюшка, совсем я ослабла, совсем. Деток хочу увидеть напоследок, не доживу до дня рождения, не получается. Доберись до почты, телеграммы дай. Адреса в тетрадке клеёнчатой найдёшь. Бог даст, успеют, свидимся. И ещё, Матвеюшка, загляни в магазин, закупи материалу чёрного да алого. Сам знаешь, для чего...

Матвей хотел сказать Матрёне что-то успокаивающее, светлое, душевное, да только отвернулся и задрожал и обречённо побрёл

на улицу, прихватив тетрадку с адресами, чуть не забыв надеть тулупчик. Выбрался на крыльцо и ахнул: человек десять сельских мужиков вместе с Матвеем-младшим очищали снег и разбивали лёд возле колодца.

«А это ещё к чему?» – хотел спросить дед Матвей. И вдруг понял по сияющему лицу племянника.

– Так она там, куколка? Там? – прошептал, ещё не веря своей догадке.

– Здесь, похоже, здесь! – улыбнулся Матвей-младший.

Дед насупился, поёжился.

– С чего решил? Зима не лето – в воде бултыхаться.

– Сон привиделся, деда, странный, и... В общем, мальчишка приснился, худющий и весь золотой, как лучик солнечный. С чего – не знаю. Мальчишка молчит и на горло показывает, вроде как ангины у него, и к колодцу меня зовёт, к колодцу. Я проснулся, сразу и не уразумел, что к чему. А потом вдруг припомнил. Не только баба Матрёна после того своего дня рождения захворала. Мальчишка соседский, Витя, тоже заболел ангиной, я его сам в районную больницу отвозил.

– Ну и что? Захворал – тоже новость. И я знаю, отвары мальцу готовил.

– Правильно! А с чего, догадываешься?

– Знамо, с чего: мелюзга сосульки сбивала да в рот совала.

– Вот именно! Сосульки... А где их взять?

Дед раздражённо закричал, насупился:

– Не томи глупостями. Говори как есть. Где-где – везде, вон их сколько везде валяется, подбирай, и...

– Это сейчас на снегу. А весной? Снега нет, стаял, земля сырая, грязь. До крыш малявки не достанут – ростом не вышли. Да и сшибать без толку – упадёт сосулька опять же в грязь. Вот детишки и крутились возле колодца, где до них рукой подать.

– Ну, крутились, а кукла здесь при чём? – угрюмо спросил дед.

– Мальчишка говорит: они с твоей внучкой Агатой куклу с комода прихватили и ею сосульки с колодца сбивали, а потом уронили в воду нечаянно, – отрапортовал, не обращая внимания на злобный вид деда, Матвей-младший. – А ещё утром сын твой позвонил, спрашивал про погоду, просил посмотреть, сколько в колодце льда. Говорит, мол, сюрприз матушке приготовить хочет. Какой – не объяснил. На выходные приехать обещал. Но, я так понимаю, и внучка созналась про куклу. Лучик не только мне одному приснился.

– Так я же внучку несколько раз самолично выспрашивал. «Не брала куколку, не видала!» – только одно и заявляла. Вот ведь... Врала и хоть бы глазом моргнула!..

Дед опустил на землю, не заметив, что сел в сугроб. Таволгин торопливо его поднял. Деда трясло.

– А меня Мотрюшка на почту послала телеграммы разослать, детей велела оповестить да внуков – попрощаться хочет – и материалу чёрного прикупить. Совсем плоха, совсем... Выходит, не хочет Солнце беды... Матвей, а может, и взаправду души наши – от Солнца?

Когда дед Матвей вернулся домой, Матрёна, с трудом выговаривая каждый слог, шёпотом спросила:

– Матвеюшка, отправил телеграммы?

– Конечно, Мотрюшка, даже ответ уже получил бандерольный! Держи свою Агатку-талиманку! Выздоровливай, поправляйся! А я стол пойду накрою мужикам, да и в магазин заглянуть надоть: замёрзли почтальоны, доставая сокровище, подлечить их тоже не помешает.

...И Лучик видел, как плакала от радости баба Мотря, прижимая к себе талисман. Как её лицо, бледное от бесконечного тревожного ожидания, просветлело, зарумянилось. Разглаживая глубокие старческие морщины, Лучик почувствовал сердцем, как много добрых слов хочет сказать Матрёна и Агате, и деду, и всем, кто был с ней рядом.

Он улыбнулся своей радужной улыбкой, робко прикоснулся к губам Агатки и Матрёны, вспыхнул последний раз, осветив комнату пушистым, чарующим светом – и поспешил домой, к Солнцу, чтобы шепнуть ему: «Во Вселенной на одну беду меньше стало! На одну беду меньше!»

*Поздравляем председателя
Ассоциации Саратовских Писателей,
поэта и прозаика Александра Борисовича Амусина
с юбилеем!*



**Виктор
САЗЫКИН**

ПОДАРОК ОТ РАБИНДРАНАТА ТАГОРА

История эта скорее похожа на литературный анекдот, но произошла якобы доподлинно, во всяком случае, из всех её действующих персонажей двое – достоверно известные, и хотя имя профессора Тимофеева знакомо всё же сравнительно ограниченному кругу лиц, зато поэтессу Инну Гофф помнят многие.

Итак.

Морозной зимой сорок шестого года в московский дворик на Тверском бульваре, где и поныне располагается Литературный институт, вошёл бравый лейтенант с гвардейским знаком на груди – будущий довольно известный советский поэт (назовём его условно – Фёдор, не намекая ни на кого, кто бы мог скрываться под этим именем). Чувствовалось, что у молодого человека замечательное настроение, когда абсолютно всё в окружающем мире вызывает нечто среднее между восторгом и умилением: и этот морозный воздух, и снежный хруст под ловкими офицерскими сапогами, и режущее глаза блистательное солнце, и, конечно же, оглянувшиеся не без интереса на него, молодого, подтянутого, барышни-студентки, которым он так лихо козырнул; и даже этот в общем-то не столь примечательный, приземистый дворик за резной чугунной решёткой, где на воротном столбе – революционный барельеф Герцена как печать незыблемой славы, а в глубине – знаменитый дом писателя с лепниной по фронтону (потом здесь поставят и скульптуру самого Александра Ивановича с гранками «Колокола» в руках) – всё, всё вызывало в душе молодого поэта ликование! Тем более что ему пред-

-
- Виктор Алексеевич Сазыкин родился в 1956 году. Окончил Пензенский сельскохозяйственный институт. Учился на Высших литературных курсах при Литературном институте им. А. М. Горького (1991–1993). Член Союза писателей России с 1991 года. Живёт в Пензе.

стояла радостная встреча с друзьями, обитавшими в столь славном заведении.

Молодцевато оправив шинель и портупею, лейтенант упругим, хрустким шагом направился к входным дверям института. Но не успел войти, как с ходу его облапил и крепко стиснул в объятиях другой поэт (скажем, по имени Николай), тоже будущий лауреат всяческих премий. Но всё это: премии, слава, награды – всё это будет потом, годы и десятилетия спустя. А сейчас, морозной зимой сорок шестого, они и без того счастливы, потому что молоды, талантливы, безумно влюблены в поэзию, несказанно верят в своё предназначение и, наконец, потому что они *победители* – оба недавние фронтовики. Да, сверхсрочник Фёдор ещё при погонах, а Николаю, как и многим, вообще не во что переодеться, так и ходит во фронтовой одежке (а как хочется порой принарядиться!). И постоянно мучает голод (чёрт бы его побрал в такое замечательное время!), и Москва ещё не залечила боевые раны – тут и там остатные следы бомбёжек, но всё уже прибирается, всё восстанавливается – всё наладится!

Братушки обнялись, немного прослезились. Николай, оказывается, увидел Фёдора из окна верхнего этажа и, к удивлению всей аудитории, вдруг стремглав ринулся вон...

Ба, да к ним пожаловал сам Фёдор (такой-то), недавно прогремевший фронтовыми стихами на всю страну! Братуха! И только звякнул институтский звонок на перерыв, как поэта-лейтенанта обступили и другие студенты, с которыми он уже отчасти был знаком.

Между тем Николай и Фёдор успели расспросить друг друга, что и как, какими, так сказать, судьбами... Выяснилось, что лейтенант в Москве по случаю командировки от воинской части. Конечно, решил непременно повидать друзей, а заодно разузнать насчёт поступления в Литинститут, на заочное отделение.

Студентов-фронтовиков в институте страшно уважали, всех до единого знали в лицо, да и ходили они – не только от бедности, но и некой гордости – во фронтовых обносках, что нисколько не приносило им заслуженного авторитета. Потому, когда на виду у всего института обнимались, целовались, смахивали рукавами невольные слёзы эти крепкие парни в потёртых шинелях и гимнастёрках (а ведь позади кровавые поля, ранения и эвакуогоспитали), у наблюдавших эту сцену не нюхавших порошу студентов от зависти ныло в груди: герои, таланты, братья!

Когда немного успокоились, Николай сейчас же заявил:

– Братцы, встречу надо отметить! – И выскреб из кармана жалкие остатки от стипендии.

Идею, разумеется, все тут же поддержали. Правда, у них ещё целая лекция... Тем не менее тотчас полезли в нищие карманы.

– Не суетитесь, ребята, – остановил Фёдор, – выпить найдётся, у меня с собой спирт. Только вот закусить нет. Я, братцы, тоже поиздержался... А по правде, – сконфуженно засмеялся он, – у меня деньги вынули из кармана.

– Эх ты, растяпа! Тоже мне гвардеец!

– Не лайся, главное, спирт цел, верно?

– Целая фляжка неразведённого! – подтвердил Фёдор.

– Живём, братухи! Айда к Капитонычу!

И четвёрка молодых фронтовиков двинулась за угол дома, где находилась институтская кочегарка, о которой свидетельствовали закопчённая дверь и у входа два припорошенных снегом бугорка – уголь и шлак.

Истопник Капитоныч, сухой, небритый, старомодно уса-тый и насмешливый старик, воспринял идею фронтовиков вспрыснуть встречу в его заведении вполне здраво. Студенты и так к нему частенько заходили – кто погреться, кто душу стихами излить, а тут такой повод – сам Бог велел.

– Капитоныч, у тебя чего-нибудь закусить найдётся? – с порога спросил деловито Николай и пояснил, в чём дело.

– Закусить-то?..

Старик поскрёб за ухом, вспомнил, что в тумбочке у него лежит полдюжины картофелин, которые, конечно, испечь недолго...

– А какова будет масса питания? – уточнил диспозицию истопник и, услышав, что целая фляжка чистого спирта, прикинул в уме, что на голодные желудки (знал, что студенты недоедают), без хорошей закуски, конечно, многовато на четверых (себя в счёт как бы не принимал). Ну, что это за закуска – по картошке на брата?! М-да... А вообще-то...

Капитоныч вдруг нацеленно прищурил глаз на лежанку в углу.

– Вот что, ребятки. У вас уроки-то кончились? – спросил, обращаясь к Николаю.

Тот ответил, дескать, ну их к лешему, эти уроки, такая встреча, понимаешь ли, Капитоныч...

– Э, нет! – нравоучительно возразил истопник. – Сначала уроки, а потом уж гульба. Валяйте, идите, а закуску я вам гарантирую. Накормлю – будь здоров! Через часок приходите – всё будет в ажуре.

И старик деловито и как бы нетерпеливо потёр сухие, крепкие, с угольным блеском, прокопчённые ладони.

– Точно, Капитоныч? – недоверчиво переспросил Николай, трогая голодно урчащий живот.

– Сказал – баста! – подтвердил Капитоныч.

И молодая ватага, торопясь не опоздать на лекцию, вывалилась на мороз из кочегарки. Фёдор охотно пошёл вместе со всеми.

По причине отсутствия преподавателя расписание, оказывается, сменилось, и вместо «Зарубежной литературы» читал «Теорию литературы» профессор Тимофеев. Леонид Иванович хотя и был неформально общителен со студентами, но по-своему строг, опозданий и прочих не порядков не любил. Однако, узнав, в чём дело – то есть что в гостях офицер-фронтовик, поэт и журналист, – неудовольствия своего на этот раз не высказал.

Лекция была, безусловно, интересной. Тимофеева любили. Сегодня Леонид Иванович был в ударе и, то и дело поправляя спадавшую

на лоб прядь волос, особенно вдохновенно говорил о высоком назначении поэзии, искусства, литературы; в занимательной форме рассказывал о своих встречах с Горьким, Роменом Ролланом и даже с индусом-бенгальцем Рабиндранатом Тагором – великим другом Советского Союза. Когда последний ещё до войны побывал в России и затем писал хвалебный очерк о грандиозных социалистических переменах, Леонид Иванович не раз общался с товарищем Тагором.

– Вот послушайте, что он писал, друзья мои, цитирую по памяти: «Другие страны, в которых я был (а Тагор объездил множество стран), не так волновали моё воображение. Простой народ сбросил бремя неравенства, смог выпрямить спину и поднять голову. Они теперь стоят в мире людей с высоко поднятой головой. Ум их независим, руки свободны». А вот ещё из его знаменитых «Писем»... Кстати, великий индус подарил мне, тогда ещё молодому учёному...

А что подарил, профессор не успел дорассказать, так как прозвонил звонок и голодным студентам – профессор это понимал – было не до подарка великого писателя: естество требовало своё. «М-да... телега, подвозящая хлеба человечеству, тоже не последняя вещь», – мудро подумал Леонид Иванович. Правда, друзья-фронтовики ещё на целых десять минут задержались возле него, но разговор перешёл на современную поэзию, и Фёдора, к смущению его, попросили прочитать недавно опубликованные стихи, которые произвели на Тимофеева очень сильное впечатление, а когда он услышал, что фронтовик собирается поступать в институт, суровым голосом проговорил:

– Обязательно, обязательно надо учиться!

И пообещал авторитетно поспособствовать, чтобы молодого талантливого поэта-фронтовика зачислили без проволочек.

Дорогой в кочегарку Николай хлопал Фёдора по плечу, говоря:

– Ну, брат, считай, что ты уже зачислен. А это уж тем более надо отметить.

А из кочегарки той порой – лишь отворили дверь – обдало запахом такой вкуснятины, что у голодных парней аж скулы повело.

– Ну, Капитоныч, ну, старый хрыч, где же ты всё это раздобыл?! – удивлялись студенты, когда истопник важно подал на противне жареное мясо, к нестерпимому аромату которого не менее соблазнительно присовокуплялся сладко-горьковатый дух печёной картошки.

– Да ко мне тут, ребятки, недавно родственник из деревни приезжал. Охотник заядлый. А у них там зайцы прямо по огородам бегают, все яблони пообгрызли. Ну вот, он троечку и привёз нам со старухой. А я тут недалеко живу, мигом сходил, думаю: хлопцам – самая закуска! Милости прошу. Как говорится, чем богаты, тем и рады.

Старик вынул из тумбочки пару кружек, гранёные стаканы, и пиршество началось.

Под зайчатину и разговоры фляжка чистейшего спирта пошла как вприсядку.

– Ешьте, ешьте, – угощал Капитоныч.

Сам он выпил лишь для блезиру – ни-ни, служба! – а закусывать и вовсе не стал (он же только из дома, пообедавши), занюхал пропитанным каменной пылью рукавом – и шабаш.

Захмелевшие друзья вспоминали фронтовые дела, наперебой читали стихи, спорили: кто вот это стихотворение написал, а кто – вот это:

*Ветер, поле, я да Русь
В мире небывалом.
Не сдаёшься? Не сдаюсь
Никаким шакалам.*

«Глазков, Глазков» – кричали хором, угадавши автора. («Блаженного» Глазкова в то время совершенно не печатали, но стихи его гуляли по Москве.)

– Ребята, а помните потрясающие строчки? – горячился Николай и, прочистив горло, молодым, зычным голосом читал:

*...А потом
Мы пили водку ледяную,
И выковыривал ножом
Из-под ногтей я кровь чужую.*

«Гудзенко! Гудзенко!» – кричали.

При упоминании Семёна Гудзенко – одного из самых знаменитых молодых поэтов-фронтовиков, тотчас вспомнили, что сегодня в общежитии как раз вечер поэзии, на котором, конечно же, будет и Семён – заправила в таких мероприятиях.

– Ребята, айда в общежитие! Фёдор, айда с нами!

– Капитоныч, – прощаясь с истопником, тискал его в объятиях крепыш Николай, – мы тебя прославим в стихах! Зайчатина была что надо! Правда, жестковата, – добавил.

– Заяц, наверное, старый попался, – довольный, расправлял усы Капитоныч.

На улице уже стемнело, и над московскими крышами кралась кошка-луна.

При выходе из кочегарки столкнулись со студентом-старшекурсником Александром, тоже весьма известным московским поэтом, которого, однако, многие недолюбливали за гонор и какое-то легкомысленное фантазёрство. Тем не менее поинтересовались, будет ли он тоже сегодня на литературно-поэтическом вечере.

– Непременно, – небрежно ответил тот.

Действительно, он, как и Гудзенко, был завсегдатаем литературных чтений и диспутов, имел успех, особенно у почитательниц его таланта. Как же не прийти? Тем более что в последнее время он увлёкся подающей надежды поэтессой Инночкой Гофф, которая, конечно, будет на вечере. Народу там вообще набивалось всегда до отказа.

В субботу профессор Тимофеев опять читал лекцию в Литинституте. В аудитории было зверски холодно, батареи грели чуть-чуть: истопник Капитоныч по указанию ректора экономил уголь из расчё-

та, чтобы как-нибудь дотянуть до весны. Студенты сидели, не снимая шинелей и пальто. В первом ряду, у батареи, засунув ручки в меховую сине-дымчатую муфточку, – Инна Гофф, похожая на пригревшуюся кошечку.

А профессор Тимофеев был не в духе. Во-первых, издательство, где вот-вот должна была выйти его книга, вежливо сообщило, что по объективным причинам план срывается. Чёрт-те что творится! А во-вторых, вчера у благоверной среди бела дня прямо из-под рук спёрли... Да что же это такое?! Когда, наконец, в стране наведут порядок? Чёрт-те что!.. К тому же опять куда-то запропастился Хинди... Он и до этого нередко... И потом эти чёртовы морозы! Когда они кончатся? Профессору было холоднее, чем студентам, потому что не мог же он себе позволить читать лекцию в пальто. Леонид Иванович сурово бодрился и, чтобы согреться, ходил взад и вперёд живее обычного.

Вдруг профессор приостановился и как-то так внимательно прицелился в сторону Инночки Гофф. Затем проворно направился к ней. Подойдя, очень заинтересованно спросил:

– Простите, пожалуйста, а что это у вас такое? – указал на муфточку, несколько потёртую на вид.

– Это? Муфта, – ответила тихо юная поэтесса, недоумённо пожав плечиком.

– Я вижу, что муфта. Но скажите, откуда она у вас?

– Муфта? – Инночка почему-то покраснела.

– Да, муфта, – начал раздражаться профессор. – Откуда она у вас? Инночка покраснела ещё больше.

– Ну-у... подарили мне.

– А позвольте спросить, кто именно подарил?

– А разве это важно, Леонид Иванович? – ещё тише ответила девушка.

– Нет уж, вы извольте отвечать, товарищ студентка. Если я спрашиваю, значит, имею на то решительные основания. Так кто же вам подарил?

«Товарищ студентка» помялась и наконец смущённо ответила, что подарил муфточку старшекурсник такой-то – и назвала фамилию поэта-москвича.

– Кто-кто? – удивился профессор.

Уж кого-кого, а этого хлюста Тимофеев хорошо знал, поскольку не раз заступался за него перед ректоратом: талантливый, сукин сын, из приличной семьи, а выкинет порой какой-нибудь фокус – в пору и вправду в три шеи из института.

– А позвольте полюбопытствовать, где он эту муфточку взял?

– Сказал, что купил, – совсем оробело ответила студентка.

– Так-так-так... – что-то соображал профессор. – Знаете, вы мне эту муфточку, пожалуйста, отдайте сейчас, а вашего друга-дарителя сей же миг – повторяю: сей же миг – найдите и приведите ко мне на кафедру.

Леонид Иванович взглянул на часы: через три минуты должен быть звонок – не дожидаясь, объявил, что лекция закончена, и сам торопливо вышел.

Все тотчас бросились расспрашивать Инну Гофф, в чём дело, что случилось.

Да откуда она знает?! Сашка вчера приходил в общежитие и... подарил. Вон какая холодрыга!

Гофф пошла искать по аудиториям скандального поэта.

Когда нашла и сообщила тому, что профессор Тимофеев вызывает его по поводу той самой муфточки, которую он подарил ей и которую профессор изъял в качестве какой-то улики, у поэта отвисла челюсть.

– Саша, скажи, – стала пытаться его Инна, – где ты взял эту муфточку? Ты украл её?

– Ты с ума сошла!

– Молчи. Слушай меня, – собралась в упругий комочек студентка. – Мне кажется, Тимофеев не хочет обнародовать этот факт. Поэтому иди и признайся во всём, и, может, всё уладится. Пойдём, говорю! – И Гофф, вцепившись маленькой ручкой в драповое пальто поэта, поволокла его за собой к Тимофееву.

Но когда вошли в кабинет, поэт вдруг первым напал на профессора:

– С чего вы это взяли, Леонид Иванович, что я украл у вас муфточку?

– У меня? – вроде как опешил профессор.

– У вас – у кого же? То есть, наверное, у вашей супруги?

– Э-э... погодите... Так вы ещё и украли?

– Леонид Иванович, уверяю вас: не крал я её!

– И всё-таки? – настаивал профессор.

– Ну, хорошо, – сдался поэт и, смущаясь, рассказал всё как было.

А было так... Впрочем, по порядку.

Когда студенты ушли от Тимофеева (надо сказать, ушли в полном недоумении), профессор какое-то время сидел озадаченный. «Ах, Капитоныч, Капитоныч! Вот никогда бы не подумал... Ах, до чего людей война довела! Разве советский человек при нормальных обстоятельствах докатился бы до этого? Нет, экономику надо восстанавливать самым решительным образом! Иначе не за горами нравственное разложение общества, крушение идеалов, неверие. Но потерять веру в человечество – страшный грех! О, тысячу раз прав певец Золотой Бенгалии!»

Благородные мысли не помешали, однако, вспомнить профессору, что сегодня получка и день отоваривания. Тимофеев оделся, взял портфель, прошёлся коридорами института, спустился по лестнице к вахтёру, сдал ключи и пошёл в спецмагазин, где отоваривали по карточкам. Ему, как профессору, полагались кое-какие деликатесы: краковская колбаса, зернистая икра, шпроты, кое-что из сладостей и даже коньяк. Всё сложив в портфель, он так же неторопливо и степенно возвратился к институту, чтобы двориком пройти на Большую Бронную.

Проходя мимо институтской кочегарки, приостановился, о чём-то подумал и решительно направился туда.

Истопника Капитоныча профессор знал много лет: он и до войны топил, и всю войну, и теперь топит, он и плотник, и столяр, и сторож – безотказный работник. И чтоб до такого докатиться!..

– Здравствуй, Капитоныч.

– Здорово, Леонид Иванович!

– Чего-то сегодня в аудиториях холодновато? – издали начал профессор.

– Приказ: экономить уголь. А приказ не кол, его не обтешешь.

– А я вот по какому делу к тебе, Капитоныч...

Профессор оглянулся кругом, где бы почище.

Истопник пододвинул ему табуретку, предварительно смахнув с неё копать рукавицами.

Профессор не сел. Поставил на табуретку портфель, расстегнул и вынул муфточку.

– Вам знакома эта вещица, Василь Капитоныч? – строго, как следователь на допросе, спросил Тимофеев.

Истопник отёр о стёганные штаны чёрно-сальные от угля руки, взял осторожно муфточку, повертел так и сяк.

– Чё-то не разумею, Леонид Иванович. Потерял, что ли, кто?

– Повторяю: эта вещь вам знакома?

– А то как же? Сам шил, сам свеживал. А в чём дело-то?

– Да знаете ли вы?.. – не вытерпел профессор и взволнованно заходил по кочегарке. – Знаете ли вы, чей это был подарок? Самого Ра-бин-дра-ната Таго-о-о-ра! – возвысил голос профессор.

– Это кто ж такой? – не то чтобы испугался, но сразу насторожился истопник.

– Великий индийский поэт и философ! Вы послушайте, какие стихи:

*Та женщина, что мне была мила,
Жила когда-то в этой деревеньке.
Тропа к озёрной пристани вела,
К гнилым мосткам на шаткие ступеньки.*

Капитоныч стоял к профессору бочком, внимательно, но как бы недоверчиво вслушиваясь. Вообще-то он привык к поэтическим экзерсисам...

*Название этой дальней деревушки,
Быть может, знали жители одни.
Холодный ветер приносил с опушки
Землистый запах в пасмурные дни.*

Стихи заинтересовали старика: он вспомнил родную деревеньку, которую пришлось покинуть в 30-е годы: голод, безнадёга, голытьба бесчинствует, семенное зерно из амбара дочиста выгребли...

Профессор читал, прохаживаясь три шага туда, три шага обратно:

*Она меня водила к храму Шивы,
Тонувшему в густой лесной тени.
Благодаря знакомству с ней, я живо
Запомнил деревенские плетни.*

«Деревенские плетни» как-то особенно тронули память Капитоныча. Он присел на табуретку, свернул сигарку, закурил, продолжая слушать.

*Крестьяне ждут на берегу парома
И обсуждают сельские дела.
Мне переправа не была б знакома,
Когда б она здесь рядом не жила.*

– Вы понимаете, какие чувства, какая светлая грусть?! – закончил профессор.

– Хорошие стишки, – согласился взятый за душу истопник. Но, стяхнув с себя «светлую грусть», добавил: – Но у наших студентов, Леонид Иванович, не хуже, а то и покладнее будет. И про баб, и про войну...

Кочегар осёкся, встретившись с усталыми, немного досадливыми глазами профессора. Оба молча смотрели друг на друга.

– Ты зачем животное задрал, Капитоныч? – напрямую спросил Тимофеев. – Мне же его из рук в руки сам Рабиндранат Тагор подарил, великий гуманист и мыслитель. Помню, он говорил, что это – символ мудрости, изящества, красоты. А ты взял и задрал... Как живодёр, – добавил с укором. – Ну, понимаю, время тяжёлое, разруха, каждый старается что-нибудь достать, подкалымить, что называется. Но нельзя же так!

– Помилуй, Леонид Иванович, – сконфузился истопник, – я же не знал, как говорится, что это ваша скотина.

– Капитоныч, – с обидой сказал профессор, – это не скотина, как вы изволите выражаться, а великий подарок от великого человека.

– Так я ж не для себя старался, – продолжал оправдываться старик.

– А для кого же? Для этого хлыща, чтоб он охмурил очередную поэтесску? – И профессор назвал фамилию Александра.

– Ну, этот тут ни при чём! – возразил заступнически Капитоныч. – Ему одна только шкурка досталась. А мясо всё ребята съели.

– Как, ещё и съели?!

– Съели, Леонид Иванович, за милую душу умяли, – смеясь, махнул рукой истопник. – Правда, мясо, говорят, жестковатое, но так у них зубы ж молодые, только треск за ушами стоял, хе-хе-хе, – осторожно засмеялся Капитоныч. И подытожил: – Хорошие ребята, я таких люблю. И стишки у них хорошие.

– Это... какие такие ребята? – с явным изумлением выговорил профессор.

Истопник ещё более насторожился.

– Да эти, – стал опять оправдываться, – фронтовики. Встретились, понятное дело, обрадовались – что ты, такую войну пережить! Ну,

зашли ко мне: «Капитоныч, у тебя чё-нибудь закусить найдётся?» А я гляжу, у них целая фляжка спирту. Думаю, голодные, спьянятся, натворят ещё чё не надо. Чем бы, думаю, накормить их? Тут гляжу: лежит этот на лежанке, растянулся и в ус не дуёт... Ишь ты, повадился! Придёт, развалится и лежит день-деньской – то ли старый, то ли лодырь несусветный. Я иной раз сам хочу на лежанку прилечь, и так, и эдак – никак не столкнёшь паразита, пока рукавицами не огреешь. Ну вот, а ребята, гляжу, голодные. Я этак прикинул на глазок: фунтов шесть-семь чистого мяса. Ну, думаю, возьму грех на душу, скажу, что зайчатина... Уплели за милую душу! Сам я, правда, не попробовал, побрезговал: одно дело – знать, а другое – не знавши. Разница... – сдержанно засмеялся истопник.

Жалкая улыбка выдавилась и на лице профессора.

– Разница! – подтвердил он. И тоже засмеялся. Потом засмеялся громче, ещё громче и наконец расхохотался, повторяя одно и то же: – Разница, ну и разница!

Отсмеявшись, расстегнул портфель, положил туда муфточку, а оттуда вытащил бутылку коньяка и шпроты. Улыбаясь, опять повторил:

– Разница, ай да разница! Ну, давай, Капитоныч, помянем старика Хинди. Мне ведь его Рабиндранат Тагор совсем котёнком подарил. Умный был кот, философского склада ума. – И, усмехнувшись, процитировал из «индийского Льва Толстого»: – «Упьюсь, и пусть всё идёт прахом! Ибо я знаю, что вершина всей мудрости – чтобы упиться».

На что Капитоныч, обтерев рукавицей гранёные стаканы, резонно возразил, что лично он не сторонник того, чтобы упиваться, а вот выпить, конечно, не грех.

И выпили. Сразу как-то захмелевший, профессор возгорелся назидательно – дабы впредь будет помнить – просветить Капитоныча, что в Древнем Египте, например, кошка была наисвященнейшим животным, вроде нашего голубя, символизирующего Святой Дух.

– Ишь ты! – заметил Капитоныч. – А наши кошки голубей за милую душу душат, з-заразы!

Своё назидание профессор дополнил цитатой, якобы выбитой на одной из гробниц египетского царя: «Ты – великий кот, мститель богов» – и присовокупил, что даже случайное нанесение ущерба кому-либо из кошачьего племени в то время жесточайше каралось. Капитоныч намёк понял и заверил, что если бы он знал это раньше, что кот Леонида Иваныча такой знатный, он бы, конечно, уж что-нибудь другое из закуски сообразил молодым поэтам, а такой хлюст, как Сашка, свою зазную и без муфточки, небось, уломает. И, кстати, рассказал профессору, как кот Хинди оказался на ручках студентки Гофф в виде муфточки.

Выяснилось следующее.

Когда поэты-фронтовики, сытые и хмельные, вышли из кочегарки, в это же время на смену им заявился Александр – погреться, покурить, стишки почитать. Пожалился, что никак не окрутит одну понравившуюся ему студенточку – ну ни в какую! «Не горюй, – ободрил его Капитоныч, – с бабами надо проще, как кот с мышками: проголодал-

ся, подкараулил – цап-царап – и опять на лежанку. А промахнулся, жди – другая объявится». Он, Капитоныч, сам в молодости не промах был в этом деле: «О, скоко их перещёлкал! – И согнутой фалангой прокопчённого пальца сладко расправил сивые усы. – Ты подари ей чего-нибудь, – посоветовал поэту, – девки это любят». Заодно угостил тоже голодного Александра оставшимся кусочком кошатины, который утаил от давешней трапезы, чтобы подкормить бродячего пса Ганса, на ночь обыкновенно заглядывающего в кочегарку переночевать. Кошатину, разумеется, выдал за зайчатину. «Вкусно, но жестковато, – также заметил печальный поэт. А приметив висевшую на гвоздике шкурку, спросил Капитоныча: – Это и есть заяц?» «Он самый», – нимало не мигнув, ответил истопник. Поэт взял шкурку, повертел в руках, погладил немного вылинявший мех и вдруг попросил Капитоныча сшить из неё муфточку. «Для подарка, что ли?» – догадался Капитоныч и согласился: – Святое дело, как же! И велел приходиться через сутки: он шкурку выделает, а сшить – плёвое дело. Только суровые нитки пусть принесёт – с нитками напряжёнка. Разумеется, слово сдержал: выдубил, сшил – всё чин-чинарём. А то!

Вот таким Макаром муфточка из кота Хинди, подаренного некогда великим индийским поэтом профессору Тимофееву, оказалась на ручках Инны Гофф, впоследствии написавшей замечательно-песенные стихи:

*Поле, русское поле...
Светит луна или падает снег,
Счастьем и болью связан с тобою.
Нет, не забыть тебя сердцу вовек!*

Шагая домой, пьяненький профессор мысленно спорил с поэтом и философом Рабиндранатом Тагором на предмет, что такое национальный характер, в чём его особенность, в чём уникальность?

– Нет, брат Тагор, – говорил важно и рассудительно профессор Тимофеев, – что для Востока красота, то для России закуска под водочку, а то и под чистый спиртик. – И смеялся, приговаривая: – Разница? То-то и есть, что разница: один любит, а другой только дразнится. Нет, братцы мои, мы – не Запад. Однако и не Восток. Мы – Россия!



**Олег
ДМИТРИЕВ**

ОДНОСТИШИЯ

Уходят годы чаще по-английски...

То, что не знал Сократ, узнать непросто...

Счастливые часов не набирают...

Ученье – свет, но где же выключатель?..

Один большой есть минус у зимы...

Синоптики дают погоде шанс...

Плохой погоды нет, и нет хорошей...

Опять начальство думает о нас...

В обход закона строят кольцевую...

-
- Олег Юрьевич Дмитриев родился в 1962 году в Саратове. Окончил математический факультет СГУ им. Н.Г. Чернышевского. В настоящее время – преподаватель кафедры дифференциальных уравнений и прикладной математики в СГУ. Член республиканской комиссии по проведению математических олимпиад. Автор восьми поэтических книг, три из которых – сборники одностиший.

Пришёл, чтобы отсутствовать с другими...

Он думал: горе от ума, – но ошибался...

Без крыс у корабля плохая карма...

А в книге что-то есть кроме названья...

Хотел узнать, а вы не изменились...

Я вам не сейф, чтобы скрывать секреты...

Без флешки я без памяти от вас...

И не мечтай, а то поэтом станешь...

Не сплю ночей я – Музу отгоняю...

Могу короче, но хочу красивей...

Я передумал с мыслями встречаться...

Приятно приходить, коль не все дома...

Всё опустело, даже голова...

Я так устал, что трудно дышать...

В пустом мозгу слышнее бег идеи...

Свет звёзд остался нами не оплачен...

Подумать самому – большая роскошь...

Жизнь как театр – места все продаются...

Величие – для гномов недостаток...

Без ям дорога выглядит дороже...

Который час бреду я вдоль строки...

Нам недоступна совесть по тарифу...

Нас выбрало ЕГЭ своей жертвой...

Мысль повернуть не может без извилин...

Я Вам пишу, меня Вы почитайте...

До ЗАГСА с Вами я не дотяну...

А Ваш пробег на Вас не отразился...

Я Вам пишу, а остальным – читаю...

О Вас я не успел подумать нежно...

Пока до Вас дойдёт, я к Вам подъеду...

Как одиноко с Вами на планете...

Чтоб начхать на всех, нужно здоровье...

Какое счастье, я ему не верю...

Всего на свете незаметней счастье...

Я счастье видел только уходящим...

Задумайся хоть раз, а там привыкнешь...

Когда не пишешь, можно даже думать...

Я был сачком, и счастье упорхнуло...

Хороший ход зовут с почтением: «Выход»...

Оценкам часто место не в журнале...

Как можно думать, если Вы – поэт...

Мир сжался до размеров Интернета...



Михаил
МУЛЛИН

«СЛОВА И МЫСЛЬ ЗДЕСЬ ВСТРЕТИЛИСЬ УДАЧНО», или ЕДИНОСТИШИЯ ОЛЕГА ДМИТРИЕВА

В Челябинске одна за другой вышли три книги саратовца Олега Дмитриева. Все они являются сборниками одностиший, или еднoстиший, как их называет сам автор. Сами же книги называются: «Еднoстишия первого набора», «Еднoстишия второго набора» и «Еднoстишия третьего набора». «Набор» здесь, прежде всего, представляет собой компьютерный термин, когда тексты, в отличие от машинописи, не печатаются, а именно набираются. Впрочем, при желании тут можно усмотреть и другой смысл: набор – как некий отбор (лучшего из имеющегося) или призыв новобранцев в армию, как у Маяковского: «страниц моих войска» и «прохожу по строчечному фронту».

«Армия» Олега Дмитриева, между прочим, не агрессивна. Воюет разве что с глупостью, бескультурьем и (очень часто) с разрушением системы образования в России.

Многие саратовцы, участвующие в литературной жизни области, знают Олега Юрьевича как бывшего активного члена литобъединения «Молодые голоса». Прежде этот профессиональный математик и педагог (работает на кафедре дифференциальных уравнений и прикладной математики СГУ) писал лирические стихи. Возможно, математика подвигла поэта к лаконизму, напоминающему формулы. Что, впрочем, не мешает О. Дмитриеву быть ироничным, «юморить». Но шутки его – больше чем шутки, то есть это не зубоскальство, а скорее, философские откровения.

Первая из трёх книг отличается от других меньшим форматом. Все три сборника оформлены со вкусом: «лён», приятный и удобный для глаз шрифт крупного кегля, стилизованные виньетки, остроумные иллюстрации на переплётах и шмуцтитулах.

Сам факт издания Дмитриева уже и тем хорош, что приятно «разрушает» «монопо-

лию» В. Вишневского, который (его лишь и издавали до сих пор) считался единственным автором, работающим в обозначенном жанре. Некоторые читатели необоснованно считают Вишневского заодно и создателем-основоположником одностиший, по неосведомлённости отказывая в законном праве на это В. Брюсову.

В книгах Дмитриева много парадоксального. И если уж мы соглашаемся с тем, что «гений – парадоксов друг», то, видимо, должны согласиться с тем, что наличие парадоксов должно говорить о наличии у автора... как минимум таланта. Хотя талант Олега Дмитриева виден и невооружённым глазом, даже и без привлечения авторитета А. С. Пушкина.

Во-первых, следует признать, что в наблюдательности Дмитриеву не откажешь. Удивительно, но до него никто по весне не увидел на улицах Саратова «афроснега»! А приглядитесь теперь – непременно увидите!

А уж «тему образования» он тем более знает и способен исчерпывающе оценить:

Тираж ЕГЭ весь снова раскупили...

и

Работает вся школа на три буквы...

Если не успели сразу понять, поясню: не спешите по-своему (как общепринято) трактовать это самое «на три буквы». Олег Дмитриев имел в виду вовсе не мат, а как раз ЕГЭ! Впрочем, как кажется, вполне равные тем буквам, о которых вы, возможно, и подумали! В афоризмах (а еднoстишия Олега Юрьевича можно и так назвать) смыслы множественны!

Пожалуй, приведу ещё одну оценку, данную Дмитриевым нашему теперешнему образованию:

Остались от уроков лишь оценки...

Да, хоть и смешно, но плакать хочется!
А вот о положении современного учителя (а может быть, и не только учителя):

Один за всех готов забрать зарплату...

Есть единостишия и о братьях-писателях:

Кто ходит гоголем, а кто-то только пишет...

Сколько иронии здесь в словах «только пишет...» (!)

Вот и знаменитый ленинский призыв усовершенствован:

Учиться трижды надо ежедневно...

Многообещающе и «страшновато» звучит следующее единостишие:

Сошлись мы с Музой на одной строке...

Есть у Дмитриева и «теоретическое обоснование» создания единостиший:

Стихи себе не ищут лишних строк...

И ещё:

Чем меньше строк, тем меньше конкурентов...

Не менее многозначно звучит:

Слова бы подобрать, да лень нагнуть-ся...

А чем не любовная лирика, скажем, это:

Я переформатирован не Вами...

(При желании, конечно, эту строчку-стихотворение можно трактовать и по-другому.)

О теперешнем дне, так сказать, деталь «о времени и о себе»:

В клавиатуру затянуло пальцы...

И ведь это звучит... трагически. Хотя, опять-таки у другого человека возможно иное прочтение. Но вот единостишие почти сократовское:

Чтоб не понять, немало надо знаний...

Не может не восхитить смешной совет:

Задумайтесь хоть раз, но только сами...

И вполне насторожит, возможно, заставит кого-то вздрогнуть:

Нефть — кровь земли, клопы на ней — машины...

А чем это не исчерпывающая характеристика героя?

Всё тайно поделил на единицу...

Кстати, узнаёте тут взгляд математика?

При чтении иногда сомневаешься: чего больше — весёлого смеха или философского трагизма — в таких единостишиях О. Дмитриева, как «Жизнь как учебник — все ответы сзади...», «Закон и дождь прошли, но не впитались...», «Я думаю, а это бессимптомно...», «Сел на диету поглощенья знаний...», «ЕГЭ — диагноз, а не процедура...», «Портфолио сложнее, чем икебана...», «Реши сначала, стоит ли решать...», «Ученье — свет, но лишь в конце тоннеля...», «Учитель в школе — это не к добру...»

Насколько могут захватить единостишия их автора? Вот признания Дмитриева: «Когда пишу, дышать не успеваю...»

А о ёмкости, точнее, о смысловой и образной наполненности их можно судить по такому единостишию: «Мне словаря на полстроки хватает...» или «Стихи без строк всего труднее править...», «Горит свечой бенгальской одностишьё...» С другой стороны, о невероятной трудности сочинения единостиший (и, видимо, стихов вообще) сказано: «Берёт строка начало, наконец...»

Один «минус» у сборников Олега Дмитриева — они не для всех! Чтобы понять и оценить многие из его единостиший, надо много знать, уметь воспринимать прочитанное сразу во всех слоях. Ассоциативные отсылки поэта требуют от читателя культуры мышления и умения «переключаться». Например, строка «Пришёл, а побеждать кого, не вижу...» требует знания исторических фактов и как минимум текста письма Юлия Цезаря сенату Рима. Без этого чтение будет «пустою забавою», как бросание камешков в воду без рассматривания кругов, ими образуемых. По сути, этим единостишием автор как бы вступает в диалог с древним полководцем. И «профан» может оказаться в этом разговоре третьим лишним. Отметим: не по вине Дмитриева!

С другой стороны, можно сказать, что книги О. Дмитриева рассчитаны на литературных гурманов. И уж точно (с учётом дозировки «блюдов») не на обжор.

Такое единостишие-афоризм, как «Из грязи в князи и метла стремится...», вполне могло бы войти в сочинения Козьмы Прутова или книгу Эмиля Кроткого.

Но всё-таки, если отвлечься от юмора, подтекста, краткости, насколько это стихи? Сами судите по строчкам: «Опять с небес летят чистовики...», «С утра машину путаю с сугробом...», «Метель себя в сугробах не узнала...», «От холода перчатки жмутся к пальцам...» И уж это ли не любовная лирика: «Любой мой вздох считайте поздравленьем...»? Или «С законом притяжения Вы в доле...»!

Ещё примеры? Да сколько угодно! Не замечательное ли описание весны: «Вода устала притворяться снегом...»? А вот «противоположное» состояние природы: «Весна нашла на солнце выключатель...»

А тем, у кого-то всё-таки остались сомнения – а стихи ли это? – предложу провести мысленный эксперимент... Допустим, на обрывке бумажного листка вы прочитали: «Метель себя в сугробах не узнала...» Вы же, несомненно, сразу решите, что это хорошая строка из какого-то стихотворения. И у большинства читателей «с намётанным глазом» появ-

вится желание отыскать это стихотворение целиком, так как «заявка» строкой сделана многообещающая. Вы ждёте продолжения, авторского развития образа, картины, чувства. Но тут вам говорят, что продолжения не будет: этим стихотворение начинается и сразу заканчивается. И тогда... вы невольно сами мысленно продолжите «развивать» образ! То есть получается, что «хитрый» автор спровоцировал вас на со-творчество! И тогда... не есть ли это самый замечательный результат написания единостишия?! Ведь «недоговорённость» в поэзии всегда говорит больше, чем «абсолютная ясность» (вспомним В. Маяковского: «Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп...»)

Но одной поэзии для одностишия (у автора имеется и такое определение), по мнению Дмитриева, мало... Нужно ещё обострённое чувство долга. Что и демонстрируется: «Как Дед Мороз, я должен всем на свете...» А ещё требуется непременно понять и довести до читателя важнейшую мысль, что «Добро – не отрицательное зло...»

А подвести итог соображениям от прочтения книг Олега Дмитриева можно его же единостишем: «Слова и мысль здесь встретились удачно...» А может быть (ещё лучше), другим: «Читайте, это Вам не повредит...»

И вы, возможно почувствуете, что «От одностишия Вам не одиноко...»



**Владимир
ВАРДУГИН**

ИСКРА СВЕТА САРАТОВСКОГО БРАТА ИЗ ПОЛТАВЫ

«Мы слышали, что в Саратове учреждается «Общество трезвости и улучшенной жизни». Инициатор учреждения этого «Общества» – один из известных местных филантропов», – извещал своих читателей «Саратовский дневник» 19 марта 1894 года. Газета, отличающаяся дотошностью, – и вдруг не упоминает самого главного: кто же затеял это благое дело? Причину такой «стеснительности» понял, когда узнал имя основателя «Общества трезвой и улучшенной жизни» (именно так оно официально называлось) – Прокопий Адрианович Устимович.

Всезнающая «Википедия» представляет современному читателю П. А. Устимовича так: «Прокопий Адрианович Устимович (1.12.1838–3.7.1899, Курск) – действительный статский советник, почётный гражданин Курска. Выходец из малороссийских дворян, имевших владения в Полтавской, Ярославской и Курской губерниях, сын курского губернатора А. П. Устимовича. Окончил училище правоведения (1860). Будучи товарищем председателя Одесского

-
- Владимир Ильич Вардугин родился в 1955 году в Энгельсе. Окончил редакторско-издательский факультет Московского полиграфического института. В 1985–1991 годах – редактор отдела прозы и отдела публицистики журнала «Волга». В 1990-х годах работал ответственным секретарём журнала «Волга», редактором отдела публицистики, затем главным редактором Приволжского книжного издательства (1997–2005), издательства «Надежда» (1991–1998). Стоял у истоков газет «Православная вера» (1993 год, в 1994–1996 годах – ответственный секретарь газеты), «Вопреки» (1994 год), «Малиновый родник» (2001 год). С 2004 года по настоящее время (с перерывом в 2007 году) возглавляет отдел публицистики журнала «Волга–XXI век». Член Союза писателей России с 2005 года. Автор документальных краеведческих книг «Тайна огня», «Легенды и жизнь Лидии Руслановой», «Два Ивана», «Русская одежда», «Саратовская азбука», «Знай наших!», «Во благо народного здоровья», «Ты меня уважаешь?», «Радист космической «Зари», «Конструкторы сигналов» и других. В настоящее время работает редактором газеты «Вопреки».

окружного суда, был избран 7 января 1871 года на должность первого всесословного головы г. Курска сроком на четыре года (право на участие в баллотировке получил от матери – курской домовладелицы Н. Г. Устимович) (...) Под псевдонимом Полтавин писал и публиковал стихи патриотического характера. Был полтавским губернским предводителем дворянства. После отставки уехал в Саратов, где издавал журнал «Братская помощь», некоторое время жил в Вильно, был членом Виленской судебной палаты и лишь на старости лет возвратился в Курск, где и умер».

Не уточнила «Википедия», что «Братская помощь» – журнал монархической направленности, а «Саратовский дневник», как и большинство газет того времени, грешил либерализмом, вот и не стали журналисты рекламировать своего идейного противника.

Зато сам Прокопий Адрианович рассказал о себе на страницах «Братской помощи». Нет, он не публиковал хвалебных статей «о себе, любимом» (хотя сделал немало добрых дел), просто пришлось к слову, когда откликнулся в своих заметках на события городской жизни. Так, уже в первом номере своего журнала (вышел в свет 15 июля 1888 года) редактор поместил своё заявление в Саратовскую городскую думу от 30 мая того же года, в котором он, рассуждая о том, что городское самоуправление устраивает в городском театре гастроли столичных актёров, говорил: «...следовало бы установить известный сбор с цены билетов, оплачиваемых публикой в собраниях для общественных удовольствий». Своё право обращаться к властям с подобными предложениями заявитель мотивировал тем, что он, «будучи уже два года жителем Саратова и в качестве местного потребителя принося и свою лепту в пользу города», убеждён, что «весьма естественно и нормально должна бы казаться мысль, что, в то время как за деньги более или менее значительные одни пользуются общественными удовольствиями при содействии городского управления, другие, при том же содействии, должны бы как можно меньше бедствовать от разных существенных лишений и, в особенности, от невозможности лечиться по неимению средств или по неимению места в больнице».

Конечно же, его предложение власть имущие не приняли. Вероятно, он был неудобен своим юношеским максимализмом (хотя в ту пору приближался к своему 50-летию), требуя от окружающих, чтобы они стремились жить по евангельским заповедям, не забывая делиться с бедными от своего достатка. Причём напоминал о том долге христианина не только со страниц журнала, но и в частных беседах, и за праздничным столом, и даже в... торжественной кантате, посвящённой 300-летию Саратова, положенной на музыку Экснера, будущего основателя Саратовской консерватории:

*Город бойкий и красивый,
Мир приветный для гостей,
Город, храмами счастливый, –
Вот Саратов наших дней!..
Вширь раскинут он и в горы;*

*Много, много бедных в нём,
Но смягчает бедных горе
Не один богатый дом.*

Кто-то откликался, посылал для страждущих рубль или два-три рубля, иные же искренне не понимали, для чего столь важный господин самолично ходит по лачугам, выискивает остро нуждающихся в помощи и публикует их адреса с призывом пойти и помочь страждущим.

Когда ещё не издавал журнала, осаждал редакции газет, публикуя платные объявления с той же целью: помочь попавшим в тиски нищеты. В первом номере «Братской помощи» рассказал о нужде потерявшего работу Василия Ивановича Р* («важно заметить, что Р* к числу пьяниц не принадлежит»), отца шестерых детей мал мала меньше, у которого «даже самовара, единственного друга бедных, и того нет». После публикации в журнале откликнулся священник (имени не названо), купил самовар, дал денег, а главное – пристроил старшего сына в заработный дом для обучения ремеслу.

В своей благотворительности Устимович придерживался правила: не корми нищего рыбой, а дай ему удочку, если нуждающийся в помощи не инвалид, не калека, неспособный к труду. Ещё в первом выпуске журнала начертал своеобразную программу благотворительности: «Лицам, просящим на улице, не подавайте денег. Предложите нищему хлеб, если он голоден. Помогите ему одеждой, если он полунаг, особенно в холодное время. Сведите его к доктору или в лечебницу, если он болен, или купите ему лекарство. Но если вы желаете дать бедняку деньги, не поленитесь посетить его в доме его и, удостоверившись в его нуждах, помогите ему и деньгами, насколько можете, а если бедняк здоров – постарайтесь приискать ему работу».

Прокопий Адрианович даже спорил со всероссийским пастырем Иоанном Кронштадтским, в беседе с протоиереем высказав «решительное несогласие с ним в том, что нужно давать милостыню всем нищим на улице, за исключением пьяных», объясняя свою позицию тем, что он «враг слепой милостыни, столь потворствующей тунеядству, обману и пьянству и отвлекающей пожертвования от истинных бедняков и скрытых страдальцев». Устимович выступал за, как бы сейчас сказали, «адресную помощь». Сам он или же кто-то из его благотворительной конторы непременно посещал претендентов на материальную помощь, и на месте решали, как и чем помочь. Случалось, что и отказывали, даже в журнале рассказывали о случаях, когда земляки пытались пожить за счёт генерала (чин действительного статского советника в гражданской табели о рангах приравнивался к генеральскому званию). В 1891 году посланный к просителю Василию Ларионову (который, не обременённый болезнями, жил в собственном доме с бездетною супругою) сообщил, что тому не хватает денег... на табак. Прямо как в известной песне: «У них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает»).

С первого года издания «Братской помощи» публиковал Прокопий Адрианович статьи о том, как борются с пьянством в Амери-

ке, в Европе, сетовал, что у нас в России нет, по примеру Запада, лечебниц для алкоголиков. В 1892–1893 годах не пожалел страниц для публикации пространных уставов обществ трезвости, начинавших возникать и в нашей стране: в Курской области, в Казани, в Санкт-Петербурге. Видимо, надеялся, что найдутся и в Саратове люди, кои взвалют на себя груз спасения погибающих пьяниц. Не дождался. А потому сам создал общество трезвости, обобщив и дополнив опыт предшественников. «Саратовский дневник» 19 марта 1894 года сообщал: «Цель «Общества» – борьба против пьянства, азартных игр (орлянка, карты, кости и проч.); искоренение курения табака, сквернословия, грубого обращения с детьми и животными, а также борьба против роскоши, ношения драгоценных вещей, фальсификации съестных продуктов, уличной подачи милостыни, участия в общественных и частных дорогих пиршествах и празднествах, против праздничной торговли, почему члены Общества обязываются в воскресные и праздничные дни не покупать ничего в магазинах (кроме необходимых съестных продуктов)». Как видим, фронт работ предстоял немалый, а первоначально увлék за собой Устимович всего двадцать девять человек.

Постепенно ряды трезвенников росли. «Покорнейше прошу вас принять меня в члены этого трезвого общества, – обращался к Устимовичу «мастеровой колокольной М. И.» – Я имею желание, насколько можно по своей силе возможности и способности послужить во имя блага отечества безвозмездно, членский взнос я прилагаю на будущий, 1896 год три рубля, в действительные члены, а если нужно о личности моей удостоверения, то это я могу доставить, а сейчас я должен вам сказать не в похвальбу, что я от дней моего рождения к обществу трезвости принадлежу и по силе возможности ратоборствую против пьянства. Дай Бог, чтобы члены этого общества не на словах, а на самом деле друг друга тяготы носили и тем бы исполняли закон Христов».

А это – очень и очень непросто. Заявление мастерового пришло как раз в тот момент, когда в Обществе трезвой и улучшенной жизни произошёл раскол, о чём и поведал Прокопий Адрианович в 137-м номере «Братской помощи», отвечая мастеровому М. И.: «Деньги переданы по назначению, но я уже с начала декабря не состою председателем общества и его правления. По недосугу вследствие службы своей (был членом судебной палаты в отделе гражданских дел. – В. В.) и по слабости здоровья я вынужден был отказаться, а кроме того, вижу и знаю, что общество, мною основанное и Вас интересующее, слишком идеальное для населения Саратова и вряд ли достойно существовать может. Не по Сеньке шапка. Обыкновенное общество трезвости по образцу многих было бы более, может быть, подходяще для саратовцев. Отчёт наш за первый год (в приложении к № 136, лепта 4-я) более ознакомит Вас с моим взглядом, разделяемым и членами правления, из онаго выбывшими, как и я».

Слишком высокую планку установил Устимович для своих единомышленников. В то время как другие общества трезвости ставили своей целью «противодействовать чрезмерному потреблению крепких

напитков» (Санкт-Петербургское) или же «противодействовать употреблению спиртных напитков среди населения» (Казанское), саратовские трезвенники призывались основателем Общества трезвой и улучшенной жизни, кроме абсолютной трезвости, подавать пример и в других добродетелях. Прокопий Адрианович не играл в карты, а если ему их дарили по неведению о его убеждениях («Карточная игра – явное обнаружение умственного банкротства. Не будучи в состоянии обмениваться мыслями, люди перебрасываются картами», – А. Шопенгауэр), он приспособлял их под... визитные карточки.

Любовь его к ближнему распространялась не только на людей, но и на братьев наших меньших. В декабре 1891 года именно Прокопий Адрианович учредил Саратовское отделение Российского общества покровительства животным, объединив три десятка учредителей, в том числе дюжину ветеринаров, привлёк к работе и епископов, православного и католического, избрав девизом общества слова: «Блажен, иже и скоты милует».

Человек должен миловать и скотов, а главное – стремиться самому не скатываться к скотскому положению, жить высокой духовной жизнью. А что есть духовная жизнь, у Прокопия Адриановича имелось своё мнение, отличное от общепринятого. В то время как и просто народе, и господа тешили свою гордыню, празднуя именины, Устимович не устал повторять: «Именины обратились у нас в какой-то языческий праздник, больше есть, больше предлогом для того, чтобы больше выпить вина, больше есть, больше хохотать и суетиться на все лады». Что же делать? Он рекомендовал «православным хотя бы во имя чтимого Святого своего ознаменовать празднество именин добрым делом в утешение хотя одной семьи беспомощной или одного очень нуждающегося и страждущего человека».

Конечно же, своими настойчивыми напоминаниями о христианском долге он нажил себе врагов. Даже в той среде, откуда и не ожидал подвоха: священник Алексей Матюшинский обвинил его в... сектантстве на том основании, что «Братская помощь» носила межконфессиональный характер. Рядом с православными авторами соседствовали представители баптистов: Е. В. Кирхнер, В. Г. Павлов, М. А. Сторожев, И. А. Голяев, евангельский христианин М. Штейнбрехер, толстовец И. Файнерман. С течением лет рядом с названием журнала – «Братская помощь» появлялись дублирующие – на английском, немецком, еврейском языках: Устимович звал к всемирному братанию, как и положено истинному христианину. А о том, что священник А. Матюшинский ошибался, причислив Устимовича к лютеранам, говорит тот факт, что первым на призыв Прокопия Адриановича поддержать журнал откликнулся епископ саратовский и царицынский пресвященный Павел, благословив издание «Братской помощи» и внеся сто рублей для почина благотворительности бедным.

С непониманием альтруизма сталкивался не только наш саратовский Дон Кихот, но и его товарищи. Так, его соученик по училищу правоведения Алексей Васильевич Белостоцкий, возглавив Санкт-Петербургское общество трезвости, вынужден был сложить с себя полномочия «по поводу неприятностей, созданных одним должност-

ным лицом, который будто бы служит не столько обществу, от которого получает разъездные, сколько трактирщикам, – горевал о товарище Устимович и восклицал: – Беда, что такие лица успевают ещё партию подобрать себе. И это в Петербурге?! Не может быть!»

В горестях и печалях поддерживала его супруга Софья Александровна, одна из восьми директрис Дамского отделения Губернского правления попечительства о тюрьмах (возглавляла комитет попечительства жена губернатора). Жили Устимовичи в доме Недоноскова, на углу улиц Малой Сергиевской и Александровской (ныне ул. Горького и ул. Мичурина), а на противоположном углу располагалась редакция журнала «Братская помощь», в доме Шомбурга. На страницах журнала упоминается их дочь, проживавшая в столице.

Устимовичи покинули Саратов, вероятно, в 1896 году, уехав в Вильно. Обида на наш город возникла ещё и из-за предательства некоторых наших земляков, что видно из серии публикаций в газете «Саратовский листок» в ноябре 1895 года: имя Устимовича попало в... криминальную хронику. «Действительный статский советник П. А. Устимович, уезжая из города, – сообщала газета 1 ноября, – всё ценное имущество сложил в одной из лавок старого гостиного двора. 30 октября, отперев лавку, г. Устимович обнаружил пропажу двух ротонд, стоящих 1000 рублей. Что украдено из мелких ценных вещей и на какую сумму – пока ещё не приведено в ясность. Лавка, как полагают, открыта была подобранными ключами. Замок – без повреждений».

Любящий точность, Прокопий Адрианович вынужден был в номере от 3 ноября дать своё видение происшествия: «30 октября я послал дворецкого своего и столяра открыть сарай, ключ от которого находился на хранении у страхового агента г. Гана (ибо вещи застрахованы). Ключ не пришёлся к всяческому замку гостинодворского купеческого амбара, словно замок чужой». Так и оказалось: «родной» замок лежал на комодe в сарае. «При амбарах купеческих – три сторожа, а ночью, говорят, и злые собаки. Я вполне доверился ответственному хозяину и сдатчику амбаров», – объяснял выбор способа хранения ценных вещей Прокопий Адрианович.

«Я не я, и лошадь не моя», – так можно перевести тот лепет, который в своё оправдание привёл купеческий староста Л. Лебедев в газете от 5 ноября: «Никакой ответственности за сдаваемые помещения, принадлежащие обществам, не брал и не беру, и общества нигде, ни в каких сдаваемых ими помещениях своих караулов не имеют; все караулы остаются на обязанности самих арендаторов и съёмщиков лавок, о чём и был извещён г. Снежинский при съёме лавки».

Вся вина, таким образом, падала на стряпчего, и господин Снежинский 9 ноября поспешил откреститься от неё, рассказав, как он поверил помощнику старосты г. Македонову, сообщившему, что «амбар сторожил человек от купеческого общества» и что «наниматель может быть покоен».

12 ноября вроде бы случилась разрядка напряжённости: «Нас просят напечатать, – извещала газета, – что «пропавшие» вещи г. Устимовича все нашлись у него дома, уложенные в ящике; как оказалось,

они не были сданы на хранение». И это объявление – третье подряд предательство, теперь уже редакции газеты, ибо 14 ноября по просьбе Прокопия Адриановича напечатано существенное уточнение: вещи всё же пропали: «Устимович просит нас заявить, что, хотя две меховые ротонды действительно оказались непохищенными (были спрятаны в отдельном ящике), но всё же украдено много вещей, ценность которых владельцем их определена в триста рублей».

Полагаю, не столько пропажа, сколько поведение причастных к ней лиц огорчило Прокопия Адриановича. Саратов обеднел на одного равнодушного гражданина, подписывавшего свои стихотворные произведения псевдонимом Полтавин (в память отца-полтавчанина и своего полтавского хутора Ветхаловка, близ города Гадяч, куда Устимович уезжал на лето), а прозаические публикации – словом «Брат».

Умер Прокопий Адрианович в 1899 году, немного не дожив до открытия в Саратове лечебницы для алкоголиков, о которой так ратовал, но успев порадоваться за трезвенников, обзаведшихся собственным театром и просвещавших народ в многочисленных чайных-читальнях. Всё-таки высоко поднятая им планка при учреждении Общества трезвой и улучшенной жизни сыграла свою роль по принципу «хочешь достичь многого – требуй невозможного». И его соратники вкупе с трезвенниками всей России добились не только многого, но и невозможного: в 1914 году Россия отрезвела. Нам пример, нам укор и тот рубеж, к которому нужно стремиться.

*Кто шёл средь множества путей
Путём труднейшим – человека,
Тому, кто твёрд на сем пути,
Дай Бог вперёд, вперёд идти, –*

подводил итоги прожитого в день своего пятидесятилетия Прокопий Адрианович, а на каменных гранях его памятника на могиле (похоронен он на Всехсвятском кладбище Курска) земляки высекли строки его стихов:

*Пока кто жив,
Пусть тот живёт
Свободной жизнью без запрета.
Но пусть он Родине несёт
Не пыль с дорог,
А искру света.*



**Николай
СЕМЁНОВ**

НАД ВОЛГОЙ

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА САФРОНОВЫХ

В 1552 году Иван Грозный взял Казань, а в 1556 году к Москве было присоединено и Астраханское ханство. Берега Волги открылись для постепенного заселения русскими людьми. Спервоначала то были люди беглые, вольные. Позже для охраны великого волжского торгового пути пришли сюда казаки и государевы служилые люди – стрельцы. В то время главным богатством края была красная рыба и получаемая из неё чёрная икра и балыки. Уловистые места на Волге стали занимать купецкими и вольными рыболовецкими ватагами.

Примерно с 1785 года начались массовое пожалование здешних земель аристократам-сановникам, чиновникам, офицерам и другим служилым людям, а также переселение в эти места помещичьих, государственных и удельных крестьян. В числе прочих основано было и село Банное в 120 верстах от Саратова и в четырёх верстах от волжского берега. Поселены тут были удельные крестьяне-сходцы, переведённые из земельных владений царской фамилии в Симбирской губернии. Занялись они хлебопашеством и садоводством, да ещё разными местными и отхожими промыслами, для которых простору на Волге было много.

Два широких оврага с текущими по ним речками, Белый Ключ и Пустобанная, вели от села к берегу Волги, где стоял рыбацкий стан – небольшое поселение, попервоначально называемое Ватага. Спустя время здесь, на берегу, основались и промысловые люди: разбивали плоты, пилили доски и продавали их по деревням, столярничали, обжигали здешний меловой камень и получали известь. Появились

-
- Николай Николаевич Семёнов родился в 1930 году в Саратове. Окончил СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Кандидат химических наук. Работал в Саратовском институте стекла. Автор нескольких книг и значительного числа очерков, напечатанных в журналах и газетах. Публиковался в журнале «Волга–XXI век». Живёт в Саратове.

тут и купцы с обширной хлебной и всякой разной торговлей. Бежали вниз по течению расшивы под парусами, на бурлацкой бичеве тянулись вверх расшивы, ладьи и барки. Дел и товаров на главной дороге России было много.

С береговых круч высотой до сорока сажен далеко видны волжские просторы, плёсы вверх и вниз, там, где у конца берегового изгиба угадывается Бугор Стеньки Разина. Глянь против солнца – серебрится река в лучах, играет рябью отражённого света. На луговой стороне свежо и темно зеленеют пойменные леса и покосы, желтеет полоса прибрежного песка.

Величие и простор кругом. Серовато-голубоватые дали, чайки над медлительной водой. Тихие ночные сны большой реки. И рассветы, выплывающие из заволжских степей, золотящие белые меловые развалы на нагорной стороне. Плеснёт рыба на утренней темно-зелёной глади, пустит круги. И снова покой неторопливо просыпающейся жизни. Вот тяжело тронулась от берега расшива, влекомая бурлаками. Еле слышно хрустнул сучок у рыбацкого задремавшего костра, стукнуло о край лодки весло, раздались тихие голоса на лесной пристани. Большой торговый караван показался у верхнего плёса. Волга – такая благодать, такая ширь, и мощь, и красота, что дух захватывает.

И народ, пришедший на эти берега, родившийся ли тут, смотрящий с высоты на волжский простор и дышащий вольным воздухом, был смелый, дельный и оборотистый. Жили не одним своим углом да двором, а смотрели вширь, мерили сметливым взглядом деловую перспективу. Что бы ни произвёл волгарь в своём хозяйстве или своим ремеслом или дело какое завёл – всегда ему были покупатель, наниматель, заказчик и хорошая цена. Волга – она и удобный путь, и работодателяница, и кормилица. А ещё учила она людей смекалить, не спать, смотреть вперёд. И потому настоящие волгари – это люди, истари духом сильные, историей и жизнью закалённые, предприимчивые. И ещё – богатыри они, худосочных среди них нету, веками тут народ подбирался здоровый.

Когда минули многие лета и двинулись по Волге пароходы, стала шириться пшеничная нива и для здешних умолотов открылся быстрый путь к столицам и центру России. Жители села Банное, стеснённые малым наделом земли, к тому же не особенно плодородной, стали переселяться на волжский берег, ставить избы по подножью и скатам трёх прибрежных бугров, а ещё по двум широким лоцинистым оврагам. Благо лучшего места для пароходных пристаней и не сыскать по всей Волге.

Новое поселение назвали деревней Нижней Банновкой, а волостное село Банное стали именовать Верхней Банновкой.

В начале XX века в Нижней Банновке было уже 160 дворов и 800 жителей. На берегу у нижнего края деревни стояли три пристани пароходных обществ «Самолёт», «Кавказ и Меркурий» и «Купеческое пароходство». Повыше них располагалась так называемая хлебная пристань с лабазами, а ещё дальше – несколько лесных пристаней со складами и лесопилка.

В садах Нижней Банновки у каждого домохозяина было не менее 50 деревьев. Деревня была не очень большая, но деятельная, и жизнь в ней кипела. Приставали к берегу пароходы, стояли под погрузкой баржи, сооружались плоты. Туда-сюда бегали пассажиры, грузчики, плотовщики, торговцы, скупщики яблок. Уезжали и приезжали из-за Волги отходники.

КРЕСТЬЯНЕ САФРОНОВЫ

Года эдак, наверное, около 1800-го в удельном волостном селе Банное (Верхней Банновке) родился Панфил Васильевич Сафронов, сословное положение которого и крепостное (удельное) состояние точно неизвестны. Знали только, что в зрелые года (хотя и было тогда крепостное право) имел он в селе хороший дом, а в одной версте за селом, в широком овраге – большой сад на роднике Белый Ключ с чистой и вкусной водой. Родник был мощный, вода в нём была ключом и давала начало речке, которая тоже, как и родник, называлась Белый Ключ, текла по оврагу, через три версты достигала Нижней Банновки и впадала в Волгу.

На этой речке рядом с садом у Панфила Васильевича стояла водяная мельница, а при ней – ещё один дом, баня, амбары, конюшня, хлев и другие хозяйственные постройки – собственной земли три десятины.

Имение своё Панфил Васильевич со временем разделил между сыновьями. Старшему, Трофиму, досталась половина сада с водяной мельницей и всеми постройками, а младший, Прохор, стал владеть домом и своей половиной сада с огородом. Уготовила ему судьба сначала быть солдатом. Прослужил он на царской службе 25 лет. Во время одной из побывок, как видно, женился на девице Татьяне, от которой и родилась у него сначала дочь Мария, а потом, в 1867 году, сын Иван. Открыли, было, они с женой при доме трактирчик, да только сноровки торговой у них не было, и скоро проторговались так, что и дом прожили, стали жить в небольшом домике при саде, работать в огороде. Дочь Марию, высокую, красивую, хотя и поспешно, но счастливо выдали за дьякона сельской церкви.

А сына Ивана после окончания двух классов церковно-приходской школы определили рассыльным в магазин к одному купцу в Камышине.

Он-то и оказался из Сафроновых самым способным и далеко пошёл. Учился у купца торговому делу, стал продавцом, а потом и приказчиком. Служил, как видно, не за страх, а за совесть, постигал купеческую премудрость, был аккуратен и расторопен. Так что когда уходил, то купец не только отдал ему заработанные деньги, но и наградные, подарил хорьковую шубу и каракулевую шапку. К сроку попасть бы Ивану на царскую армейскую службу, да только он в ту пору уже вернулся с капиталами, в Нижней Банновке на берегу Волги арендовал дом у староверов, открыл при нём лавочку и стал именоваться Иваном Прохоровичем.

ИВАН ПРОХОРОВИЧ И ЕГО СЕМЬЯ

Лавочку Иван Прохорович открыл вроде бы бакалейную, а товары в ней держал всякие, начиная от сахара и до керосина.

Дела и вначале и потом шли хорошо, приносили неплохую прибыль. Со временем получил в своё распоряжение немалый и доходный отцовский сад, а родителей взял к себе в дом. Отец Прохор Панфилович умер в 1908 году, а мать прожила до 1915 года.

За нижней окраиной деревни присмотрел Иван Прохорович небольшой овражек, срыл часть его склона и рассадил ещё один сад с хорошими сортами яблонь и груш и поливом от небольшого родничка. Потом купил с плотов избёнку бревенчатую, поставил в саду.

Около того же края деревни были меловые горы, где раньше местные жители жгли известь и возили её на продажу. Рыли в горах ямы, а в них выкладывали из кирпича печи-горны специальной конструкции, по-местному – «горона». Со временем промысел этот заглох, так как более дешёвые известь и мел стали поступать из Жигулей. Однако время прошло, строительство в Саратове, в губернии и за Волгой было большое. Быстро росли Камышин, Саратов и особенно – Царицын. Разведаль Иван Прохорович про эти дела, прикинул всё как следует, порасспросил стариков, потом взял да и возродил известковое производство.

Много выигрывал на ранних сроках поставки. Ещё лёд по реке идёт, а у него уже жгут известь. Стоят у берега дощаники, и женщины в марлевых повязках носят носилками, пересыпают в бочки. Только лёд сошёл – дощаники уже в Саратове. Знал Иван Прохорович сезон для сбыта товара, когда шла кладка домов, ремонт и побелка квартир, и к сроку на берег в Саратове и других местах свой товар поставлял. Известь шла по 20 копеек за пуд.

А там, глядишь, с барышей и главную торговлю свою расширил. В лавке у него появился и красный товар: сукно, ситец, сарпинка, полотно.

Был он оборотист, обдумывал всякую мелочь, выгодные дела и сделки искал и находил, ездил в Саратов, Камышин, Царицын и по всей Волге. Оптом покупал рыбную сушь, яблоки, арбузы, возил в Саратов на своих дощаниках, поставлял перекупщикам с выгодой для себя. Как вернулся Иван Прохорович из Камышина в Нижнюю Банновку двадцати с небольшим лет, как снял дом и завёл собственную торговлю, так сразу и женился. Терять времени было нечего, да и семейное торговое дело получалось лучше. Женился он на Раисе Васильевне, урождённой Ардюковой, из зажиточной сельской, но не крестьянской семьи. Отец её был волостным писарем (почти что начальство) в Верхней Банновке, мать звали Марьей Дмитриевной. Родня Ардюковых была богатой, имела собственные хутора, и Иван Прохорович был для них жених завидный.

В 1891 году родилась у Сафроновых первая дочь, Вера, а вторую в 1893 году назвали Надеждой. В 1895 году метили заиметь Любовь, а родился сын. Тогда только что на российском престоле воцарился Николай II. Вот и решили назвать наследника Никола-

ем. Дочка Мария появилась на свет в 1898 году, а второй сын, Василий, – в 1900-м. Двумя годами позже ещё малолеткой умерла Антонина, потому и следующую дочь 1905 года рождения назвали тем же именем.

Теперь в семье было шестеро детей, и по православной традиции до полной русской семьи и счастливого числа «семь» не хватало одного ребёнка. Святое для православия число «девять» достигалось семью детьми и кроме детей составлялось двумя родителями. Божественно освящённая русская семья из девяти человек имела жизнь благополучную и долгую. Потому и ждали супруги Сафроновы ещё одного ребёночка. Очередная и последняя дочка появилась только через четыре года – в 1909 году, и назвали её с общего согласия Любовью. Так и составила святая триада «Вера–Надежда–Любовь». В крёстные отцы к ней позвали Афанасия Павловича Верещагина. Торговал он в своей лавке, жил по соседству и ещё раньше крестил у Сафроновых не одного ребёнка. В свидетельстве о рождении Любочки было записано, что она – «дочь солдатского сына».

Мать большой сафроновской семьи, Раиса Васильевна, мало отличалась от крестьянки, была простой русской женщиной, трудолюбивой и детолюбивой, с тихим, покладистым нравом.

Училась она только в двухклассной церковно-приходской школе, а в замужестве была занята вынашиванием, выкармливанием да воспитанием детей и всякой домашней работой, которую делала с любовью, споро и добросовестно. Ревностная богомолка, она соблюдала все посты, не ела яблок до срока, положенного праздником Преображения Господня, и кушала только жёлтые помидоры. И по внешнему обличку была она обычной благополучной селянкой со спокойным и добрым лицом. За много-много лет износила она всего одну шубу с лисьим воротником.

Все дети Сафроновых сначала учились в четырёхклассном земском училище их деревни, а после 12 лет поступали в различные городские учебные заведения. Только Надя, самая красивая из всех, учиться не захотела – помогала в лавке.

Родителей дети звали «мамания» и «папаня». Всё делали сами, прислуги не держали и для разовой работы по дому и хозяйству почти никогда никого не нанимали. Семья была дружной, работающей. Полностью собирались только летом, когда все дети приезжали на каникулы.

Душой семейства был отец Иван Прохорович. Необычайно трудолюбивый, он воспитал это качество в детях. Был весел и общителен, всегда в здравии и хорошем настроении. Любил людей и ни с кем в ссоре не бывал. Дружил с роднёй жены, со своими двоюродными братьями и племянниками, с крёстными своих детей, с бедными соседями и богатыми односельчанами Кашириными, Филаретовым и другими. Ладил со старообрядцами-кулугурами и с немецкими семьями. Люди к нему тянулись.

Хотя и был Иван Прохорович постоянно занятым человеком, но любил всякие праздники и компании, причем никогда ничего спиртного не пил и не курил. Вот на свадьбах и прочих сборищах

был первым во всей деревне плясуном. Друзей у него было много, и в зимнее время они частенько собирались поиграть в штосс (игра вроде преферанса). Имелась у него и компания для зимней охоты на зайцев, лис и волков.

Денег на бедных, на благотворительные дела Иван Прохорович не жалел, так же, как и на книги. Стоял в доме большой шкаф, полный книг и журналов. Вот на себя не любил тратить. Шляп и галстуков не имел, пиджаков почти не надевал, а носил исключительно рубашки-косоворотки – сатиновые, чёрные и коричневые, а летом – парусиновые.

Экономил он на себе и на некоторых домашних расходах, ибо задумал новое большое дело. Не для себя, а для семьи доходы надо было повышать: дочерей выдавать замуж с хорошим приданым, сыновей женить, всех устраивать в жизни, обеспечивать в денежном отношении. А для этого нужен был новый и большой капитал.

БУКСИРЫ

К концу 1912 года накопил Иван Прохорович деньжат от лавочной и развозной оптовой торговли, от садов и известкового промысла, взял у богатых односельчан-староверов кредит под векселёк и собрался в дорогу. Вырядился как солидный купец: надел хорьковскую шубу и каракулевую шапку, которые почти никогда не носил, и поехал в Финляндию покупать себе буксирный пароход.

Весной пригнал его, красавца, в Нижнюю Банновку. Буксир новенький, с чёрным корпусом, белыми и светло-серыми палубными надстройками. Стоил 45 тысяч рублей – за такие деньги в центре Саратова можно было купить большой трёхэтажный дом.

Именовался буксир «Вуокса» – это от названия реки, которая берёт свое начало в Финляндии, а через сто вёрст впадает в Ладожское озеро недалеко от Санкт-Петербурга. В справочнике Волжского пароходства винтовой буксир «Вуокса» числился как имеющий 100 номинальных сил, 21,34 метра длины, 4,27 метра ширины и 1,98 метра осадки. Средней мощности, он мог тащить две большие или три малые баржи. Тут надо сказать, что для Ивана Прохоровича, простого торговца и мелкого промысловика, не шибко образованного, да ещё и из деревни, хотя бы богатой и торговой, покупка эта и само занятие судопромышленным извозом было делом смелым и даже рискованным, но обещающим хорошее будущее. Но Иван Прохорович решительно пошёл по новому для здешних мест пути.

С 1913 года и начала «Вуокса» исправно служить своему владельцу и семье Сафроновых. Правда, Иван Прохорович купеческого свидетельства не выбирал – оно денег стоило. И купцом так и не стал, оставался приписанным, как видно, к крестьянскому сословию.

Команда на «Вуоксе» подобралась хорошая, капитан знающий, машина была в прекрасном техническом состоянии. Новое дело оправдало себя с первого же года, работа для буксира нашлась сразу же и прямо в Нижней Банновке: к лесным пристаням вверх по течению

плоты гонять, от немецких береговых лабазов баржи с зерном волочить на саратовские мельницы, а яблоки – на базары; снизу везти рыбную сушь, соль, арбузы, овощи, сверху – промышленные товары. Год от года появлялось на Волге всё больше нефтеналивных барж. Грузов и в деревне, и по всей всей реке имелось в достатке.

Иван Прохорович разъезжал по поволжским сёлам и городам, брал подряды, заключал сделки, выполнял денежный расчёт. Задания капитану «Вуоксы» посылал телеграммами. По телеграфу получал ответы и отчёты о выполнении.

Приподнятое настроение царило в большой сафроновской семье, когда ожидали прибытия «Вуоксы». Загодя выходили на набережную, смотрели, не появится ли на золотовском плёсе светлое пятно. Махали платками, когда «Вуокса» проходила мимо, приветствуя семейство хозяина гудками. Капитан в белом кителе на мостике брал под козырёк. В другой раз «Вуокса» приставала к берегу, капитан обедал в доме у хозяйина, а младшие Сафроновы бегали по палубе, лазили в рубку и машинное отделение, проводили время в носовой хозяйской каюте.

Доходы от буксира шли на текущий банковский счёт, так что за две навигации расплатился Иван Прохорович за кредит. На берегу около избы бакенщика установил он цистерну с соляжкой для заправки «Вуоксы».

К концу третьей навигации подошли ещё большие деньги, и тогда взял Иван Прохорович к себе в компаньоны давнего своего приятеля Минея Кондратьевича Кусморцева из соседнего села Суворово, и вдвоём купили они ещё один буксир на колёсном ходу, посильнее, но и постарее «Вуоксы». Дали ему новое название – «Бойкий». Проходил этот буксир одну навигацию 1916 года, а на вторую встал на капитальный ремонт, из которого впоследствии выйти не успел.

Так же, как и на «Вуоксе», в носовой части «Бойкого» помещалась хозяйская каюта, обитая коричневым дерматином. В каюте этой успели совершить путешествие младшая дочка хозяина Любочка с сестрой Надей и своей тётёй Таисией Васильевной, младшей сестрой матери, учительницей из соседнего села Алексеевка.

НОВЫЙ ДОМ

Иван Прохорович сначала арендовал дом двухэтажный, деревянный. Стоял он на северной стороне Банного оврага, где ни с большим хозяйством, ни с лавкой не развернуться. А потому в 1914 году с пароходных барышей начал он строить другой – одноэтажный, спланированный им сугубо под свою семью. И место выбрал лучше – на южной стороне Банного оврага, в первом порядке от уреза волжской воды. Избы, штук двадцать, строились и дальше, за южной околицей. Хозяйским взглядом выбирал место Иван Прохорович, чтобы был ему простор и для семьи, и для двора, и для торгового и судопромышленного дела его. Главный интерес теперь был связан с Волгой, и дом был построен за четыре месяца в 20 саженьях от реки, фасадом на устье Банного оврага.

В весенний разлив вода по оврагу заходила глубоко в берега, плескалась чуть ли не под самыми окнами. Перед домом по берегу пролегала улица-дорога, называемая набережной, под откосом её, ближе к воде, стоял банный сруб.

Дом Сафроновых – одноэтажный, на высоком кирпичном фундаменте, шитый тёсом и крытый черепицей, о трёх трубах – сделан был на заказ под строгим наблюдением хозяина и смотрелся как на картинке. Только вот стены внутри дома остались неоштукатурены. Семья вселилась осенью и стала жить «в деревьях» с тёплым пахучим хвойным ароматом.

Экономленные деньги перевёл Иван Прохорович в оборотный капитал, вложил их в торговые дела и покупку второго буксира.

Когда прожили в доме какое-то время, когда устоялось течение домашней жизни и бывали наездами дети, которые учились или уже жили в городах, тогда и распределились Сафроновы по комнатам постоянно, тогда и сложился в новом доме свой порядок на некоторые годы, – тот, что остался в памяти детей и внуков навсегда.

Два правых окна фасада – то была комната, прозванная девичьей, где жили три средние сестры. Комната чистая, светлая, с кружевными занавесками на окнах, с высокими пуховыми перинами и подушками на кроватях. За стеной – комната старшего из братьев, Николая, с женой Досей (Авдотьей) и детьми, с двумя окнами на хозяйственный двор. Рядом комната матери Раисы Васильевны с самой младшей дочерью Любочкой. От угловой кухни её отделяла стенка со встроенной русской печью. Два маленьких окна из кухни глядели на зады. Вдоль этой стороны дома тянулись решётчатые остеклённые сени с холодным чуланом и был вход в прихожую. В прихожей налево – кухня, а направо – кабинет-спальня хозяина в два окна на «чистый двор». По соседству располагалась столовая, тоже с двумя окнами. Последней угловой комнатой была «зала» – в углу большой киот, а перед ним ещё стол с иконами. Зала была самой светлой комнатой в доме: два окна выходили на набережную, а два – на «чистый двор». В крайнем окне хорошо были видны Волга и нижний Лапотниковский плёс. Это было главное окно дома, сюда бегали смотреть, как подходят пароходы, и наблюдать всю кипучую жизнь реки.

По северной стороне усадьба была огорожена хозяйственными постройками: амбар, конюшня-хлев, козий сарайчик, птичник, надстройки над ледяным и овощным погребами, над картофельной ямой. По двору болтался без привязи красный ирландский сеттер Рекс, постоянно оказывающий чересчур назойливое внимание домашним уткам. Прекрасного серого мерина по кличке Ларчик запрягали не каждый день. Ездили на нём в Верхнюю Банновку за сеном и за товаром по своим торговым делам.

В поле Сафроновы ничего не сеяли и общественного надела под посев не брали. По другую сторону дома, на «чистом дворе», в углу участка, дверями на набережную стояла сафроновская лавка. В торговом помещении на правом прилавке и полках лежал красный товар – материя различных сортов и галантерея, а левый прилавок предназначался для «всякой всячины». Снаружи через приямок был вход

в подвал для керосина. Когда за ним приходил покупатель, продавец запирает главное помещение и спускался вниз за керосином.

С самого начала и много лет торговал в лавке старший приказчик – дядя Максим Говорухин, человек трудолюбивый, аккуратный и честный. Ездил сам на закупки товара, привозил, разгружал, вёл торговые книги. Деньги немалые держал под отчётом, но ни разу не оступился, не проштрафился, не вышел из доверия.

Помогали ему и частенько его заменяли старшие дочери Сафронова, Вера и Надежда. Со временем взял Иван Прохорович в лавку и приказчикова сына Говорухина, Мишу, на должность продавца. А тот не долго думая записался сразу же в женихи к хозяйской дочери Наде. Раз такое дело, Иван Прохорович устроил того Мишу в немецкие хлебные лабазы приёмщиком зерна – на должность более денежную и с прицелом на будущее.

Сзади к лавке примыкали склад и ещё одно помещение, в котором хранилась и продавалась крахмальная патока. Варили патоку и варенье из неё тут же, во дворе. Здесь же стояла надстройка над погребом, в котором хранились яблоки. Бывало, июнь на дворе, новые яблоки скоро поспевают будут, а Надя залезет в погреб и несёт оттуда целое блюдо прошлогодних, которые и от свежих-то не отличишь.

Удобен и подходящ был для сафроновской семьи новый дом, таким же было и всё подворье, всё их дворовое хозяйство, устроенное по русскому обычаю и по-деловому.

ЗИМА

В конце октября сбежали вниз последние пароходы. Одним из них приезжал домой Иван Прохорович. Возвращался усталый, переделав и устроив все свои торговые и пароходные дела по зимней стоянке, ремонту, подрядам, договорам, денежным расчётам.

Нагруженного покупками и подарками, его встречали на пристани всей семьёй.

К этому времени в доме назначали первую топку всех «галанок» – голландских печей, а обеденные застолья переносили из кухни в столовую. Освободив натруженные ноги от надоевших сапог, Иван Прохорович в шерстяных носках расхаживал по устланному самоткаными полосатыми половиками полу, заглядывал в комнаты. Справлялся, какой из его любимых пирогов готовят к ужину.

Проходила пара недель, и на дворе мокрый снегопад сменялся лёгким морозцем. Иван Прохорович всё чаще поглядывал в окна. По Волге уже сплошным ходом плыли шуга и льдины, покрылись льдом береговые закраины, пойменные озёра, затоны и протоки. Ударяли и первые настоящие морозы. Ледоход усиливался. В один из дней льдины начинали громоздиться друг на друга, потом расходиться, а затем грудиться снова и снова с шелестом и треском.

На утро следующего дня сёстры Сафроновы отодвигали занавески на окнах в зале, бежали на кухню к матери, в кабинет к отцу: Волга встала. Иван Прохорович одевался, выходил на откос. Непривычная

зимняя тишина встречала его. Укрытая льдом, молчала большая река. Лишь в овраге еле слышно журчала деревенская речка Белый Ключ. Парила на Волге полынья, по краю её расхаживали вороны.

В это же время припадал и снежок и ложился санный путь. Старший из братьев Сафроновых, Николай, в первый раз после окончания гимназии зимовавший дома, запрягал в сани Ларчика и отправлялся на лесопилку Рогаткина за всякими мелкими дощечками и брусочками для разных домашних работ. Уже давненько приглядывал он себе Досюшку, младшую рогаткинскую дочку – сватался вприглядку и ждал весны, когда из Царицына на лето снова приедет вся их семья.

Между тем полицейский урядник Веселов с деревенскими мужиками спускались на лёд, отмечали дорогу к пойменным лугам на низовой стороне и дальше на заволжское село Коростылёво. Вслед за этим по малому, неглубокому ещё снегу двигались в луга санные обозы, вывозили накошенное летом сено. Несколько возов душистого разнотравья на Ларчике привозили и на сафроновский двор. Овечки и всякая скотинка жевали свежее сено, и на губах у них выступала зелёная пена. Мать Раиса Васильевна утром наливала детям парного молочка в чашки: «Кушайте, запах-то вон какой от лугового сенца!»

Откушав, старшая из остававшихся дома сестёр, Тоня, а позднее и Любочка, отправлялась в сельское училище, а возвращалась после полудня вся в снегу – каталась с мальчишками на санях. Спускалась в овраг, вылетала с ходу на волжский лёд – горок всяких, пригорков, взвозов в деревне было много.

Катались ещё на ледянках, которые делались так: широкую нижнюю доску – полоз обмазывали свежим коровьим навозом и примораживали к дереву. Потом поливали водой и снова примораживали многократно, пока не получится гладкая наледь. Садились на верхнюю доску-сиденье и скатывались. Мимо дома Сафроновых шёл длинный взвоз. Раскатишься по нему – дух захватывает. Было это катанье одним из любимых занятий.

Теми днями шёл уже Рождественский пост. Богомольная маманя Раиса Васильевна затевала тогда постные щи на свой манер. Вымачивала пяток крупных вяленых лещей астраханского улова и варила обычные постные щи. Лишь в конце высыпала в кипящее хлебово рыбное крошево. Рыбку всякую у Сафроновых любили и постные маманины щи ели с удовольствием.

Проходил зимний Никола со вторыми морозами, приближалось Рождество. На богатом сафроновском подворье появлялся немец, колбасник Гриштофель, резал заранее прикормленных бычка и свинью, свеживал туши, сортировал мясо. Фарш варил в тазах на примусе – отдельно для ливерной, отдельно для красной колбасы, вкусоности необыкновенной. Колбасы развешивали в холодном чулане, и хватало их на весь зимний мясоед вплоть до Великого поста.

Следом за колбасами коптили Сафроновы свиные окорока: подвешивали их в дымоходе на специальных крючках, а на горячие красные угли в только что протопленной печи бросали корьё, мякину и всякий горящий сор.

Вечером в канун Рождества запрягал Иван Прохорович Ларчика в лёгкие городские санки, сажал жену и кое-кого из домашних и отправлялся в Верхнюю Банновку к праздничной службе.

Домой возвращались глубокой ночью по морозцу: поскрипывает снег под полозьями, подфыркивает лошадка, светит луна в морозном ореоле, мелькают на дороге тени других запряжек и пеших прихожан.

Светло и радостно на душе – Спаситель родился, праздник! Младшую, Любочку, сонную, из саней отец выносит на руках, передаёт матери и та укладывает её в постель. А у взрослых праздничное разговленье – рассвет уж близится.

Поздним утром в доме у Сафроновых приём гостей и большое застолье. Приходят друзья отца, Каширины, отец и сын Филаретовы с домашними, родня матери и отца, приказчик дядя Максим с женой и сыном, соседи, крёстные, крестники и крестницы.

Раздвижной дубовый стол не вмещает гостей и ломится от закусок: поросёнок своего откорма, жареные утки, домашняя колбаса и окорок, пироги с мясом, капустой, осетриной и вязигой и со всякой всячиной, астраханский балык, домашние соленья и варенья.

Поздравлениям несть числа. Подваливают ещё одни сосед, Киревы, двоюродные братья и племянники отца. И так целые дни – все Святки, вплоть до Крещенья, когда Иван Прохорович с домашними опять едут в церковь на праздничное богослужение.

Зимний мясоед у Сафроновых разнообразится заячьим жарким. Зайцев с охоты «пятками» приносит Иван Прохорович. У них компания из пяти-шести охотников. Собираются они в саду у Петра Яковлевича Ардюкова, дальнего родственника Раисы Васильевны. Радужный хозяин и хозяйка угощают сначала чаем с пирогами, говорят: «Не красна изба углами, а красна пирогами». Потом все вместе едут на охоту. Дома шкурки снимают, отправляют к скорняку, заказывают из них воротники, шапки, рукавицы, а тушки зайцев Раиса Васильевна вымачивает в воде, делает на них разрезы и забивает туда свиное сало.

В один из морозных январских дней доставал Иван Прохорович из амбара пяток вентерей и вместе с кем-нибудь из домашних спускался на лёд. Там, напротив дома, в двадцати саженях от берега, где по старинным приметам в зимнее время любили нереститься налимы, выдалбливали рыбаки проруби и опускали на дно свою снасть, оставляя её на несколько дней. Дюжину скользких и блестящих аршинных рыбин, с буро-чёрной спинкой и беловатыми брюшками, где буграми выпирали икра и жирная печень, доставляли на кухню, вываливали в деревянное корыто. Вечером у Сафроновых бывала налимья уха. Варили её в больших облитых чугунах в голландских печах, которые топились всегда вечером. В булькающем вареве, как звери, топорились налимы головы с короткими усиками над нижней губой.

К назначенному времени набегали гости, когда духовитая рыбная благодать уже наполняла весь дом. К столу, накрытому по-господскому фарфоровыми тарелками и мельхиоровыми ложками, выносилось блюдо с хлебом и второе – с дымящимися кусками рыбы. Из трёхлитровых чугунов разливалась горячая юшка с тем особым слизистым и мутным наваром, который бывает только в налимьей ухе. Ели её, а стерляжку

уху и не вспоминали, потому как налимя уха острее, вкус у неё особый, дух рыбный сильнее и костей в мясе тоже нет.

Раиса Васильевна подкладывала едокам кусочки, а отец любил повозиться с головизной, разрывая её руками, обсасывая хрящики, обирая жирок. Ухой-то ведь сразу не наедаешься, а потому у многих гостей за первой тарелкой шла вторая и третья. Ну, а уж когда наедятся, в животе тяжести нет, и через часок зовут их пить чай с вареньем и заваркой из цветастой жестяной коробки с надписью «Сарпеха».

Поздно вечером ляжет кто-нибудь из домашних спать в постель, полежит на спине, потом повернётся на бочок – и отрыгнётся ему из живота налимяей ухой. Вспомнит её добрым словом да и заснёт с рыбным вкусом во рту. И лёгок сон этот в тёплом родном доме, память о котором потом будет жить купно с сытыми запахами и многолюдством домашнего застолья.

После обильного мясоеда приходила Масляная неделя, и тогда в охотку шли разные блины. Мать наводила большую кадку квашни, подсыпала мучки каждый вечер. Так всю неделю кадка и не просыхала. А мучка в тех местах была пшеничная, великолепная, ослепительной белизны, из неё получались блины пышные, вкусные.

За Масленицей начинался Великий пост, во время которого полагалось набивать свежим льдом главный домашний погреб. Лёд выпиливали на Волге пудовыми кусками, вывозили в санях. Сбрасывали в погреб, трамбовали, засыпали опилками. Погреб был большой, холодный и надёжный круглый год.

Зимними днями, длинными зимними вечерами работы и занятий для семьи хватало: кто за скотиной ходит, кто дрова рубит-носит, печи топят, кто готовит обед.

Иван Прохорович в кабинете сидит, щёлкает на счётах, бумаги читает. Письма напишет, идёт на почту, одни конверты отправляет, другие получает, готовится к летней грузовой навигации и торговле. Читает газеты и журнал «Нива», которые давно выписывает. Ежедневно ходит в лавочку, снимает кассу, записывает что надо по учёту, совет держит с постоянным своим приказчиком и сидельцем дядей Максимом.

Утром иной раз заходит на двор к Сафроновым Алёшка Афонин – бедняк, глуповатый и странный человек. Живёт с дочерью десяти лет, хозяйства своего не имеет, работать не хочет. Ходит меж дворов с сумой, вернее, с двумя холщовыми сумками на шее – одна для муки, другая для всяких кусков. У Сафроновых дрова напилит и наколет, после чего матушка насыплет ему миску мучки, даст пару больших кусков пирога и добавит двугривенный. Алёшка благодарит, кланяется, переходит к соседям. Насобирает всего, а как проедят, то снова идёт побираться.

Женщины сафроновские почитай каждый день что-нибудь шьют. Есть у Сафроновых и козы, и веретено, и прялка. Шерсть овечью, что ещё весной настригли от мелкой своей скотины, сучат, прядут, вяжут из неё платки, носки, рукавицы, шарфы; младших девочек обучают шить и вышивать.

В самом разгаре Великий пост, а на Волге уже свет весны. Кругом белым-бело, солнце сияет, искрится во льдах и снегах. Памятен Великий пост и постной пищей, которую нет-нет да и постарается повкуснее приготовить мать. То душистый суп грибной, то чечевичная каша, то пироги с капустой, морковь, рисом, то грушевый взвар. А памятна более всего селёдка. Десяток жирных сельдей из погребной бочки достанут, разделают, подадут на блюде на стол, в другое блюдо картошки варёной большой чугуном вывалят. Огурцы солёные подадут, хлебный каравай, тёплый ещё, развалят на куски. Селёдка такая жирная идёт с картошкой без масла. Насолятся ею, чаёвничают с наслаждением.

Зима... Хороша она всем. И тем, что отец дома, и тем, что домашние вместе, что настал отдых от летних работ и забот. Но как ни хорош, ни ласков, ни тёпл зимний дом, а в конце зимы душа уже просит весны. И её ждут.

ВЕСНА

Весна сначала приходила лишь в закоулки сафроновского подворья. На свесах крыш появлялись сосульки. Пригретая ярким солнцем, начинала парить навозная куча у конюшни. Выпущенная во двор скотина нежилась на солнце в затишке строений.

Снег оттаивал вдоль стен, в воротах, на выступах берегового откоса, на копытах Ларчика, запряжённого в сани и стоящего около крыльца в ожидании собравшегося по делам хозяина.

Через неделю в устье оврага против дома, там, где Белый Ключ впадает в Волгу, появлялась и начинала чернеть большая промоина. Завидев её, стосковавшиеся по воде домашние утки с нетерпеливым криком спускались к реке, скользя по мокрому снегу, весело плескались в воде. Грачи перепрыгивали по проталинам береговых склонов.

Затем погода менялась. Подходила тёплая, туманистая, облачная волна без утренних заморозков. В ночной тишине звучала капель, снег на волжском льду темнел, появлялись промоины.

По последнему льду люди ходили на тот берег, приносили охапки красных веток вербы с пушистыми серо-золотистыми почками. Лёд отходил от берегов, и над закраинной водой пролетали две-три пары красных уток, имевших обыкновение гнездиться в норах береговых обрывов.

Деревенские рыбаки спускались на берег, кто намёткой, а кто пауком ловили не крупную рыбёшку: подлещиков, густеру, язишек, плотвичек, окуньков. Заносили на кухню к Сафроновым и оставляли на полтинник ведро рыбы для первой благовещенской ухи, самой вкусной после долгого перерыва.

Около Благовещенья ожидали и ледоход. Выходили на набережную, глядели из-под руки на Лапотниковский плёс и под гору, как крутит течение сор и гонит его в обратную по береговой воде.

Ледоход приходил внезапно. Среди ночи чуткое ухо Ивана Прохоровича улавливало первый отдалённый шум и шорох. Он вставал,

взволнованно будил старшего сына: «У Лаптя тронуло. Сейчас у нас пальнёт». Выходили на набережную, где уже маячили фигуры соседей, вслушивались в нарастающий гул. Потом вдруг что-то стреляло посреди, река вздрагивала, при лунном свете начинали неясно топорщиться, вставать на дыбы отдельные льдины, и лишь постепенно приходило в движение всё пространство льда, и начинался великий весенний ледоход.

Жители деревни ждали и встречали его всегда как праздник. С утра набережная полна народа. Радостные лица, нарядные одежды. Гуляли, лузгали семечки. Часами смотрели на ежегодное торжественное явление и движение природы, и, казалось, не было ничего краше в других временах года. Проплывала большая льдина, а на ней участок зимней санной дороги, запорошенный сеном и конским навозом. Мелкие льдины крутило под берегом. Но постепенно исчезали шорох трущихся друг от друга, треск ломающихся ледяных полей. Шёл редкий лёд, Волга очищалась, становилась спокойной и величавой. Через две недели по реке шел лёд «верховой». А ещё через десять дней с горы было видно: река вдруг снова начинала белеть у верхнего села Меловатка – то дружно подходил лёд «камский». Вода прибывала, течение усиливалось. Чтобы не размывало, жители каждый год сбрасывали с откоса крупные камни, спускали груженные камнем высокие корзины, вбивали сваи, колья, подвязывали плетни, сажали деревья.

Большой ли, малый ли, совпадал ледоход со Страстным кануном и самим праздником Пасхи – Воскресением Христовым: крашеными яйцами, куличами, поездкой к церковной торжественной службе, чередой гостей, поздравителей и тем особым, весенне-ликующим настроением, которое бывает только в этот праздник.

На третий день Светлой седмицы в дом Сафроновых из Верхней Банновки приезжал причт для свершения домашнего молебна. После короткой службы священник, дьякон и причётчик присаживались к столу, угощались. По окончании трапезы батюшка вынимал чистый подписной лист и своим каллиграфическим почерком выводил в первой строке фамилию, имя и отчество хозяина. Дело это всегда касалось каких-нибудь пожертвований: на церковно-приходскую школу, ремонт храма, на новый колокол, а то на бедных. Иван Прохорович всегда жертвовал богато, и писали его первым, чтобы другим подать пример. Провожать причт Иван Прохорович выходил на улицу.

К той поре вешняя вода заливала овраг, подходила к воротам сафроновского дома. Когда разлив был особенно большой, подтопляло и нижние сады. Яблони уже зацветали, а молодёжь на лодке ездила между деревьями, распевала песни. Обходить подтопленный овраг было далеко, и в том краю деревни Николай в залитых огородах тоже настраивал удочки с колокольчиками. Кто из домашних услышит колокольчик, выйдет, снимет рыбу.

На дворе смолили лодку. Собирались соседи-охотники, переезжали в займища на селезнёвые тока, привозили добычу.

Кто помнил те времена, тот рассказывал, как большие стаи уток друг за другом шли по-над Волгой на север. Заядлые охотники волновались, ночью не спали, выходили на берег, слушали кряканье

и шелест многих крыл пролетающих стай, ловили мелькающие в лунном свете неясные тени. Днём у луговой стороны, тяжело махая крыльями, тянулись цапли, двигались клинья журавлей. Высоко в синеве небес еле различимыми и с едва слышимыми криками летели северные казарки. Лесистыми гребнями правобережья перелетали стайки старчиков и щеглов, стремительно рассекали воздух вальдшнепы. Начинали гнездиться и всюю распевали на скворечниках скворцы.

Великой птичьей перелётной дорогой была река Волга и её берега.

В один из дней утреннюю тишину разрывал залиvistый пароходный гудок. Снизу, не останавливаясь, проходил мимо первый скорый пассажирский пароход. На палубе – редкие ещё в это время пассажиры, на корме развешана свежая, весеннего улова вобла – сушится в пути.

Иван Прохорович с соседскими мужиками доставали из амбара и растягивали на чистом дворе сплавную частичковую сеть, чинили прорехи, подвязывали грузила, поплавки-балберы. Со дня на день ждали подхода селёдки. Когда наступал срок, сеть набирали гармошкой на рундуке сафроновской лодки и растягивали по воде поперёк течения, где оно потише. Подгребая вёслами, провожали сеть вниз версты на две. Когда натыкались на большой косяк, сеть ходила ходуном, дёргались балберы. И ещё между собой мужики говорили, что раньше в селёточных косяках рыба шла столь густо, что вода поверху бурлила и звук идущей вверх рыбы был слышен издали.

На берегу Иван Прохорович с соседями распределяли селёдку по корзинам, развозили на лошади по домам. Тотчас вся сафроновская семья сходилась во дворе на засол. Как и все, маленькая Любочка брала в руки скользкую рыбину, ополаскивала её в воде, вываливала в соли, втирала ладошкой, в рот и за жабры толкала по щепотке, а потом – аккуратненько в бочку рядом со всеми. Если плотно положить, то и засол хороший будет. Крупную сельдь – черноспинку, называемую заломом, солили в отдельной бочке.

Спинка у нее чёрная от жира. Сельдь помельче – в другой бочке. Часть её потом вынимали, сушили, сгоняли жир под гнётом, а полученный сушёный балык зимой клали во щи. По окончании засола в бочки вбивали крышки, насаживали обручи и на верёвках по доскам спускали в погреб на лёд. До той поры не полагалось трогать, пока первая молодая картошечка не появится. Тогда и пробовали со свежим зелёным укропом. То ли память детства и молодости такая сладкая, но только не могла припомнить самая младшая Любочка и через 75 лет, что в жизни было вкуснее той домашней селёдки – залома.

Распускалась сирень, навстречу ей растворялись окна в доме, уходила из оврага вода. Цвели яблони. Хозяйские сады в главном овраге стояли впритык друг к другу и казались сплошным белым пенистым ковром, и уже пробовали запевать соловьи.

Как просыхала земля, назначались пахота и посадка огорода. Иван Прохорович торопился в отъезд на скоро прибывающей «Вуоксе».

В один из апрельских дней она и прибывала, радостно и часто приветствуя хозяина тремя короткими гудками, что по азбуке Морзе означало букву «С» (Сафронов), приводила две пустые баржи

из Самары. Баржи ставили к немецким лабазам, где сразу же началась погрузка зерна. Иван Прохорович быстро заселялся в свою хозяйскую каюту и давал команду отваливать в Камышин, где надо было взять и пригнать в Нижнюю Банновку ещё две баржи. Стоя на капитанском мостике удаляющейся «Вуоксы», он махал домашним белым платком. Издали раздавался последний прощальный гудок.

Начиналась большая летняя волжская страда.

ЛЕТО

Весь летний сезон по всей Волге и в сафроновском доме слышны близкие и далёкие, прерывистые и протяжные гудки пароходов. Жизнь текла вместе с широкой, полноводной рекой. Не останавливаясь в Нижней Банновке, красиво проходили мимо белоснежные пароходы. Дамы в широкополых летних шляпах, солидные господа в светлых чесучовых пиджаках разгуливали по верхней палубе. Офицеры в белых кителях курили папиросы. Снизу проходил грузопассажирский пароход. На корме его, на канатных бухтах, грудились и ели арбузы палубные пассажиры – астраханские татары в разноцветных шароварах.

Натуженно трудились буксиры, выволакивая против течения тройку больших барж. Иной караван словно застынет на нижнем плёсе, будто и не двигается, лишь к вечеру переберётся на верхний.

Мелькали по Волге мелкие суда, плавно тянулись вниз громадные плоты. Редко-редко проплывала старинная, бурлацких ещё времён расшива, сбегали вниз беяны.

Когда были на Волге бурлаки, шли они в этом месте правым берегом. Течение и фарватер здесь тоже прижимались вправо. Вдоль нагорной стороны день и ночь шло преимущественное движение судов, на берегу были хорошо слышны команды с капитанского мостика, шум работающих машин, удары плиц.

Летней ночью проснётся кто-нибудь в доме Сафроновых, услышит сигнальный гудок «подваливаю», выйдет на улицу. Куда ни глянь в темноту – везде видны огни на клотиках – белые, зелёные, красные, а там ещё и бакенные. Сверкая огнями, плавной дугой заходил сверху, разворачивался против течения и жался к пристани пароход «Государыня».

И весь этот мощный круглосуточный пульс чисто русской жизни, вся речная музыка и величавое волжское коловращение не надоедали, не утомляли, были всегда бодряще приятны, как свежий воздух и утреннее солнце. Благоприятное влияние на человека широких и открытых водных пространств, движения вод и судов, мерного набега и плеска волн люди отмечали ещё в глубокой древности. И так, не отгадав загадки этого влияния, человечество уже много тысячелетий живёт на берегах различных вод во здравии, радости, трудах.

К началу июня Волга входила в свои берега, и на реке устанавливалась межень – постоянный низкий водный горизонт. Островные займища покрывались зелёным травяным ковром. На большой мир-

ской завозне партиями по 15–20 голов туда переправляли дойных коров, гулевых тёлочек и бычков, лошадиный молодняк.

Рано утром и вечером на ту сторону теперь отправлялась моторка с деревенскими бабами и девками для дойки коров. Через месяц скот привозили обратно, чтобы дать отрасти травам до Петрова дня. Теперь стадо гоняли на мирской выгон по мелким лощинам да полям.

Летом Иван Прохорович ездил по поволжским городам и сёлам, деловым конторам, складам и пристаням. Компаньоны, партнёры, заказчики, телеграммы, письма, счета, договоры... Ни дня простоя «Вуоксе» не давал, трудилась она на Сафроновых и день и ночь. Ни одного груза, ни одного подряда и заказа нельзя было упускать. Снова и снова гнал вверх Иван Прохорович зерно, оттуда на низовья волочил плоты, забирал в Астрахани баржи с рыбной сушью. С июля вёз снизу арбузы, с августа – яблоки и груши. И с весны до осени – нефтеналивные баржи.

Старшему сыну, наследнику Николаю, уже 19 лет исполнилось, гимназию он окончил – значит, можно мелкие торговые дела поручать. И поручал.

Летним временем лишь ненадолго проездом глава семейства бывал дома. Приедет – поручения всем раздаст: этой малину прорезать, другому – баню починить, третьим – в огороде работать.

Когда выпадали дни посвободнее, любил Иван Прохорович с дочерьми половить стерлядку. Была у него сетка пятиметровой длины, с железным прутком по нижнему краю и поплавками по верхнему. Посадит дочерей на вёсла, а сам с кормы бросит сеть. Она волочится нижним краем по дну, где стерлядка ходит, улавливает её. А дочки вёслами лодку по течению тихонько сплавляют. Называли такую сетку «дура», но ловила она хорошо. И потом за едой хороша была стерлядка всякая: и в ухе, и жареная, и знаменитая саратовская разварная стерлядь кольчиком.

Наконец наступал канун Петрова дня. Кончался пост, и Раиса Васильевна посылала кого-нибудь из детей на дальний конец села в мясную лавку, давала рубль – плату за пять фунтов. После мясных разговин вся сафроновская молодёжь с отцом, если он бывал дома, грузилась на лодку и ехала на островные луга, уже заранее размеченные на участки по несколько дворов на каждый, согласно числу душ. Сено косили в охотку, смётанное в копны оставляли в лугах до санного пути. Когда трава отрастала, часть скота перевозили на острова до осени.

Однажды в конце мая случилось вот что. Из села Лапоть, что стояло на восемь вёрст ниже, позвонили начальнику почты и сказали, что от них идёт вверх «наколота» белуга. Тут же собрались деревенские рыбаки, перекрыли на лодках Волгу, а вскоре заприметили и белугу – ослабленная, она шла по поверхности воды. Прихватили её баграми и держали до тех пор, пока не перестала таскать. Почитай, вся деревня собралась на берегу. Выволокли рыбину на песок – ахнули: лежит громадная, как лодка. И из неё икра течёт. Собрали ведро икры, да половину она в воде растеряла. Рубили белугу топорами

прямо на берегу. Иван Прохорович посылал Васю, и тот за два рубля притащил пудовый кусок, большой и толстый, как жернов.

Перепадали июльские дожди с грозами. Через пару дней младший брат Вася закладывал Ларчика в линейку, сажал сестёр и вёз их в верхнебанновский казённый лес за грибами. Туда и оттуда ехали с песнями, привозили полные вёдра и лукошки маслят, подберёзовиков, подосиновиков, белых грибов. Возвращаясь, подкатывали прямо к берегу. Подобрал подолы, девушки грибы мыли, а потом купались. Из погребной девятиведёрной бочки доставали квас, творили окрошку с солёной рыбой или варёной солониной.

А вечером картошечка с жареными грибами и царственными грибными ароматами. И ещё всю зиму при сушёных грибах.

Незаметно подходил август, а с ним и Преображение – Яблочный Спас. Свой верхний сад при Белом Ключе Иван Прохорович сдавал закупщикам. Те приезжали из Саратова, ставили в саду шалаш, подвозили ящики, стелили под яблонями солому, чтобы не было битых плодов. Сёстры Сафроновы подряжались убирать яблоки. Их осторожно снимали, укладывали рядами, перестилали соломой. Потом на берегу грузили на дощаники и пароходы, отправляли в Саратов, а то и дальше. Малый нижний сад Иван Прохорович не сдавал. В один из дней вся семья с утра выходила туда на уборку. Отборные яблочки оставляли для себя, складывали в подвал. Часть продавали, а часть сушили. Мешки с сушёными яблоками Николай отвозил в город, сдавал их перекупщику Крутову Антону Петровичу, который жил в Саратове, на углу Царицынской и Покровской. Он товар покупал оптом, быстро раздавал по лавкам. Скупал арбузы, дыни, рыбу, коптил её на собственной коптильне.

Работали в своём саду весело, с шутками-прибаутками, с песнями. Приходил и сосед-рыбак. Он сначала наедался яблок, потом начинал ловить рыбу, и к середине дня в саду была вкусная, свежая уха. Приходила и родня оказывать «помочь». Это была традиция такая – оказывать помощь родне, соседям, односельчанам не за плату, а за угощение. Собирались множеством народа, и получался вроде как праздник. Сами Сафроновы ходили на «помочь» в сад к Филаретовым. А у тех, у кулугуров, для угощения в дни «помочей» была специальная посуда, которую называли «посуда мирская». Свою обычную домашнюю посуду в этих случаях они не подавали.

Всюду по Банновке весь конец лета и осень убирали яблоки. Из Лаптя, где не было пристаней, в Нижнюю Банновку люди тянули лодки на бичеве, на конной тяге – дощаники с яблоками, отправляли их дальше, в Саратов.

Своей, или надельной, полевой пахотной земли у Сафроновых до революции не было. Работали в своих садах и большом огороде. Урожаи плодов и овощей, картошки от полива были хорошие, а червь или гниль какая-нибудь нападала редко.

В летний сезон трудились целый день всей семьёй. Вечерами отдыхали, сидя на лавочке у дома, поглядывая на Волгу и пароходы и поджидая скотинку из стада. На закате с околицы скотина сама расхо-

дилась по дворам. Шла и к дому Сафроновых – впереди всегда две козы, а за ними корова.

Солнце садилось за гору, и длинная тень ложилась на деревню и сафроновское подворье, неся прохладу и те долгие белые сумерки от освещённого в небе облачка, которые бывают только в подгорных волжских селениях от невидимого, садящегося за горой солнца.

ОСЕНЬ

Кто не наслаждался картинками ранних волжских осеней, когда стоят самые приятные дни утренней прохлады и дневного тепла! По утрам в конце августа начинала куриться туманами река. По водной глади плескались, били мелкую рыбёшку щука и судак. Окунь гонял малька на подходах к отмелям, и над местами его охоты кружились чайки. Над водой и порослями прибрежного чакана вились береговые стрижи. Они первыми улетали на юг уже в начале сентября.

На подворье Сафроновых разгружалась арбузная арба, в больших тазах варили арбузный мёд. Парили кадки, набивали их крепкими, ядрёными огурцами, добавляли пахучие вязки укропа, листья хрена и смородины, головки чеснока. Заканчивали под вечер, когда с пойменных озёр срывались молодые утиные выводки, пролетали над деревней кормиться на пшеничном жнивье и просяных полях. Братья Николай и Василий с деревенскими отправлялись в займище на зорьке для малой утиной охоты. Брали с собой сеттера Рекса. Вкусно было молодое утиное мясо, тушённое в обливной домашней утятнице. Ездили братья и на заказную охоту к отцову Дню ангела, Ивану Постному, 29 августа по старому стилю. Привозили десятка два уток к именинному столу.

Впрочем, Иван Прохорович, занятый делами в Саратове и других местах, и не каждый раз бывал на своих именинах.

А дел на Волге в это время было ещё больше. До зимы все грузы надо было развезти по своим местам, договориться о будущих работах, о зимней стоянке и ремонте судов. Пароходы, баржи, нефтеналивные суда в это время шли во Волге сплошным потоком. Наспех приезжал Иван Прохорович, парился в баньке и уезжал снова. Раз на буксире привёз с «Вуоксой» старую, отслужившую свой срок пристань: на небольшой деревянной барже две порознь стоящие каюты под общей крышей. Каюты тогда поставили в нижнем сафроновском саду, а баржу разбили на дрова, топили ею потом известковые горона.

За дровами к зиме в лес в Нижней Банновке не ездили и специально их не покупали, а большей частью вылавливали и складывали на берегу или около дома плывущие по реке брёвна. Иной раз они сами к берегу прибывались – только вытаскивай. Или купит кто-нибудь из богатых поселян старую баржу (баржи по семь-восемь лет служили), соберёт мужиков разобрать её на дрова и продаст по дешёвке. Назывались такие дрова «барочный лес».

Помнится, как осень золотила сады, листву дубов на нагорной, осокорей и талов – на луговой стороне. Желтоватые процветины появлялись в зарослях осоки и чакана. Плыли первые жёлтые листья, а на не остывшей ещё воде свежо зеленела ряска в мелких затончиках и озёрах. Стояли тихие солнечные дни бабьего лета. Пригретая последними тёплыми лучами осеннего солнца, отдыхала река. Небо из белёсого становилось ярко-голубым.

В пору этой-то осенней благодати и красоты 17 сентября праздновали именины сразу трёх сестёр Сафроновых – Веры, Надежды и Любви. А после Сергиева дня по холодку солили капусту. Собирались на кухне, приглашали родню, рубили сечками вчетвером в деревянном корыте. Потом наступал ответственный момент – старшая и самая опытная тётя Маня солила, прищёптывала над солью.

Заканчивалась и грибная пора. На островах ещё топорщили прелую листву громадные, как лопухи, грузди. Если наткнёшься на хорошую грибную поляну – привезёшь целую лодку грибов.

Следом на лесных гривках набухали грядки песочников. Не менее двух больших кадок набирали и насаливали грибов в зиму Сафроновы.

Из пойменных лугов на двор возвращали гулевой скот, держали его на домашнем сене. Из полевой кошары пригоняли трёх овец с приплодом – вскоре у них очередной окот. Подбирали тыквы и другие остатки на огороде, месили кизяки, готовились к зиме. Мать ходила в верхний сад, обдирала с большого осокоря хмель, готовила дрожжи. С наступлением осени и зимы пироги у Сафроновых были почти каждый день, да и хлеб был свой – пекли его через день, и расход дрожжей был немалый.

Погода понемногу портилась, шли дожди. Где-то в верховьях, на камских и вятских местах, ударяли морозы, срывались оттуда тысячные утиные стаи и перелетали на нижние волжские разливы. На утренней заре с нагорной стороны было видно: розовый просвет в облаках вдруг закрывало чёрным месивом, закручивало штопором, вытягивало над невидимым дальним затоном. Это после ночного перелёта присаживались на широкое мелководье северные утиные стаи, разбивались, расплывались по тихим заводям и оставались здесь перед главным перелётом на юг.

На позднюю осеннюю охоту приезжали в дом к Сафроновым несколько саратовских охотников – знакомых и друзей. И тогда наступала главная охотничья пора. Уток с той стороны привозили мешками. Женщины как сядут их ощипывать, так на весь день. Пухом и пером утиным давно уже набиты десятки перин и подушек.

Вскоре после праздника Казанской иконы утиная (и гусиная) охота заканчивалась. По серо-свинцовой Волге шли последние пароходы. Наконец сплывал вниз одинокий буксир с баржой, и река пустела.

ЖИТЬЁ-БЫТЬЁ

Раннее зимнее утро в новом доме. Мать гремит чугунами на кухне, строгаёт лучину, чтобы варить пшённый кулеш, разжигать самовар.

Надя уходит с вёдрами в хлев доить корову и коз. Там же и Иван Прохорович – надо напоить и накормить скотину, отбить навоз. Кому-то достаётся задание натаскать дров к кухонной русской печи (её топят с утра и варят в ней обед) и к двум «галанкам» (голландским печам, которые топятся на ночь).

В кухню в ночной рубашонке и босиком выходит заспанная Любочка. Ей семь лет, и школу она ещё не посещает. Обнимает мать, прижимается головкой к её животу. «Калачка и молочка», – говорит она заспанным голосом с ударением на последнем слого.

Мать даёт ей кусок домашнего белого хлеба, наливает кружку молока.

Обед в доме варится каждый день, назавтра ничего не оставляют, выливают остатки свинье. И еда материной готовки простая, крестьянская. А вот столовая посуда городская. Правда, за обедом целиком семья почти никогда не собирается – все на разных работах или в отъезде.

Зимой молодёжь в городе учится. Старшая сестра Вера закончила двухгодичные бухгалтерские курсы и с 1910 года замужем, живёт в Саратове. В 1915 году Николая взяли учиться на военного топографа в Хвалынское юнкерское училище. С осени того же года уехала в Саратов Тоня, стала заниматься в гимназии. Надя оставалась помогать в лавке сначала вместе с Верой, потом одна.

В 1909 году, когда родилась Любочка, пришёл в лавку отец и говорит дочерям: «Сейчас родилась у нас ещё одна дочка. Поздравляю вас с сестрёнкой Любочкой. Иль, может, лучше надо бы братца?»

Вера промолчала, а Надя сказала: «Лучше бы никого не надо». Отец рассмеялся. А Любочка, когда стала взрослой, Наде не раз попеняла.

Отец с матерью никогда не ругались, даже голоса не повышали. И детей не наказывали, да и необходимости в этом не было.

Невестка Дося один раз побила сына и тот заплакал. Отец вошёл в комнату, сказал, что так нельзя, забрал малыша. Любимицей отца была Надя – ей он дарил подарки почаще и подороже; когда выросла, то покупал ей золотые вещи – кольца, серьги. Ну, а общей любимицей была самая маленькая Любочка. Бывало, если кто садится за стол обедать, то и её спрашивает: «Ты обедала?» А она: «Нет, не обедала». Тогда сажают её на колени, дают ложку хлебать из общей тарелки. До десяти лет не слезала с коленей отца.

Зимними вечерами друзья приходили в дом играть с Иваном Прохоровичем в карты по маленькой. Потом чаёвничали. Распивать чай отец любил и был сладёна. Достанет с подложки пару банок с вареньем, пьёт чай, а варенье загребает столовой ложкой.

Мать ему после пеняет: «Что ж ты при гостях-то поварёшками ешь? Чай, стыдно!» Иван Прохорович и в чашку клал по четыре куска (продавался раньше такой сахар – кусковой). Хотя делал это не так часто, а больше пил вприкуску, как все в деревне.

Однажды летом ездил Иван Прохорович по делам в Саратов. Натаскавшись по жаре, сел на пароход «Гончаров» и ехал до Нижней Банновки шесть часов. Всё это время сидел Иван Прохорович

в пароходном буфете, пил чай заварными чайниками – четыре стакана порция, лимон и восемь кусков сахара. За шесть часов выпил шесть порций и пропил два рубля. Мать его корила: «Полкоровы пропил!» (За Волгой гулевою тёлку можно было купить за 7–8 рублей, утка или курица в деревне стоили 20 копеек.)

А чай в то время были преимущественно китайские – очень вкусные и ароматные. И пили вприкуску, чтобы вкус чая сладостью не глушить. Частенько ходили Сафроновы чаёвничать к начальнику почты. Угощались запросто в своей компании. Иван Прохорович разламывал на части печёных кур, раздавал по тарелкам. И никто не стеснялся, хоть и был там в гостях полицейский урядник. Возвращались поздно вечером по морозцу, и около деревенской чайной Мещерякова встречали местного столяра Рускова. Угостившись как следует, он шёл и распевал: «Вдоль по улице метелица метёт, а за нею Оська выпивши идёт». Кланялся Сафроновым, своим заказчиком. Мастер он был хороший и изготовил в своё время для них платяной шкаф под чёрное дерево и комод, этажерку, трюмо с зеркалом (которое и сейчас ещё цело) и много другой мебели.

А кроме чайной была в деревне ещё и «казёнка» – винополка по продаже водки. Торговала там женщина всего два дня в неделю, да и то ограниченные часы. Отпускала товар в форточку.

С июля 1914 года в России было объявлено что-то вроде сухого закона, продажа «винных напитков» была сильно ограничена, но соблюдался этот порядок не очень строго.

Как-то раз среди зимы в неурочный час из Саратова нагрянул Вася. Оказалось, что затесался он в какой-то социал-демократический кружок и его исключили из реального училища.

Отец ездил выручать, и Васю приняли обратно. Хотя сам Иван Прохорович был на заметке у местного урядника. С детства малограмотный, навыки большого чтения он усвоил ещё при службе у купца. Летними вечерами, когда бывал дома, выходил с газетой на улицу и садился на брёвна у откоса. К нему подсаживались соседские мужики, и он читал из газет отдельные, понятные им статейки о положении на германском фронте и прочих делах.

Надя долго невестилась с Мишей Говорухиным, приёмщиком зерна в лабазах. Любовь у них была большая, и младшая, Любочка, была приспособлена таскать любовные письма.

Бывало, несёт письмо от Нади к Мише, подождёт полчаса – приносит ответ. Свадьбу только не успели сыграть: взяли Мишу на войну. Когда уходил, просил Ивана Прохоровича: «Вы её замуж не выдавайте, я приду – женюсь». Так потом оно и было.

Вера, будучи курсисткой, жила в Саратове, в семье своего двоюродного брата Ивана Григорьевича Сафронова – саратовского торговца, владельца бакалейной лавочки на Большой Горной. В то время неподалёку от них жил Василий Петрович Осипов – молодой приказчик, служивший в торговом доме Андрея Бендера. Был Василий Петрович не только молод, но и красив, с маленькими подкрученными усиками и аккуратным пробором в волосах. Одевался с лоском, как и было положено служащим солидной фирмы. Был способным

работником, чрезвычайно обходительным с покупателями, – других А. Бендер не держал и платил таким жалованье 125 рублей в месяц – побольше инженерного.

Был в магазине Бендера такой случай. Как-то раз один грузинский князь, бывший в Саратове проездом, зашёл купить для традиционно-грузинского костюма хорошего чёрного сукна, которого в наличии в тот момент не было. Василий Петрович, однако, гостя без покупки не отпустил. Заняв его разными разговорами, он сумел вместо чёрного сукна продать ему белое. Так что очнулся князь уже с оплаченной покупкой и пошёл жаловаться хозяину. Но когда А. Бендер высказал намерение приказчика наказать, то князь, наоборот, стал его хвалить и покинул магазин с миром.

В 1912 году у супругов, Веры и Василия Петровича, родилась дочка Валя – первая сафроновская внучка, а в 1915 году – дочка Галина. Снимали Осиповы хорошую трёхкомнатную квартиру на Большой Сергиевской улице. Была это неплохая и самостоятельная семья, связи с сафроновским домом Осиповы не теряли, приезжали погостить летом и у себя дома принимали родню. Василий Петрович нравился главе семьи, который зятя ценил, прочил ему хорошее будущее, а может быть, втайне и видел его своим компаньоном.

Так же удачно на Досе, дочери местного промышленника Рогаткина, женился и старший сын Николай. Предполагалось, что он будет наследником главного пароходного дела отца. Поэтому Николай и не отселялся, помаленьку осваивал отцовские дела и продолжал жить с женою в одной из комнат нового дома. Как знать, может, со временем дошло бы дело до образования большого торгового и судопромышленного семейства и солидной родственной фирмы, повернись они, дела, по-другому.

В детские и молодые годы все сафроновские сыновья и дочери дружили с детьми немцев – деревенских хлебных агентов. Семьи у Вагнера, Фогеля и Шмидта были большие, и дети их разного возраста учились в деревенской школе, хорошо говорили по-русски, были почти обрусевшие. Там, в школе, и дружили.

Позднее один из немцев-парней даже стал сватать Тоню Сафронову. И хотя Тоня была согласна пойти за Ваню Фогеля, свадьба эта не состоялась – матери и с той, и с другой стороны дела этого не одобрили.

С богатыми кулугурами и у старших, и у детей отношения тоже были хорошими. В больших делах неплохие были бы они кредиторы. Недалеко от Сафроновых располагался двор кулугура Шишлова, а во дворе имелась отдельная молельня. Шишлов приглашал, и Тоня с Любочкой в эту молельню ходили. Кроме икон и старинных книг были в молельне специальные коврики для стояния на коленях, скамеечки с набивными матрасиками для лобного клада поклонов, а лестовки для отсчёта молитв Шишлов девчатам свои подарил.

Как большой праздник, ездили сёстры Сафроновы в Верхнюю Банновку, в православную церковь, а малый – так ходили к соседям-старообрядцам. Вот мать Раиса Васильевна, хоть и была богомольна,

но в «кулугурку» всё же не ходила. А молиться было о чём: наступали плохие времена.

ПРЕЛОМЛЕНИЕ ЖИЗНИ

Благополучная трудовая и полюбовная жизнь семьи Сафроновых – та, которая с покупкой «Вуоксы» сложилась в новом доме к 1914 году – всё чаще и чаще испытывала приближение смутного и тревожного времени. Начавшаяся Первая мировая война внесла и первые неустройки. Был призван в армию старший сын Николай. Через шесть месяцев в чине прапорщика-топографа после короткого пребывания дома он уехал на фронт. Спустя год приезжал на побывку и снова уехал. Ушёл на войну Надин жених Миша. Стало хуже с торговыми и промышленными делами, но по Волге переправлялось ещё много грузов, и заказы на перевозки продолжали давать доход. За два с половиной года войны цены возросли вдвое. Правда, семья Сафроновых нужды никакой не имела, большую часть необходимого для жизни Сафроновы получали своим давно отлаженным трудом.

Военные сводки, сообщения о политических страстях, столичные и городские волнения не сразу доходили до относительно благополучной Нижней Банновки и не находили в ней большого отзвука.

Наступление трудных времён Иван Прохорович почувствовал уже летом 1917 года. Потому и решил, что его «Вуокса» должна стать на зимнюю стоянку в Нижней Банновке. Капитан с женой стали снимать квартиру в деревне, матросы зимовали в пароходных каютах.

Когда свершилась Октябрьская революция, советская власть установилась в деревне не сразу. Лишь в самом конце января 1918 года в Нижней Банновке был создан сельсовет. В феврале он-то и конфисковал «Вуоксу», стоящую у берега против дома своего хозяина. В апреле настал такой день, когда «Вуокса» должна была уйти в Саратов. Команда с грустью прощалась со своим бывшим хозяином, капитан отдавал честь. Непрерывно подавая прощальные гудки, «Вуокса» отвалила от берега и, постепенно набирая ход, быстро скрылась за золотовским поворотом. Где-то в Самаре был конфискован и «Бойкий».

Оставшись без буксиров, Иван Прохорович правильно рассудил, что и лавочку ему надо ликвидировать побыстрее. Пораспродал он втридешева остатки товара, а на вырученные деньги купил новую лошадь – кобылу Рыжуху, пару быков, плуг, борону, веялку и ещё кое-какой инвентарь. Записался в сельсовете в крестьянское сословие и весной 1918 года получил паевой земельный надел от сельского общества. Крестьянский труд Сафроновым не был заказан, земли по числу душ им нарезали много, и три года получали они хорошие умоты, построили даже свою ригу (по-местному – «колосёнку»). Сохранялись у них и старые сады и огороды.

Вокруг нового хозяйства и относительно сытой жизни начала воссоздаваться старая большая семья. Приехали из Саратова – бежали от бескормицы и безработицы – Вера с мужем Василием Петровичем

и двумя детьми. Стали они работать у новых властей: муж устроился в каком-то деревенском кооперативе, а Вера стала «избачом» – заведующей библиотекой при народном доме. В 1920 году у них даже родился и третий ребёночек – сын Алёша.

Зимой 1919/1920 года, опираясь на палку-«подошок», из Грязнухи за 20 вёрст пешком после германского фронта, непродолжительной службы в Красной Армии и перенесённого тифа возвратился домой Николай. Измотанный болезнью и голодом, до крайности ослабевший, он долго отлёживался.

Вернулась из Саратова Тоня. Весной 1918 года закончила она в Саратове третий класс лучшей гимназии Куфельд, на углу Соборной и Царицынской. После закрытия гимназии продолжать образование в советской школе ей не разрешили, как дочери буржуя.

После окончания Камышинской гимназии в Нижней Банновке начала работать Маруся. Обстановка располагала ко всяким переменам, и Маруся на 1 мая вместе со школьниками, другими учительницами, с красными флагами ходила по деревне и пела: «Смело мы в бой пойдём...» Домашние не одобряли, но и не укоряли, дорожили семейным благополучием и покоем. Заработала она себе положительную характеристику и с осени 1920 года, скрыв своё непролетарское происхождение, начала заниматься в Саратовском мединституте. Отец хвастался перед соседями: «Дочь – студентка!»

Никуда не отлучалась и ждала своего Мишу Надя. Работала она телефонисткой на местной почте.

После окончания реального училища в 1918 году никуда не уезжал Вася. Донимала его прогрессирующая глухота, но лечиться было уже негде.

Жила дома и ходила в школу младшая Любочка. Начала было она учить Закон Божий, а осенью 1918 года этого предмета уже не было.

В доме жили 14 человек. Мужчины удачливо охотились и рыбачили, обеспечивая мясной и рыбный приварок. Женщины много шили на машинке «Зингер».

Крайние формы большевистской власти пока ещё не свирепствовали в Нижней Банновке, далёкой от фронтов, и всякие невзгоды того времени пока ещё не очень касались семьи Сафроновых.

Молодёжь даже ходила в народный дом, смотрела спектакли по пьесам Островского. Играла в них Тоня, а пела из-за кулис Надя. Вечерними буднями собиралась семья за ужином в столовой комнате. Сидели вокруг единственной лампы – сэкономили керосин. Может, и были у них мысли о примирении с новой властью. Большой семьёй легче было воспринимать новую жизнь, переносить горечь утрат, тревожные события, которые нет-нет да случались. Как-то раз заехали сюда на конях красные, убили деревенского пастуха у околицы – что-то «не то» он им крикнул. В другой раз поехал Иван Прохорович с дочерьми в поле убирать горох. Когда уже набили горохом полный «грядок» (телегу), налетели какие-то конные – не то красные, не то белые – и Рыжуху с собой увели. Любочка впервые в жизни по-бабьи плакала «в голос», а Иван Прохорович побрёл в деревню доставать другую лошадь. Тогда у многих лошадей позабирали.

В 1920–1921 годах в Камышинском уезде действовал один из отрядов антоновцев, их преследовали красные. И те, и другие часто заезжали в Нижнюю Банновку: сначала – антоновцы, потом – красные, потом снова – антоновцы. В этот последний раз мобилизовали они в свои отряды молодых парней. А ещё провели «выборы» нового деревенского комитета самоуправления. Ввели туда и Ивана Прохоровича, хотя ни его согласия на это, ни его самого в это время в деревне не было.

Потом антоновцы ушли, а через какое-то время по поволжским сёлам проехала на буксире красная карательная команда. В Нижней Банновке они стали ходить по дворам, брать богатых, а если кого не было дома, то арестовывали жён и сажали их в помещение бывшей лавки Сафроновых. Иван Прохорович был в это время в саду. Прибежал к нему сосед и сказал, что надо, мол, тебе спрятаться. А Иван Прохорович ему ответил: «Что же я спрячусь, а они Раю трепать будут».

Арестовали его, Вагнера, Шмидта и ещё человек семь. Увезли в Саратов и расстреляли.

В Царицыне был расстрелян сват, Иван Дмитриевич Рогаткин. Имел он там механическую мастерскую, был изобретателем-самоучкой и получил патент на рессору для конных экипажей.

Сосед Сафроновых, богач Шишлов, в садах спрятался. Через три дня он вернулся, когда красных в деревне уже не было. Быстро уехал с женой на Каму и тем спасся.

В соседнем селе Суворово арестовали компаньона Ивана Прохоровича по покупке «Бойкого», Минея Кондратьевича Кусморцева. Увезли их на одном буксире, а когда везли арестованных в Саратов, то в дороге, как видно, расстреливали. Так это было или иначе, но только через несколько дней тело Минея Кондратьевича прибило к его саду, который был расположен повыше Нижней Банновки. Это была судьба такая, что племянник его оказался на этом месте и, как часто это было принято, стал отпихивать тело багром, чтобы плыло дальше. Раз отпихнул, и два, и три, а тело всё равно к берегу прибывает. Удивились люди, догадались перевернуть лицом вверх, достали из кармана документы, увидели, что свой это земляк. Похоронили на деревенском кладбище по православному чину. Было всё это в 1921 году.

А когда умер и где похоронен Иван Прохорович – никто не знал. Ни денег, ни золота он после себя не оставил – весь капитал его был в пароходном деле да в покупке крестьянского инвентаря. Семья была убита горем, запугана, и другого главы у неё не оказалось.

1921 год был голодным, урожая в поле не было почти никакого. Редкие всходы пшеницы на делянке у Сафроновых выросли всего 5 сантиметров высотой – ни серпом, ни косой убирать их было нельзя. Рвали руками и раздирали ладони до крови.

В это время в стране был введён НЭП. Вера с мужем и детьми поспешили вернуться в Саратов, где Василий Петрович нашёл работу в магазине. Вася после смерти отца вскоре женился на деревенской фельдшернице и стал жить отдельно.

В начале 1922 года из Красной Армии возвратился Миша Говорухин. Три года воевал с немцами, потом – с белыми, остался цел и стал большевиком. Надя к тому времени ждала его почти семь лет. Как пришёл Миша, сели они с Надей за стол, попили чаю с пареной тыквой, встали и пошли в сельсовет регистрироваться. Тоже стали жить отдельно. Мать сокрушалась: «Да нешто можно без венца!..», но Надя была уже комсомолкой, «буржуйские» золотые кольца и серьги с себя снимала, подарила их младшей сестре Любочке. А вскоре по комсомольской путёвке уехала в Камышин на курсы медсестёр.

В родительском доме кроме матери оставались Тоня и Любочка, Николай с семьёй.

Весной 1926 года на Волге был такой сильный разлив, что вода зашла на подворье Сафроновых, смыла фундамент дома. Через двор ходили по доскам. В недалёком селе Грязнуха нашли покупателя и продали большой дом, частично обменяли на муку и пшено. На вырученные деньги Николай купил себе моторную лодку, начал заниматься извозом, а жить переехал в бывший дом Кусморцева. Остаток денег разделил между матерью и сёстрами.

Остальные члены семьи поселились в бывшей сафроновской лавке. Пробыли три дополнительных окна, поставили русскую печь. В двух комнатах разместились мать, Тоня и Люба. В хлеву осталась корова и кое-какая мелкая скотина, в оврагах – сады и огороды.

Впрочем, недолго существовало и это маленькое хозяйство. Маруся в Саратове занимала отдельную комнату на Большой Сергиевской улице, в бывшем доме Гафурова, техника-строителя Управления РУЖД и старинного приятеля отца, забрала к себе Любу, устроила её в школу-девятилетку для взрослых. Уехала из деревни искать свою судьбу и Тоня.

Большая сафроновская семья под ударами советской власти и новой жизни распалась. Погиб глава семьи, не было прежнего дома, перестали давать Сафроновым земельный надел. Лишь родная в прежние времена «Вуокса», ставшая теперь чужой и печальной, иногда молча пробегала мимо деревни, надрывая душу, будя горечь воспоминаний. И те из Сафроновых, которые остались жить на берегах Волги, так и следили за ней вплоть до середины семидесятых годов, когда она отслужила свой срок и была списана.

Летом 1927 года Люба приезжала к матери. Была Раиса Васильевна когда-то сердцем большой семьи, а теперь жила одиноко на старом подворье. Мать и дочь ходили в старый, ещё прадедов сад, вздыхали. Раиса Васильевна сказала дочери: «Как жить-то тоскливо стало, Люба. Не слышно твоего смеха, твоего разговора. Вот и корову Коле с Досей отдала, а ведь она тоже как родная. Соседи теперь мне молоко носят».

Разговаривала мать, как всегда, простым деревенским языком. В 1929 году Люба вышла замуж за Евгения Петровича Шалаева, стала ожидать своего первенца. Жили они с мужем в прежней Марусиной комнате в том же доме № 192 по Чернышевской улице.

Весной того же года в Нижней Банновке и в соседних сёлах, как и везде, началось раскулачивание. Забирали многих, громили безо всякого разбора. Слава Богу, Николай был в отъезде – зимовал в Нижнем Новгороде – и таким образом спасся от ареста. В его отсутствие власти решили раскулачить жену Досю и троих детей. На первый раз соседка ночью переоделась мужчиной, пришла, предупредила. Дося тут же пошла прятать вещи: что-то закопала на горе, что-то – в песке на берегу. Так что многим у неё не поживились. В чулане висели у неё две тушки баранчиков. Сын Алёша стал просить: «Оставьте хоть одного». Оставить оставили, но пришли ещё через две недели и утаённое было ранее добро конфисковали. Николай бросил свою моторку в Нижнем Новгороде и уехал в Дербент, где у него были хорошие знакомые. Сразу же вызвал семью туда.

Как сына расстрелянного врага народа, арестовали Васю, увезли в село Золотое и там два месяца держали в церкви на каменном полу. А когда отпустили, семья тотчас же уехала в Пугачёв.

Теперь мать осталась совсем одна. Сколько раз она и все Сафроновы благодарили судьбу за то, что продали свой большой и богатый дом. Не то быть бы им раскулаченными по первому разряду, то есть с выселением и высылкой. А тогда у властей, видно, транспорта не было вывозить людей и арестованных. А потому при раскулачивании просто тащили всё подряд: зеркала, перины, полушубки, сводили со двора скотину.

Как-то раз начали раскулачивать семью через двор от дома Сафроновых. И видела Раиса Васильевна, как жестоко расправляются с простыми селянами, многолетними добрыми соседями, как обижают детей. А к тому времени была она уже сердечница. Как вернулась к себе в дом, так и слегла. Дося её к себе увезла, Васина жена приходила делать уколы. Но нет, умерла через два дня.

Все дети её в ту пору жили в дальних местах, и к больной матери поспешила Тоня, шла двадцать вёрст пешком. После похорон раздала она вещи материным крестницам, а таких было восемь. Написала заявление о сдаче дома и надворных построек в колхоз, собрала последние вещички в узелок и с узелком ушла из деревни навсегда. А скоро уехали и семьи Николая и Васи. Больше из Сафроновых там не был никто и никогда.

В память о матери привезла Тоня своим сёстрам по юбке.

А секретарь сельсовета, с учётом добровольной сдачи дома, написал Тоне справку о том, что она чуть ли не беднячка. С этой справкой смогла она устроиться рабочей на сельскохозяйственную опытную станцию на окраине Саратова.

Спустя год соседи из деревни прислали Любочке материну швейную машинку «Зингер» – почли за грех её у себя оставлять.

Редко-редко из Нижней Банновки слухи кое-какие доходили. Вот, например, однажды сказали Любочке, что легковые сани от бывшей сафроновской лошади до сих пор стоят в амбаре – никто их никак не заберёт. В другой раз было сообщение, что нижний малый сад Сафроновых деревенское начальство облюбовало для отдыха: спят в каютах, варят уху на берегу. В 50-х годах слышно было, что цел и плодо-

носит верхний сафроновский сад «Белый ключ». Кое-что было слышно и об односельчанах: сына Филаретовых выгнали из Казанского университета, Шишлова в Перми разоблачили и уволили из директоров «Лесосплава», дочь Филаретовых и дочь Кудряшовых сбежали из деревни и скрылись у Тони Сафроновой. Фогелей выселили в далёкое Заволжье, на казахские земли.

Последней из Сафроновых, кто издали попрощался с Нижней Банновкой, была младшая, Любочка. Году в 1965-м, когда уже многие селения затопило Волгоградское водохранилище, ехала она вместе с мужем Евгением Григорьевичем по Волге на пароходе и видела: нет береговой части деревни, их подворья, нижнего сада и огородов – они затоплены. Стоит у берега один маленький понтон, а на будке написано «Нижняя Банновка». И не осталось ничего от прежней богатой волжской деревни, от кипевшей здесь некогда жизни. Нет ни пристаней, ни плотов, ни лесных складов и лесопилок, ни хлебных лабазов, ни барж и дощаников. Только редкие лодчонки на берегу.

И нет уж тех людей, которые были уведены, или изгнаны, или сами ушли отсюда вместе со своим вековым народным опытом и хозяйственным потенциалом, семейными традициями и установлениями, которыми обладал истинно русский человек Иван Прохорович Сафронов и его предки и которыми бы в полной мере могли владеть его сыновья.

Так случилось, что сыновьям Ивана Прохоровича не дано было продолжить род Сафроновых, старинный и деловой. Разделённые на отдельные семьи, дети и внуки Ивана Прохоровича и Раисы Васильевны, приспособившись к новым условиям жизни и не теряя связи друг с другом, почти все благополучно дожили до степенных лет.

Воспитали и дали высшее образование троим детям Вера и Василий Петрович. Дружно, скромно и счастливо жили в Энгельсе Надя и Миша Говорухины, стал заслуженным экономистом и воспитал троих детей Николай. В качестве военного хирурга прошла всю Великую Отечественную войну Маруся. За многолетнюю работу в системе «Заготзерно» в Пугачёве был награждён орденом Ленина Вася. Стала военным хирургом и всю войну проработала в госпиталях Тоня. Трое внуков Сафроновых участвовали в Великой Отечественной войне. Среди детей, внуков, зятьёв и снох Сафроновых было много медицинских работников, общий рабочий стаж которых составил 530 лет.

А в Саратове в 1998 году в окружении детей и внуков всё ещё здравствовала Любовь Ивановна Шалаева (Сафронова), которая и рассказала вышеприведённую историю, храня свои воспоминания о том далёком, большом и родном доме над Волгой, как одну из самых светлых страниц своей жизни.



СЛОВО И ТАЙНА

В 1937 году, в третьем номере альманаха «Литературный Саратов», который вышел как раз к столетию со дня смерти А. С. Пушкина, были напечатаны два произведения Д. М. Борисова: повесть «Камер-юнкер» и рассказ «Пушкин у Гоголя».

Можно сказать, это были лучшие публикации довоенного «Литературного Саратова», да и автора – члена редколлегии альманаха, известного саратовского журналиста и писателя Дмитрия Михайловича Борисова (1883–1948).

В марте 1935 года Д. М. Борисов составил список своих литературных трудов (хранится в библиографическом отделе НБ СГУ), который и сейчас поражает воображение читателей. В нём отразилась целая эпоха – от революции 1905–1907 гг. и до гражданской войны, «колхозного разворота». В государственном издательстве вышли сборник рассказов Д. Борисова «Голгофа» (1922), пьесы «Великий предтеча. Трагедия преobraжений» (1922), «Пленённые души» (1922). Всё это теперь библиографические редкости.

На новый уровень поднимается мастерство Д. Борисова в рассказах 1936–1937 гг., опубликованных в альманахе «Литературный Саратов». Автор стремится раскрыть образ времени с точки зрения простого человека, словами своих героев. И сейчас с большим интересом читаются рассказы «Перед лицом смерти», «Место под солнцем» (из записок итальянского художника).

Но, несомненно, самым показательным, характерным «борисовским» (и, как оказалось, вершинным, итоговым) предстаёт рассказ «Пушкин у Гоголя». В нём художественно, глубинно отразились «конвенция времени» («пушкинский» 1937 год) и традиции классического русского рассказа, история и современность, грани биографий и мифа, слово и тайна...

А. И. Ванюков,
доктор филологических наук

**Дмитрий
БОРИСОВ**

ПУШКИН У ГОГОЛЯ

В тот год в Петербурге зима наступила рано: уже в ноябре снег толстыми слоями покрывал улицы; свирепствовали метели и морозы, и Нева была скована надёжным льдом. Но в начале декабря неожиданно началась оттепель, и город плавал и задыхался в густых серых туманах. Ночи были особенно неприглядные – тёмные, ненастные, чреватые насморками, флюсами и лихорадками.

Гоголь был болен и уже несколько дней не выходил из дома. Он чувствовал озноб и боль в каждой клеточке тела, кутался в длинный шерстяной халат и ходил по комнате, пытаясь согреться. Болезнь отвлекала его от литературного труда, но он боролся с нею и нередко, находясь в лихорадочном состоянии, садился за стол и старался забыть в работе.

В то время Гоголь был молод. Творческие силы кипели в нём; он писал много, писал упорно, писал вдохновенно. Вслед за историей украинского народа, над которой работал в продолжение трёх лет, он намеревался написать многотомную «Всеобщую историю». В уме его зарождалось немало образов и сюжетов новых повестей и комедий.

Вышедшие в свет его сборники «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород» имели огромный успех, их читали с восторгом, читали запоем. Имя необыкновенного пасечника Рудого Панька было у всех на устах. И сам он, подобно пасечнику, был подчас весел, любил пошутить и побалагурить с друзьями. Говорил он с украинским акцентом, немного ударяя на «о», носил длинные волосы, остриженные в скобку. Не прочь был хорошо одеться и щегольнуть. Впрочем, наряд его носил несколько фантастический оттенок. Он надевал обыкновенно ярко-пёстрый

-
- Дмитрий Михайлович Борисов (1880–1948) – известный саратовский журналист, прозаик и драматург. С 1900-х годов активно сотрудничал с газетами и журналами «Приволжский край», «Наш голос», «Отклики», «Саратовский вестник» и др. В газетах печатался под псевдонимами Д. Солнцев, Д. Ощекин, Б. Д. или Б-в и др. Автор сборника рассказов «Голгофа» (1922). В 1935 году – литературный консультант при Саратовском отделении Союза писателей, в 1936–1937 гг. – член редколлегии альманаха «Литературный Саратов».

галстук и зелёный сюртук с широкими фалдами, с высокой талией и буфами на плечах.

Странностей и чудачеств за ним водилось немало. В числе этих странностей было много своеобразных взглядов на всё то, что тогдашнее общество признавало для себя законом. Он игнорировал установленные обычаи и догмы. (...) Подобные чудачества сохранились у него и в зрелом возрасте. Он любил присочинить о себе что-нибудь маловероятное. Нередко, будучи здоровым, он притворялся больным и уверял своих друзей, что болезнь его неизлечимая, так как желудок его находится вверх ногами. Даже себя он не прочь был иногда ослепить своим вымыслом. Он сочинил поэтический дифирамб своему гению и повторял его как молитву перед тем, как садиться за работу, прося у него вдохновения.

В минуты откровенности Гоголь сознавался, что имеет в себе множество отрицательных черт и мелких пороков, которыми наделяет своих героев, осмеивая свои недостатки в других.

Единственным, перед кем он не кривил душою, кого боготворил и любил всю жизнь, был Пушкин. Ещё находясь на школьной скамье, Гоголь украдкой разучивал наизусть творения Пушкина и тщательно переписывал на лучшей бумаге, с собственными рисунками, выходившие в то время на свет поэмы «Цыгане», «Полтава», «Братья-разбойники» и главы из «Евгения Онегина».

Впоследствии, будучи автором «Вечеров...», он встретился и познакомился с гениальным поэтом. И знакомство с ним вскоре перешло в дружбу. Гоголь читал Пушкину все свои произведения и ничего не предпринимал без его совета. Ни одно произведение, как он признался потом, не писалось им без того, чтобы он не воображал перед собой Пушкина: «Что скажет он, что заметит он, чему посмеётся, чему изречёт неразрушимое и вечное одобрение своё».

В погожее солнечное утро Гоголь проснулся, ощутив в себе прилив необыкновенной силы. Казалось, он никогда ещё не чувствовал себя таким сильным. Он ощупывал своё тело, начал кашлять, но и кашель был свободный, безболезненный. Кашлял он, впрочем, только затем, чтобы убедиться, что он в самом деле теперь силён и здоров. Он радовался и в то же время как будто сожалел, что болезнь так неожиданно и вдруг покинула его. Он расправил и вытянул руки, проделал несколько гимнастических упражнений и не почувствовал усталости. «Здоров! Здоров!» – воскликнул он, сделав несколько смешных прыжков по комнате. Остановился от острого ощущения голода и вспомнил, что за весь вчерашний день ничего не ел. Он заставил камердинера и повара Якима сварить любимые галушки, а сам стал готовить козье молоко по особому способу, прибавляя в него рому. Эту стряпню, к великому удовольствию Якима, он называл «гоголем-моголем» и, принимаясь за еду, обыкновенно говорил: «Гоголь любит гоголь-моголь».

В это утро после обильного завтрака Гоголь весело расхаживал по комнате в цветном фраке с длинными фалдами. На лице

его сияла улыбка, руки он то прятал в карманы широких коричневых брюк, то запускал их в свой тупей*. При этом он посвистывал и напевал песенку из «Сорочинской ярмарки»:

*Зелёнькый барвиночку,
Стелися низенько!
А ты, милый, чернобрывый,
Присунься близенько!*

Оглянувшись на дверь и не заметив Якима, Гоголь топнул ногой и, подперши руками бока, пустился в пляс, припевая:

*Зелёнькый барвиночку,
Стелися ще низче!
А ты, милый, чернобрывый,
Присунься ще ближче!*

В дверях стоял Яким и, весь сотрясаясь, давился от смеха. Гоголь остановился перед ним и, сделав на лице уморительную гримасу, сказал с неподражаемым юмором:

– Цур тобі, сатанинско наваждение!

Яким не сдержался и громко захохотал, схватившись за живот.

Некоторое время Гоголь смотрел на хохочущего Якима, потом повернулся и сделался вдруг серьёзным и сосредоточенным. Он приказал Якиме не мешать ему и, усевшись за стол, стал приводить в порядок рукописи по «Истории украинского народа».

Он собрал все рукописи, все черновые наброски «Истории» в кучу и некоторое время держал на весу, как бы определяя объём написанного. «Тома два, а то и три будет...» – подумал он, самодовольно улыбаясь.

Некоторое время Гоголь старался сосредоточиться и продолжать «Историю», но в голову лезла всякая чертовщина. Перед его мысленным взором выплывали образы комедийных героев, двигалась сцена, шумели аплодисменты, высовывались всякие рожи из лож, из райка и скалили зубы... Он старался отогнать от себя эти видения, но ничто не помогало. Тогда со вздохом он отложил страницы «Истории» и достал черновые наброски комедии – «Владимир третьей степени».

Гоголь просмотрел несколько готовых сценок, но остался ими недоволен и схватился за голову, шевеля губами:

– Не то, не то... Нужны более сильные выражения... более яркие слова. Но вот беда – как быть с цензурой?

Он сознавал, что в комедии и так уже есть немало таких мест, которые цензура ни за что не пропустит. «А что получится из того, если комедия не будет играть? Ведь пьеса живёт только на сцене. Без неё она как душа без тела».

Он вскочил и нервными шагами прошёлся по комнате. Лицо его исказилось судорогой отчаянья.

* старинная мужская причёска

– Мне ничего не остаётся, как выдумать сюжет самый невинный, – вздохнул Гоголь. – Да, выдумать сюжет, на который даже квартальный не мог бы обидеться. Но что это будет за комедия без правды и злости? Нет, к чёрту такой сюжет! Но что же делать?

Он вспомнил о Пушкине. Надо пойти к нему, посоветоваться с ним, как скажет он – так тому и быть.

Гоголь тщательно привёл в порядок свой костюм, подвязал лучший цветной галстук и, держа перед собой небольшое зеркальце, причесал и напоядил голову. Затем он собрал все наброски комедии, сунул их в карман и направился к выходу; но тут вдруг почувствовал неожиданный приступ лихорадки. По всему его телу разлились слабость и боль, сердце сильно забилося, на лбу выступил холодный пот. Он с трудом добрался до постели и закутался в одеяло...

Была ночь. Гоголь лежал на спине с закинутыми за голову руками. Озноб охватывал его тело, в горле ощущалась боль, словно кто колот раскалёнными булавами.

За окном пронёсся ветер, и слышно было, как крупные капли дождя падали на звонкую мостовую.

Гоголь думал о Пушкине. Вспомнились ему рассказы друзей, Данилевского и Погодина. Они говорили, что Пушкин в последнее время совсем мало занят творческой работой, что он больше бывает со своей красавицей-женой на балах, играет в карты, запутался в долгах.

Гоголь не поверил всему, что рассказывали ему друзья, но всё же их слова о Пушкине произвели на него гнетущее впечатление. Сам он Пушкина не видел давно. Он был у него, когда поэт только что вернулся из длительной поездки. Он прочёл тогда Пушкину небольшую драматическую сцену, которая, однако же, поразила поэта больше всего читанного им прежде.

Пушкин сказал ему: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего как живо-го не приняться за большое сочинение? Это просто грех!» При этом Пушкин сослался на Сервантеса, сказав, что хотя Сервантес и написал множество занимательных небольших повестей, но стал известным писателем только тогда, когда выпустил в свет «Дон Кихота».

Гоголь, слушая Пушкина, не заметил сразу, как вошла Наталья Николаевна. Она была высока ростом, с необыкновенно тонкой талией, с роскошно развитыми плечами и грудью. Гоголь был представлен ей, но она скользнула по нему холодным, высокомерным взглядом и заговорила с мужем о каких-то домашних делах. Гоголь поднялся, неловко раскланялся и ушёл, испытывая досаду на жену поэта, прервавшую их беседу.

И теперь, вспоминая слова Данилевского и Погодина, Гоголь представлял, что Пушкин сбился с пути и несёт его ничтожная верхушка света, отравляют бесшабашные балы, проклятая роскошь. Гнусный воздух, которым поэт дышит вместе с царедворцами, чиновниками всяких рангов, гибелен для него, он должен бежать от этого смрада как от чумы.

Тревога и страх за любимого поэта сжали сердце Гоголя. Он впал в бессознательное состояние и в горячечном бреде видел себя в разных видах и положениях. Перед его глазами мелькали фантастические картины из написанных им и задуманных повестей. Вот перед ним развернулся город, залитый бесчисленными огнями. Он пролетал над городом, подобно кузнецу Вакуле в «Ночи перед Рождеством». Внизу громоздились четырёхэтажные дома, слышались стук конских копыт и грохот колёс. «Дома росли и будто поднимались из земли на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики и форейторы кричали». Вдруг неожиданно для себя он увидел на перекрёстке улицы человека с бакенбардами, в лёгком плаще и мягкой шляпе. Он сразу же узнал в нём Пушкина, но Пушкина мятущегося, спасающегося от какой-то погони. Одновременно выплыли, словно из тумана, отвратительные хари, свиные морды, замелькали генеральские мундиры, эполеты, мантии, разноцветные ленты, светло-бронзовые фраки; тут же были и женщины с распущенными волосами, с дико сверкающими глазами.

И вся эта многоликая и разношёрстная орда со всех сторон наступала на поэта, а он метался, размахивая руками, но кольцо врагов всё более и более суживалось вокруг него... Гоголь очнулся, зажав рукою нестерпимо колотившееся сердце. За перегородкой слышалось сонное дыхание камердинера Якима, а за окном по-прежнему гудел ветер и звонкие капли дождя падали, как тяжёлые редкие слёзы.

В это время Гоголю ясно послышались шаги на крыльце и стук в дверь. Он поднялся, сел на постели и сжал растопыренными пальцами пылающую голову. Стук повторился, но Гоголь сидел, не двигаясь, и слышал, как камердинер Яким зашаркал туфлями к двери.

В настороженной тишине послышался чей-то бодро звучащий голос: «Якимушка, что, дома?» И ответ Якима: «Дома, дома, батюшка-барин!»

Гоголь недоумевал: кто бы это мог быть? Кто пришёл к нему так поздно и в такую непогоду? Голос был знаком, страшно знаком, но он всё же не мог тотчас узнать гостя по голосу.

Гоголь не успел как следует привести себя в порядок, как в комнату быстро вошёл человек с кудрявыми волосами, на ходу сбрасывая с себя бекешу на руки растерянного и улыбающегося Якима.

– Пушкин! – воскликнул ошеломлённый Гоголь.

Однако он скоро пришёл в себя и приветливо закивал гостю.

Пушкин протянул Гоголю обе руки, крепко пожал его руку и внимательно заглянул в лицо.

– Вы больны, Гоголь? Вижу, что больны, а я пришёл прочитать вам свою поэму «Медный всадник».

– «Медный всадник»? – затрепетал Гоголь. – «Медный всадник»? – повторил он вне себя от радости. – Непостижимо! Замечательно!

<...>О «Медном всаднике» Гоголь уже слышал от своих литературных друзей; вкратце даже передавали ему содержание поэмы; одни называли поэму нелепой и порицали за неё Пушкина, другие восторгались и хвалили, и он из всех отрицательных и хвалебных отзывов

составил себе мнение, что поэма необыкновенна, поэма о Петербурге, о котором сказано:

*Богатырь его построил,
Топь костями забутил.*

Он сам одно время собирался написать о Петербурге что-то вроде повести или поэмы, читал всё, что попадалось ему о прошлом Петербурга, и мрачные страницы летописей времён Петра Первого производили на него потрясающее впечатление.

Всё это молниеносно промелькнуло в сознании Гоголя, сам же он продолжал суетиться и улыбаться Пушкину.

– Читайте, Александр Сергеевич, читайте! – повторял Гоголь, по привычке потирая зябнувшие руки.

Пушкин пододвинул к столу старое кожаное кресло, уселся в него и вынул из бокового кармана синего сюртука рукопись. Гоголь смотрел на Пушкина с особенным любованием, словно хотел навсегда вобрать в себя дорогие черты. Бледно-темноватое лицо Пушкина было окаймлено слегка поседевшими бакенбардами. В лице было что-то необыкновенное: нос несколько приплюснутый, губы очень красные и широкие, а обнаруженные весёлой улыбкой зубы – белизны необыкновенной. Помимо бак Пушкин носил соединяющую их пониже подбородка узкую полосу волос, точь-в-точь как поэт Мицкевич.

Пушкин приступил к чтению. Первые строфы поэмы он декламировал наизусть, слегка откинув свою кудрявую голову. Голос у него был певучий, мелодичный, и читал он с воодушевлением, как, может быть, не читал давно.

Гоголь сидел против Пушкина затаив дыхание. Начало поэмы очаровало его монументальностью образов, музыкальностью стихов. «Всё зернисто, крупно, как сам жемчуг, что ни звук, то подарок», – мысленно одобрял Гоголь, но уже через минуту-две лицо его побледнело и вытянулось.

Перед ним встала ужасающая картина наводнения. Гоголь видел разъярённую Неву; она всю ночь бушевала и «рвалась к морю против бури». С наступлением дня, когда «теснился кучами народ», Нева, преграждённая силою ветра от залива, «обратно шла, гневна, бурлива, и затопляла острова».

Менялись картины. Строфы поэмы звучали как звон металла; от них веяло холодом и жаром, они вонзались в мозг как калёные стрелы.

*Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Всё побежало. Всё вокруг
Вдруг опустело...*

Гоголь дрогнул, и тихий стон вырвался из его груди. Пушкин на мгновение остановился, испытующе посмотрел на него и, видимо, довольный производимым впечатлением, продолжал чтение:

*Осада! приступ! Злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стёкла бьют кормой.*

«Какие слова, какие выражения, – думал Гоголь, – огни, а не слова вылетают из его уст, как от древних пророков. Но какой смысл в них? Да уж наводнение ли это? Не другое ли что скрывается под видом наводнения? Не бунт ли это? Не восстание ли?»

Гоголь вскочил, нервно пробежал по комнате и снова сел, впиваясь глазами в Пушкина. Никогда ещё ни одно произведение так не захватывало его. Болезнь обострила его природную впечатлительность, и поэтому каждый образ, каждое слово в поэме действовали на него с особенной силой.

До болезненности ярко представилась ему затопленная площадь, вставал резко очерченный дом, «где над возвышенным крыльцом», как призраки апокалипсиса, стояли «два льва сторожевые» и где «на звере мраморном верхом» сидел, скрестив руки на груди, недвижимый, страшно бледный Евгений. Он смотрел туда, где бушевала и выла буря, где находились они – вдова и её дочь Параша. Параша – его мечта, его любовь. Возможно, они погибли в грохоте бури и в волнах разлива, и велико, безмерно его горе...

Глубокая, ни с чем не сравнимая жалость к Евгению захлестнула сердце Гоголя. Евгений – близкий, родной ему человек, он так напоминает героев его повестей. Но какое дело до Евгения тому, «чьей волей роковой над морем город основался?»

Видение «Медного всадника» в грозе и буре было ужасно.

*И прямо в тёмной вышине,
Над ограждённою скалою
Кумир с простёртою рукою
Сидел на бронзовом коне.*

«Вот они – два полюса, два мира, – думал Гоголь. – С одной стороны – властитель полумира, полубог, с другой – Евгений. Чем кончится их борьба, их поединок?»

Гоголь, казалось, весь ушёл в себя и не слышал, что читал ему Пушкин, но он быстро очнулся, и новые звенящие строфы врезались в его мозг:

*О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?*

Гоголь вспомнил, что «дыбой» называлось орудие пытки, на котором в царских казематах и застенках нещадно били кнутом, били до потери сознания, били до смерти... Петербург, построенный Петром, представлял дыбу, вся Россия была вздёрнута на дыбы. «Дерзкая поэма! Поразительная поэма! Пушкин в этой поэме, – думал Гоголь, – превзошёл самого себя, все его прежние произведения,

за которые он неоднократно подвергался опале, бледнеют перед этой поэмой».

*Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошёл
И взоры дикие навёл
На лик державца полумира.
Стеснилась грудь его. Чело
К решётке холодной прилегло,
Глаза подёрнулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой чёрной,
«Добро, строитель чудотворный! –
Шепнул он, злобно задрожав. –
Ужо тебе!..»*

Последние стихи встали в глазах Гоголя, как начертанные в воздухе буквы, явившиеся на пиру царя Валтасара. Гоголь вскрикнул и взмахнул руками. От взмаха рук его мгновенно потухло пламя свечи, и комната погрузилась в темноту.

Пушкин чиркнул спичкой и зажгёт свечу. Гоголь, сжавшись, совсем ушёл в кресло, и лицо его походило на восковую маску.

– Николай Васильевич, что с вами? – воскликнул удивлённый Пушкин, вглядываясь в него.

– Ничего, ничего... только немного страшно! – прошептал Гоголь.

Пушкин захохотал, как только мог хохотать он один. От его громкого заразительного смеха, казалось, всё запрыгало и засверкало, повеселела как будто и сама убогая комнатка, похожая на монастырскую келью.

Гоголь успокоился и подумал: «Как он смеётся, так может смеяться только ребёнок или человек незлобивый, души необыкновенной». Он сам теперь, глядя на Пушкина, улыбался и просил закончить чтение.

Пушкин поднял упавшую со стола рукопись и продолжил чтение:

*...И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...*

Гоголь почувствовал, как нервный холодок острыми иглами пробежал по телу. И он повторял судорожно вздрагивающими губами: «Лицо тихонько обращалось...», и в то же время видел перед собой пустую площадь и по ней бегущего Евгения, который слышит за собой:

*Как будто грома грохотанье –
Тяжёло-звонкое скаканье
По потрясённой мостовой.
И, озарён луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несётся Всадник Медный
На звонко скачущем коне...*

Гоголь глубоко вздохнул и стёр платком капельки пота на лбу. Всё стало ясно ему: победил властелин полумира. Евгений погиб в страшном поединке. Трогательно прозвучали заключительные слова поэмы о печальном конце Евгения:

*...хладный труп его
Похоронили ради бога.*

Гоголь, уронив голову на стол, рыдал как ребёнок. Пушкин его успокаивал:

– Ну что вы, Николай Васильевич, полноте, успокойтесь. Вижу, вы серьёзно больны.. У вас совсем развинтились нервы. Лечиться вам надо...

Гоголь, казалось, не слышал, что говорил Пушкин; некоторое время он находился как бы в забытьи, затем медленно поднялся, вытер платком слёзы и посмотрел на Пушкина глубоким, проникновенным взглядом и сказал чуть слышно:

– Я восхищён, Александр Сергеевич! Восхищён восхищён, – повторил он с улыбкой. – Гениально! Вы великий чародей, но... ваша поэма страшная... в ней бунт!

Пушкин, довольный таким замечанием, широко улыбнулся, выставив два ряда ослепительно белых зубов, но не проронил ни слова.

А Гоголь, продолжая стоять перед ним в напряжённой позе, продолжал:

– Ваш Пётр, властелин и полубог, является носителем злой, враждебной человеку силы. Вы бога соединили с дьяволом. В этом великое дерзание, в этом суть вашей поэмы. Ваш Евгений бросает вызов в лицо властелину мира и полубога. Евгений гибнет в неравной схватке, но... – Гоголь запнулся и посмотрел на Пушкина испуганными глазами. – Вы, мне кажется, многое утаили, не досказали, что хотели...

Пушкин порывисто бросился к Гоголю и заключил его в объятия.

– Какой вы прозорливец, Гоголь! – вскричал Пушкин. – Вы видите больше, чем все мои критики!

Гоголь не ожидал, что его слова произведут такое впечатление на Пушкина и впоследствии дивился этому немало. Никогда – ни раньше, ни после – Гоголь не видел таким Пушкина, как в эту незабываемую минуту. Пушкин был прекрасен, как олимпийский бог. Голубые глаза его потемнели, стали совсем чёрными, в них горел огонь и отражалась вся бездна чувств, мыслей и настроений.

– Вы правы, Николай Васильевич, – заговорил Пушкин. – Я многое утаил и не досказал в своей поэме. Я далеко не выполнил моего

замысла, но и в таком виде поэма вызвала со стороны моего цензора – царя – неодобрение.

Пушкин вздохнул и сделался вдруг грустным:

– Я должен был бы написать третью часть...

– И что в ней изобразили бы? – спросил Гоголь, затаив дыхание.

Пушкин ответил не сразу. Он внимательным, сосредоточенным взглядом посмотрел на Гоголя и наконец сказал:

– В ней я изобразил бы катастрофу... гибель властелина полумира. И освобождённый народ... Но эту третью часть я, вероятно, никогда не закончу...

(...) Гоголю долго потом мерещилось вдохновлённое лицо Пушкина с дивно-прекрасными глазами. Взгляд Пушкина как бы пронзал пространство. И вдруг необыкновенная улыбка заиграла на его лице. Словно увидел он озарённые солнечным светом дали и новую прекрасную жизнь на земле. В этот миг он словно вытянулся, стал выше, и правая рука его сделала в воздухе широкий приветственный жест.

И с тою же непередаваемой светлой улыбкой Пушкин ласково похлопал Гоголя по плечу и одобрительно сказал:

– До свидания, Гоголь, завтра пришлю тебе врача.

В дверях он остановился и добавил:

– К следующему разу приготовь своё... Приду слушать. Пиши только, не ленись!

Гоголь некоторое время стоял глубоко взволнованный и поражённый. Образы поэмы, острые и беспокойные, кружились в его мозгу, в ушах ещё звучал чарующий голос, звенели огненные стихи; но вот он упал на колени, и глаза у него расширились и загорелись. Словно в бреду, простирая руки вверх, он обратился к своему гению. Чудно и многозначительно звучали произносимые им слова:

«О, я не знаю, как называть тебя, мой гений! Ты, от колыбели ещё пролетающий со своими гармоническими песнями мимо ушей моих, такие чудные, необъяснимые донныне зарождавший во мне думы, такие необъятные и упоительные мечты! О, взгляни! Не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой! Я совершу... Я совершу... Я дам миру такие же прекрасные произведения, как и Пушкин. Жизнь кипит во мне! Труды мои будут вдохновенны. Я совершу!»

И было велико очарование слов этого поэтического дифирамба, произносимого с глубокой убеждённостью. Гоголю казалось, что должно было снизойти вдохновение, и оно сходило. В голове вспыхивали и проносились как молнии мысли, тело оплеталось волной неизъяснимого трепета. Гоголь поспешно сел за стол и взялся за перо. Дрожащей рукой он быстро исписывал лист за листом. А перед глазами его стоял светлый, чарующий образ Пушкина, поощряющего его непередаваемой улыбкой и словами: «Пиши, пиши, Гоголь, не ленись!»

Предисловие и публикация
А. И. Ванюкова



**Михаил
КАРИШНЕВ-ЛУБОЦКИЙ**

Окончание.
Начало в номере 5–6 2014 года

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОРСА И КРЮШОНА

(журнальный вариант)

ПОВЕСТЬ-СКАЗКА

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

В тот день Кекс проснулся в плохом настроении. Всю ночь ему снился цирк, битком набитый зрителями. Почему-то эти двуногие умники заставляли его решать дурацкие примеры и задачки для малышей, хотя он мог бы справиться и с вопросами посложнее. «Ещё немного, и я поглупею, – подумал Кекс. – Служба в цирке у господина Озверелли явно не для меня. Но куда я пойду без университетского диплома? Разве что в сторожа?» Так и не найдя ответов на свои вопросы, он отправился на утреннюю прогулку. Но не успел пробежать и с полквартала, как повстречал преподавателя математики господина Фюнфа.

– Добрый день, коллега! – окликнул Кекса наставник юношества. – Простите, что останавливаю вас прямо на улице, но у меня к вам есть очень серьёзное дело...

– Не волнуйтесь, господин Фюнф, я всё равно не смог бы вас принять подобающим образом в своей собачьей конуре. Она довольно тесновата для двоих!

– Видите ли, коллега, в чём дело... У меня случилась беда: все плохие отметки исчезли из школьного журнала. Абсолютно все! Но я же хорошо помню, что наставил их не менее двух десятков! Куда же они делись?

– Действительно, куда? – удивился Кекс.

– Вот это я и хотел бы узнать! И очень прошу вас мне в этом помочь, дорогой коллега.

– Но я не работаю в полиции! Я – артист!

– Зато вы имеете такой нюх... – тонко намекнул господин Фюнф.

– Ну, хорошо... Идёмте, я попробую вам помочь...

Войдя в кабинет математики, Кекс деловито поинтересовался:

– Где находилась пропажа до своего загадочного исчезновения?

– В классном журнале, разумеется...

– Вот с него мы и начнём поиски! – обрадовался Кекс. – Переворачивайте, пожалуйста, страницы, уважаемый господин Фюнф, а я буду их изучать. Так-с... Вырванных листов не наблюдается... Так-с... Подчисток и выведения отметок тоже не наблюдается... – Кекс вдруг на секунду оторвался от интересного занятия и внимательно посмотрел на Фюнфа. – Вы писали в своём журнале именно этими чернилами? – Он показал на чернильный прибор, который красовался у него перед носом.

– Разумеется...

– Я так и думал! – радостно воскликнул Кекс. – Значит, мы идём по верному следу!

Он понюхал чернильницу и осторожно её лизнул.

– По-моему, они обыкновенные... Ну-ка, дорогой Фюнф, напишите, пожалуйста, что-нибудь!

– Что именно?

– Что угодно. Ну, например: «НЕ ХОЧЕШЬ БЫТЬ УКУШЕННЫМ – НЕ КУСАЙСЯ САМ!»

Постояв минуты две-три перед листком со странной записью, новоиспечённый сыщик важно изрёк:

– Буквы не исчезли – это и следовало доказать! Чернила – обыкновенные!

– А какие же ещё?! – изумился озадаченный Фюнф. – Другими не пользуемся!

Кекс забежал по кабинету, старательно обнюхивая все углы и укромные местечки. Наконец он подбежал к большому шкафу и с отчаянием сунул под него усатую морду. Под шкафом пахло пылью, мышами и пауками, но к этим ароматам примешивался чуть заметно ещё один – уже знакомый Кексу – чернильный. «Кажется, здесь что-то есть...» – подумал четвероногий сыщик и вцепился зубами в толстую тетрадь.

– Мой личный дневник! – обрадовался господин Фюнф. – Спасибо, дорогой коллега. И как это я про него забыл?! Вот, вот эти пропавшие отметки! Они здесь, я наставил их самому себе!

– Зачем?! – удивился Кекс, и его уши встали торчком, а хвост перестал вилять.

– Мне было жаль детишек... Они, конечно, заслуживали плохих отметок, но портить им аттестат я не хотел... Вот я и наставил единиц и двоек самому себе – кому-то я должен был их вклеить!

– Значит, пропажа нашлась? Ну что ж, поздравляю! – Кекс протянул счастливому господину Фюнфу правую переднюю лапу и милостиво разрешил её пожать. – Если у вас ещё что-нибудь случится непредвиденное, зовите – всегда буду рад вам помочь!

И он, завивая снова пушистым рыжим хвостом, торопливо нырнул в приоткрытую дверь и, проскочив пустынный в этот час школьный коридор, вылетел на улицу и побежал в сторону городского парка.

По дороге Кекс так углубился в раздумья, что даже не заметил, как ему навстречу из-за угла выехала карета, запряжённая парой гнедых жеребцов. А когда заметил, то было уже поздно: разгорячённые кони, не замедляя стремительный бег, налетели на бедного пса и мощным ударом подкованных копыт швырнули его прямо под колёса кареты.

Но, видимо, добрый собачий ангел был в этот момент всё-таки рядом с Кексом: в последнюю секунду он успел слегка накренить карету, и несчастный пёс как пушечное ядро пролетел под приподнятыми на миг колёсами и врезался в кромку тротуара. А злосчастная карета умчалась прочь, и её хозяин даже не пожелал узнать, что случилось с беднягой псом, так неудачно начавшим свой день в это роковое утро.

Глава вторая

Когда Кекс наконец-то приоткрыл глаза, то он увидел над собою синее-синее небо с белыми кучевыми облаками и две склонённые над ним мальчишеские мордашки. «Всё понятно, – подумал Кекс, – кажется, я попал туда, куда нужно... Однако я думал, что там все ходят с умытыми личиками. А у этих милых ангелочков довольно грязноватые физиономии. Особенно у худощавого...»

Кекс почувствовал лёгкое прикосновение к своему телу мальчишеской руки и невольно вздрогнул.

– Беденький, у него, наверное, переломаны все кости! – говорил пухленький ангелочек в клетчатой рубашке и летних шортах. – Его нужно немедленно доставить в ветеринарную лечебницу! Морс, мы должны это сделать обязательно!

Худощавый ангел с грязными босыми ногами почесал затылок и молча кивнул головой.

– Сейчас я попрошу у какой-нибудь хозяйки простыню, и мы отнесём бедняжку пса в ближайшую больницу, – обрадовался толстячок. – Заодно я узнаю, где она находится.

– Извините, – произнёс Кекс заплетающимся языком, – разве мы не в раю? И вы не добрые ангелы?

– Собачка разговаривает! – весело воскликнул толстячок и в избытке чувств хлопнул в ладоши. – Чего не ожидал, того не ожидал!

– В Зондерлинге все разговаривают, – объяснил ему Кекс, – такой уж у нас город...

Мальчики помогли несчастному встать на все четыре лапы и, когда тот упёрся ими в булыжную мостовую, с опаской выпустили его из рук.

– Ну как? – спросил худощавый. – Можете самостоятельно передвигаться? Или вас всё-таки лучше отнести в ветеринарную лечебницу?

– Нет-нет, – испугался Кекс, – я совершенно здоров! Кости целы, а это главное. Через час я буду как огурчик!

И он, чтобы доказать юным гнэльфам правоту своих слов, весело замахал хвостом и прошёлся вдоль дома без посторонней помощи.

– Ну вот, – сказал Кекс, возвращаясь к мальчикам, – как видите, всё обошлось.

– Жаль, что вы уже уходите, – вздохнул юный толстячок. – В Зондерлинге у нас нет никого знакомых, и мы даже не знаем, к кому обратиться за помощью...

– Вам нужна помощь? – перебил его Кекс и наострил лохматые уши. – Говорите, друзья, я постараюсь что-нибудь для вас сделать.

– Это длинная история, – сказал Морс, – но мы готовы вам её поведать, дорогой...

– ...Кекс. Меня зовут Кекс, – представился цирковой артист. – Надеюсь, мы будем беседовать не на этом перекрёстке? В двух шагах отсюда есть городская парк, я как раз направлялся в него побегать по тенистым аллеям... Идёмте туда?

Узнав о злоключениях юных гнэльфов, Кекс погрузился в тяжёлое раздумье.

– Теперь вся надежда на Трёхглазого Петера. Только наш знаменитый зондерлингский оракул может дать вам совет, как вернуться домой. Но вот в чём беда: наш Петер пропал! Нужно сходить к нотариусу Папирусу и всё у него узнать!

– Так чего же мы ждём?! – воскликнул Морс. – Бежим скорее к вашему нотариусу!

Глава третья

Едва наши герои покинули парк, как голодный Крюшон начал умолять друзей заскочить на минутку в ближайшую харчевню.

– Я очень хочу есть, – признался он, – со вчерашнего вечера у меня во рту не было ни маковой росинки...

– Ну хорошо, – согласился Морс, – но только на минутку.

Усевшись за столик в дальнем углу, новые посетители сделали заказ.

– Три порции бифштекса, три стакана сметаны и одну мозговую косточку! – сказал Кекс подбежавшему к ним официанту. И торопливо добавил: – Запишите всё это на мой счёт, я потом заплачу.

При виде дымящегося бифштекса у Крюшона заметно улучшилось настроение.

– Эх, – сказал он, – жаль, что с нами нет пуппетроллей! Так и быть, я отрезал бы им один кусочек – я не жадный!

– Ваших бывших спутников было двое? – спросил Кекс. – Один из них седенький старичок?

– Да, – кивнул Крюшон. – Но старичок не столько седенький, сколько лысенький.

– А другой был мальчик-пуппетроль? В клоунском костюмчике?

– Совершенно верно! – улыбнулся Морс. – Откуда вы всё про них знаете, уважаемый Кекс?

– Это не ваши друзья, случайно, сидят под столом и уплетают сардельки?

Морс и Крюшон посмотрели туда, куда указала лапа Кекса, но никого не увидели и ещё больше удивились.

– Там никого нет! – сказал Крюшон. – Сардельки я обязательно бы разглядел!

– Пуппетролли их уже проглотили. Хитрецы думают, что я не заметил, как они нырнули в харчевню! – Кекс откусил половину

бифштекса и с аппетитом принялся его жевать. – Сначала я увидел их глазами, а потом учуял и носом.

– Да-да, – сказал, поднимаясь из-за стола, Морс, – у вас чудесное обоняние! Но мы с Крюшоном должны повидать наших старых приятелей.

– Конечно, – кивнул юный толстячок, – мы просто обязаны их повидать!

Глава четвёртая

Когда господин Папирус увидел на пороге своего дома разношёрстную компанию, он, как ни странно, совсем не удивился, а даже обрадовался.

– А я вас ждал! – сказал он. – Вы прибыли в наш город из Гнэльфбурга, не так ли?

– Верно, – кивнул Морс, – а как вы догадались?

– При вас находятся эти малютки, они с успехом заменяют вам удостоверения личности.

Нотариус провёл гостей в свой кабинет и предложил сесть. После чего он открыл маленький сейф и достал из него конверт, запечатанный красной сургучной печатью.

– «Вручить лично в руки бродягам во времени Крюшону и Морсу», – прочитал господин Папирус надпись на конверте. – Это вам, – передал он послание зондерлингского оракула и прорицателя юным гнэльфам.

Морс вскрыл конверт, вынул из него сложенный втрое лист бумаги и стал читать письмо вслух:

«Добрый день, мои юные незнакомцы!

Вчера я имел неосторожность предсказать злой волшебнице Скорпине её будущее (ей суждено провести остаток своей жизни в обыкновенном зеркале). Предсказание было, что и говорить, не из приятных, и Скорпина отблагодарила несчастного оракула тем, что заточила его самого в одну из жемчужин своего ожерелья. Это случится сегодня вечером, и я не смогу избежать удара судьбы – всё предопределено безжалостным роком. Но шанс получить свободу у меня есть, и спасти меня можете только вы. В «Книге Судеб» (том 5, раздел 3, глава 42-я) сказано, что Скорпину спрячет в зеркало добрый волшебник по имени Гэг. А помогут ему это сделать юные гнэльфы Морс и Крюшон, которые часом ранее освободят из заточения зондерлингского оракула Петра Шмидта (то есть меня!). А посему, дорогие друзья, не теряйте зря времени и отправляйтесь в гости к Скорпине в Злюкенберг. И пусть будет, что будет! Ваш Петер Шмидт (он же Трёхглазый Петер).»

Едва Морс закончил чтение странного письма, как Крюшон громко взвыл:

– Но я не хочу в Злюкенберг, я хочу в Гнэльфбург! Пора возвращаться домой!

– Интересно, как мы это сделаем? – хмыкнул Морс. – До Гнэльфбурга мы, возможно, и доберёмся, но как вернуться в своё время?

– Это вам подскажет наш знаменитый оракул, – произнёс мудрый Кекс и добавил: – Если вы его, конечно, спасёте...

– Да уж придётся постараться, – вздохнул Морс, – гнэльф гнэльфа всегда должен из беды выручать.

– Вот вы и спасайте! – буркнул сердито Кракофакс. – А мы с Тупсифоксом на такие дела не способны. Нам и без ваших подвигов тяжелолато приходится.

– Так тяжелолато, так тяжелолато... – поддакнул дядюшке племянник. Но тут же спохватился и удивлённо спросил Кракофакса: – Ты решил остаться в Зондерлинге?! Навсегда?!

– А что, городишко неплохой, еду готовят в харчевне прекрасную – можно и остаться.

– Но я хочу увидеть свою мамочку! Я так давно её не видел! – Тупсифокс вытер выступившие на глазах слезинки и с отчаянием заявил: – Пожалуйста, дядюшка, оставайся! А я поеду с Крюшоном и Морсом в Злюкенберг, и пусть будет, что будет!

– Хочешь новых неприятностей? – спросил старый пуппетролл заплаканного племянника. – Хорошо, ты их получишь. Мы тоже едем с вами, – бросил он небрежно Крюшону и Морсу, – но за последствия я не отвечаю.

– Тогда – в путь! – улыбнулся Морс. – Время не ждёт!

Кекс и юные гнэльфы поблагодарили нотариуса за ценные сведения и, попрощавшись, вышли на улицу. Следом за ними выкатились и пуппетролли.

– Куда теперь? – спросил Крюшон. – На вокзал? Но, кажется, поезда в Зондерлинге ещё не ходят, придётся нанимать конный экипаж.

Он пошарил у себя в карманах и выудил на божий свет корочку чёрного хлеба и две монетки по пять гнэльфдингов. У Морса было и того меньше денег и совершенно никаких продовольственных запасов.

– Поездка временно откладывается, – сказал Морс, пряча в карман свой единственный медный гнэльфдинг, – нужно искать работу.

– Есть идея! – воскликнул Кекс. – Я знаю, как можно заработать деньги! У меня есть одна богатая поклонница, её зовут фрау Мяу, у неё большой чудесный сад, там всегда найдётся что делать. Думаю, что она нам не откажет и даст какое-нибудь задание.

– Так что же мы стоим как истуканы?! – воскликнул Морс. – Вперёд, к леди Кис!

– Её зовут фрау Мяу... – напомнил Кекс и мелкой трусцой засеменял по Аллее Роз к дому своей поклонницы.

Он не ошибся: добрая гнэльфина, которую насмешник Морс переименовал из фрау Мяу в леди Кис, тут же нашла им всем занятия по душе.

– Нужно посадить саженцы яблонь и чернослива, – сказала она, ведя всю ораву по узеньким тропкам обширного, но слегка запущенного сада. – Надеюсь, вы умеете это делать, господа?

– Конечно! – ответил Кекс. – Рыть ямки – моё любимое хобби!

– Вот и хорошо, тогда приступайте. А когда закончите, я вернусь и заплачу вам по десять гнэльфдингов. Каждому! – добавила «леди Кис» и, показав на приготовленные для посадки саженцы и лопаты,

удалилась обратно в дом. Проводив её взглядом, Кракофакс надменно произнёс:

– На нас не рассчитывайте. Грязная работа не для пуппетроллей.

– Мы предпочитаем заниматься грязными делишками, – поддакнул дядюшке глупенький Тупсифокс. – Если вам понадобится что-нибудь стащить – зовите нас, мы сразу придём на помощь. А таскать тяжести, копать землю... Нет уж, увольте!

– Спасибо, мы как-нибудь обойдёмся без ваших услуг, – брезгливо поморщился Морс и взял в руки самую большую лопату. – Можете проваливать на все четыре стороны.

– Скатертью дорожка! – добавил Крюшон. – Катитесь – не запылите!

Кекс тоже хотел сказать что-нибудь обидное в адрес маленьких лентяев, но вдруг спохватился:

– Далеко не уходите, вы нам ещё понадобятся. Фрау Мяу обещала дать по десять гнэльфдингов КАЖДОМУ ИЗ НАС. Лишние деньги вам в дороге не помешают.

Глава пятая

Тупсифокс был лентяй, но он не был лежебокой. Валяться на травке – да от этого можно помереть с тоски! Терпения маленького пуппетролля хватило только на пять минут, он вскочил на ноги и сказал похрапывающему тихо дядюшке:

– Пойду пройдуся.

Дойдя до ограды, Тупсифокс заглянул в щель между досками и увидел красивое цветущее дерево, а под ним плетёное кресло-качалку и в нём маленькую златокудрую девочку. «Вдруг у неё есть конфеты и она захочет меня угостить? – подумал сластёна пуппетролле. – Давненько я не ел сладенького!» Он пронырнул в дыру в заборе и подкатился к юной незнакомке.

– Привет! – поздоровался Тупсифокс с миловидной девочкой. – Тебя как зовут? Меня – Тупси!

Печальное лицо незнакомки осветилось едва заметной улыбкой:

– Я Энни. Как ты сюда попал, малыш?

– Ну, не такой я малыш, как ты думаешь... – обиделся Тупсифокс. Но спохватился и решил оставить обиду при себе. – Как я попал в твой сад? Очень просто: шёл, шёл и пришёл. А тут, оказывается, ты сидишь. Дай, думаю, поздороваюсь. Как дела, Энни? Не надоело вот так сидеть и скучать?

– Ещё как надоело!.. Но у меня больные ноги, они совсем не ходят..

Непривычное для Тупсифокса чувство закралось в его сердце.

– Друзья тебя навещают? – спросил он первое, что взбрело ему в голову. – Играть можно и сидя в кресле. Например, в подкидного дурака или в «девятку».

– Нет, ко мне давно уже никто не ходит. Сколько можно играть в дурака? Иногда ведь хочется и просто побегать или попрыгать через верёвочку...

– Надоело в дурака – спойте песенку! – не сдавался Тупсифокс. – Если хочешь знать, я никогда не прыгаю через верёвочку – глупое занятие!

– А ты не можешь что-нибудь спеть для меня? – попросила вдруг Энни. – Я с удовольствием бы тебя послушала!

Тупсифокс прокашлялся и стал перебирать в уме свой скудный песенный репертуар: «Это не то... Это тоже не то... Это тем более не то... Ага, кажется, эта песенка подойдёт!»

– «Песнь об ужасной погоде!» Автор слов неизвестен до сих пор, автора музыки не было вообще! Исполняет пуппетроль Тупсифокс. За шарманкой, увы, никого!

*На улице дождик и поздно,
Пора быть холодной поро.
Чихает собака гриппозно,
Зарывшись в своей конуре.
А я одиноко скучаю
И вслух почему-то шепчу:
– Учиться – ужасно желаю!
Учить – ничего не хочу!
Учиться – ужасно желаю!
Учить – ничего не хочу!*

– По-моему, чудесно! – похвалила Энни певца и похлопала в ладоши. – Я тоже учиться хочу, а учить ничего не желаю! Но у этой песенки есть один маленький недостаток...

– Только один? Какой? – Тупсифокс смутился и весь поджался, ожидая сокрушительной критики.

Но её не последовало. Энни была добра и умна.

– Твоя песня очень грустная, а мне бы хотелось услышать весёлую.

– Ты её услышишь!

*Весёлый парнишка споткнулся, упал
И шишку на лбу набил.
И ею дорогу себе и всем
Парнишка во тьме осветил.
Ой, бум! Ой, бум! Ой, бум-бум-бум-бум!
Ой, бум-бум-бум-бум, бум-бум!
И можно отныне во тьме нам ходить
Хоть целую ночь напролёт,
Нам будет парнишка во мраке светить,
Пока тот фингал не пройдёт!
Ой, бум! Ой, бум! Ой, бум-бум-бум-бум!
Пока тот фингал не пройдёт!*

На этот раз Энни разразилась рукоплесканиями ещё до того, как Тупсифокс закончил песню.

– Молодец! Ты так здорово бумкаешь и жестикулируешь, что я даже подумала, что ты настоящий артист!

Тупсифокс покраснел, как румяное яблочко на соседней яблоне, и пробормотал:

– Теперь и я так буду думать, Энни...

Он вспомнил вдруг о своей первоначальной цели.

– Извини, Энни, у тебя случайно нет с собою конфет? Что-то меня потянуло после концерта на сладкое...

– Прости, Тупси, но я почти не ем сладостей. От них портятся зубы и вырабатывается кислота!

– А ты не пробовала их чистить пастой «Голд-Гнэльф»? Говорят, здорово помогает.

Девочка улыбнулась:

– Но я же не могу их чистить каждую минуту! Но ты, Тупси, не огорчайся, возьми мой золотой мерхенталер и купи на него разных лакомств!

Энни протянула пуппетроллю блестящую жёлтую монетку.

– Мне подарила его моя мама. Она сказала, что золотой мерхенталер приносит удачу.

– А как же ты? – удивился Тупсифокс. – Разве тебе не нужна удача?

– А мне уже повезло: я встретила нового друга!

Пуппетролля испуганно обернулся, но никого не увидел.

– Где же он? – спросил изумлённый Тупсифокс.

– Это ты! – рассмеялась Энни. – Спасибо тебе за песенки. А монетку спрячь в карман, ты её честно заработал!

«Вот тебе и на! – подумал смущённо пуппетролля. – Хорошо, что никто этого не видел!»

И он, попрощавшись с доброй девочкой, поспешил поскорее убраться из чужого сада, а заодно поискать местечко, где можно с толком потратить свалившееся на него богатство.

Глава шестая

И Тупсифокс такое местечко нашёл! Им оказался зондерлингский ипподром, на котором в этот день как раз проходили бега. Прочитав афишу, любопытный пуппетролля, конечно же, пожелал посмотреть на захватывающее зрелище. Но он не был таким уж глупеньким простачком, чтобы лезть на него без билета. А разменивать драгоценный мерхенталер Тупсифокс не хотел тем более. Поэтому он, покрутившись перед входом на ипподром и не найдя подходящей лазейки, решил обойти кирпичную стену вокруг и попытаться отыскать хоть какую-нибудь щель. В неё-то он проскочит, можете не сомневаться!

Извилистый путь иногда приводит к заветной цели, но порой заставляет изрядно помучиться. Несколько раз пуппетролля попалась огромные щели и дыры, но, пробравшись сквозь них, он оказывался где угодно, но только не там, где хотел. В конце концов он забрёл на конюшню и без сил повалился на кучку сена рядом с лошадиным стойлом.

– Эх, – вздохнул Тупсифокс, – если бы кто-нибудь поставил на меня сейчас деньги, то сорвал бы хороший куш! Такого бегуна, как я, наверное, в Зондерлинге ещё не видели!

– Разве вы участник забега? – спросила его вдруг молодая лошадка, стоявшая неподалёку в стойле. – Под каким номером вы бежите? Кто ваш жокей?

– Ты умеешь разговаривать? Вот чудеса!

– В Зондерлинге все умеют говорить по-гнэльфски, не такое уж это мудрёное дело. Так вы участвуете в забеге? – повторила симпатичная блондинка свой вопрос.

– Нет, я пошутил... Я не знал, что меня подслушивают...

– Я не подслушивала! Но я и не глухая.

Лошадка взмахнула хвостом, прогоняя назойливую муху, и вновь спросила непрошеного гостя:

– Как вас зовут? Меня – Тутти!

– А меня Тупсифокс. Но можете звать меня запросто: Тупси.

– Вообще-то моё полное имя Тутти-Фрутти, но ко мне никто так не обращается, – вздохнула лошадка сокрушённо. – Во-первых, мешают мой юный возраст, а во-вторых, результаты забегов... Никакого уважения со стороны родных и близких. Такое огорчение!

– Возраст – дело наживное, – поспешил её утешить Тупсифокс. – Не успеете и глазом моргнуть, как станете старой кобылой!

– Благодарю, у меня сразу полегчало на сердце...

Пуппетроль догадался, что ляпнул не то что нужно, и перевёл разговор на другие рельсы:

– У вас плохие результаты забегов? Вам не приходилось ещё быть чемпионкой и занимать первое место?

– Первое место! – хмыкнула Тутти. – Я как-нибудь смирилась бы с этим фактом, меня бы устроило и почётное третье. Но мне, наверное, никогда не стать и бронзовым призёром – вот что обидно!

– Хочешь, я куплю тебе овса? – спросил Тупсифокс. – У меня есть золотой мерхенталер, и я могу позволить себе слегка кутнуть!

– Нет-нет, спасибо! От овса портится талия, я не хочу толстеть! Вот если бы ты, дорогой Тупси, поставил на меня хоть один медный грошик, то я наверняка бы почувствовала себя счастливой! Ведь на меня никто не ставит, а это так обидно...

– Я поставлю на твой номер весь мерхенталер! Гулять так гулять! – заявил отчаянно азартный пуппетроль. – Ты придёшь первой, вот увидишь!

Глава седьмая

Решив потратить на благое дело мерхенталер, Тупсифокс, подойдя к кассе, вскарабкался к окошку и протянул кассиру золотую монетку.

– Один входной билет, пожалуйста. А сдачу поставьте на номер «13».

– Девяносто восемь гнэльфдингов?! На Тутти-Фрутти?! – изумился кассир. – Пожалуйста, получите... Желаю приятно провести время...

В первом заезде Тутти-Фрутти не участвовала. Не было её и во втором. Сначала Тупсифокс переживал и сердился, что не видит свою любимицу, но постепенно увлёкся скачками и на какое-то время даже сумел забыть о белогривой красавице.

В первом забеге победителем стал гнедой жеребец по имени Кайзер. Во втором одержал победу каурый Рафинад. Это не было большой неожиданностью для зрителей: то, что они придут к финишу первыми, предсказывали почти все. Но в третьем заезде – а в нём участвовала и наша Тутти-Фрутти – явных любимчиков у игроков уже

не было. Кто-то склонялся к мысли, что победит серый в яблоках Россинант, кто-то считал, что призёром окажется чёрный как смоль Мефисто, кто-то сделал ставку на рыжую кобылицу Нэсси. И только один глупышка Тупсифокс поставил все свои деньги на хрупкую Тутти-Фрутти и по-прежнему совсем не жалел об этом. «Вот увидишь, – шептал он, – вот увидишь, ты придёшь первой! Должно же нам с тобой когда-нибудь повезти, как ты считаешь?»

Тутти не слышала «молитв» пуппетролля, но его азарт передался и ей, и она мечтала сейчас только об одном: чтобы поскорее дали команду «Старт!»

И она дождалась этой счастливой минуты и ринулась как вихрь, приведя в изумление не только зрителей, но и своего жокея Чепчика.

Вот остался позади удивлённый Мефисто...

Вот отстала на полкорпуса гордячка Нэсси...

Вот обойдён поражённый до глубины души красавец Россинант...

А впереди ещё круг, за ним ещё один...

Зрители на трибунах затаили дыхание: что же это творится, скажите на милость?!

Только Тупсифокс стоял у ограды и ничему особо не удивлялся, а просто ликовал и время от времени подпрыгивал на месте от радости.

Когда объявили результат заезда, все ахнули: победила Тутти-Фрутти, да ещё с каким отрывом!.. Счастливый игрок хотел было выбежать на поле и поздравить свою фаворитку, но вовремя сообразил, что это опасно для жизни. Бросив прощальный взгляд на белолицую красавицу Тутти, он помчался в кассу получать выигрыш.

Глава восьмая

Когда усатый кассир выложил перед Тупсифоксом целую гору гнэльфдингов, бедный пуппетроль обомлел от изумления.

– Это всё мне?!

– Ваш мерхенталер принёс вам удачу, – улыбнулся кассир. – Вы были единственный, кто отважился поставить на тринадцатый номер.

– Но я... Но мне... – Тупсифокс совсем растерялся. – У вас не найдётся какой-нибудь тряпочки, чтобы завернуть мой выигрыш? Я оставил дома кошелек, а в карманы такая куча денег не полезет!

Кассир усмехнулся и подал счастливчику ведёрко для мусора.

– Вам нужен сейф, – сказал он, ссылая блестящие гнэльфдинги, – но пока придётся довольствоваться этой заменой. Зато у него есть удобная ручка и даже крышка – а это не так уж плохо, господин Везунчик!

– Спасибо.

Тупсифокс мёртвой хваткой вцепился зубами в ручку ведёрка, достал одну монетку в десять гнэльфдингов и вернул её доброму кассиру.

– Это вам же мой шейф! – процедил он, не разжимая зубов, и посмотрел вниз. – Шнимите меня, шам я не шлежу! – взмолился бедняга, обращаясь к толпе зевак.

Тут же к нему подскочили два подозрительных типа и, вежливо взяв под ручки, спустили на землю.

– Мы готовы проводить тебя до дома! – сказал великан с чёрной бородой. – Где ты живёшь, малыш?

А другой гнэльф, по-видимому, его приятель, лукаво прищуря свой единственный глаз (второй глаз прикрывала грязная повязка), приторно-ласковым голосом проворковал над ухом пуппетролля:

– Мы поможем донести тебе денежки прямо до порога! Идём скорее, малыш, нам так не терпится увидеть счастливые лица твоих родителей!

И он протянул дрожащие руки к тяжёлому мусорному ведёрку.

Но Тупсифокс отступил назад и грозно прорычал:

– Я шам донешу! Я шильный!

Чувствуя на себе взгляды десятков горожан, добровольным помощникам пришлось смягчить свой напор.

– Как хочешь, – пожал плечами бородач, – была бы честь предложена!

– Смотри, не надорви животик! – посоветовал одноглазый.

И они оба смешались с толпой зондерлингцев.

Глава девятая

Когда с заданием фрау Мяу было покончено, Морс позвал хозяйку принимать работу.

– Молодцы, вы замечательно справились с порученным вам делом! – сказала добрая гнэльфина и опустила в ладонки Морса и Крюшона по монетке в десять гнэльфдингов.

Затем она бережно положила в протянутую лапу Кекса такую же монету и подошла к пуппетроллю Кракофаксу.

– А вы, уважаемый господин лентяй, всё это время пробездельничали. Не отпирайтесь, я всё видела! И ваш мальчик ничего не делал, поэтому и он останется сегодня без награды. – Фрау Мяу повернулась снова лицом к Морсу, Крюшону и Кексу и добавила: – А вам я выплачу премию, вы довели дело до конца.

И она выдала старательным труженикам ещё по одной монетке в десять гнэльфдингов.

Когда все четверо покинули пределы владений госпожи Мяу, Кекс весело сказал:

– Думали заработать пятьдесят гнэльфдингов, а получили шестьдесят. Здорово это у нас вышло!

– А всё благодаря нам, пуппетроллям! – гордо проговорил Кракофакс. – Если бы не мы...

И тут он вспомнил о своём племяннике и побледнел:

– А где же Тупсифокс?! Куда подевался этот дрянной мальчишка?!

Глава десятая

Тупсифокс посмотрел на стрелку компаса и, определив кратчайшее направление, ухватил покрепче драгоценный груз и зашагал в нужную сторону. Вскоре он попал в старые кварталы Зондерлинга, в котором улочки были такими кривыми и извилистыми, что даже местные жители иногда в них блуждали часами, пытаясь отыскать дорогу домой.

«Зря я не пошёл по центральной улице, – подумал Тупсифокс. – Здесь мне придётся петлять как зайцу...»

Едва он вспомнил о зайцах, как появились и «охотники». Из тёмного переулка вдруг вышли ему навстречу уже знакомые гнэльфы – Бородач и Одноглазый – и, подойдя вплотную, дружно сказали:

– Какая удача! Добыча сама приплыла нам в руки!

– Эй-эй... – испугался Тупсифокс. – Я закричу... Вас поймают и посадят за решётку!

– Интересно, кто будет нас ловить? Вокруг никого!

– Ты не устал тащить такую тяжесть? – сказал Одноглазый. – Отдай ведёрко нам, мы с радостью его понесём!

– Нет-нет, я не хочу вас утруждать...

– Тогда давай мы отсыпем немного гнэльфдингов, и тебе сразу станет легче! – предложил Бородач.

– Я в этом не уверен... – пискнул Тупсифокс. – Я не уверен, что мне станет легче, если вы заберёте у меня часть выигрыша... – пояснил он грабителям.

– Я всё понял! – воскликнул вдруг Одноглазый. – Ты не хочешь, чтобы мы забирали у тебя твои монетки. Ты прав, это никому не придётся по нраву. Давай мы тогда просто разделим твой выигрыш?

– Если не хочешь делить на троих, мы поделим его на двоих! – В голосе Бородача звучали явно насмешливые нотки, и пуппетроль, как ни странно, их уловил.

– Кто будет третьим лишним? – спросил он, поднимая голову и глядя прямо в глаза бородатому насмешнику.

– Догадайся с трёх раз! – хихикнул Одноглазый.

– Наверное, это будете не вы...

Одноглазый утвердительно закивал головой.

– И не вы...

Бородач тоже кивнул и усмехнулся:

– Две попытки, и обе неудачные! У тебя остался последний шанс!

– Неужели? – удивился Тупсифокс. – Ну что ж, я согласен... Только позвольте мне, пожалуйста, полюбоваться в последний раз на мои монетки и поплакать над ними...

– Хорошо, любуйся и плачь, только поживее! – разрешил Одноглазый.

– Отвернитесь, пожалуйста...

Когда Бородач и Одноглазый вновь повернулись к Тупсифоксу, то почему-то его больше не увидели. Не увидели они и ведёрка с гнэльфдингами. Проклятый мальчишка словно провалился под землю вместе со своим баснословным выигрышем.

Глава одиннадцатая

Опомнившись от удара, который им нанёс исчезнувший в неизвестном направлении Тупсифокс, бывшие садоводы-любители стали совещаться, что же теперь нужно делать дальше. После недолгих споров и пререканий они пришли к выводу, что лучшее в их положении – это ещё немного подождать бродягу пуппетролля возле владений фрау Мяу, а Кекс попробует поискать его в городе: не мог же Тупсифокс

уйти из Зондерлинга, не попрощавшись с дядюшкой и своими товарищами по несчастью?

– Я скоро вернусь, – пообещал Кекс взволнованному Кракофаксу и гнэльфам, – я пробегусь по Большому Садовому Кольцу и обязательно нападую на его след. Все улочки города пересекают это Кольцо – Тупсифоксу просто некуда деться!

Умница Кекс рассчитал всё верно, отмахав по Садовому Кольцу добрую мерхенмилю, он выбежал на улицу Мартовских Котов и там уловил на булыжной мостовой едва заметный запах от сапожек Тупсифокса. «Он попал в Старый Город и в нём заблудился! – догадался Кекс. – Ну что ж, всё не так страшно, сейчас я его догоню и выведу из этих лабиринтов».

Пригнув голову к мостовой, он вновь помчался в погоню за глупеньким пуппетроллем. И скоро врезался лбом в невидимую преграду.

И тут он услышал знакомый, похожий одновременно на писк комара и скрежет плохо смазанной двери голос:

– Кекс! Кексик! Я так рад тебя видеть!

Что-то невидимое, но пахнущее Тупсифоксом вцепилось в его морду и поцеловало в мокрый нос.

– Это ты, Тупси? Но почему тогда я тебя не вижу?

– Просто я стал невидимкой, спасаясь от разбойников.

Тупсифокс прошептал заклинание и вновь приобрёл видимые очертания.

«Вот, оказывается, во что я врезался, – подумал Кекс, глядя на приобретение малютки пуппетролля, – в ведёрко с мусором!»

– И нужно было тебе тащиться в такую даль, чтобы разжиться этой вещичкой?

– Ты загляни сначала внутрь!

Рыжий пёс нехотя подошёл к ведру и лениво сунул в него морду.

– Откуда у тебя деньги, Тупси?! Ты кого-нибудь ограбил?!

– Это меня хотели ограбить, а я честно выиграл их на скачках.

– Ты играл на конных бегах?! Но детям нельзя этого делать!

И потом, откуда ты взял деньги на первую ставку?

– Я давно не ребёнок, – обиделся Тупсифокс и шмыгнул носом, – а кассир, наверное, принял меня за лилипута.

– А деньги? Где ты взял деньги на первую ставку? – повторил свой вопрос въедливый Кекс.

– Я их заработал.

– Каким образом?!

– Пением.

Кекс недоверчиво посмотрел на юного артиста, у которого внезапно прорезался певческий талант, но ничего не сказал и только ещё раз сокрушённо покачал головой.

Глава двенадцатая

Когда Кракофакс увидел грудку блестящих монет в неказистом ведёрке для мусора, он просто обезумел от счастья.

– Моё!.. Моё!.. – вопил старик-пуппетролле. – Эти деньги принадлежат моему племяннику, а значит, мне! Я – опекун, и распоряжаться деньгами буду только я сам!

– Успокойся, дядюшка, если ты будешь так сильно волноваться, то тебе не понадобятся эти монетки. Разве что на хороший памятник и эпитафию...

Последние слова слегка остудили Кракофакса, и он медленно разжал руки и выпустил мусорное ведро из объятий.

– Мы останемся с Тупсифоксом в Зондерлинге навсегда! – заявил он решительным тоном. – Положим деньги в банк и будем жить на проценты. А вы можете проваливать в Злюкенберг и продолжать искать на свои головы новые зловключения. А с меня хватит!

– Пожалуйста, как хотите! – фыркнул обиженно Морс. – Жаль только вашего Тупсифокса – он так и не увидит своей любимой мамочки...

– Нет-нет! – испугался мальчишка-пuppetроль и вцепился в руку добродушного Крюшона. – Я поеду с вами! Крюш, скажи, вы меня здесь не бросите?

Сентиментальный толстячок посмотрел на несчастного малютку, готового вот-вот разреветься, и торопливо пообещал ему:

– Что ты, Тупси! Расстаться с тобой? Да ни за что на свете!

Косясь на племянника левым глазом, а правым внимательно следя за ведром с сокровищем, Кракофакс буркнул:

– Жалкий предатель! Променял родного дядюшку на каких-то гнэльфов! Учти: в истории puppetролей этот факт останется самой грязной страницей!

– По-моему, это вы предали Тупсика, – вмешался в разговор мудрый Кекс, – застрять в Зондерлинге навсегда – это ваша идея.

– Моя идея не хуже вашей... Можете катиться в свой Злюкенберг, а я остаюсь...

Тупсифокс выпустил руку Крюшона и бросился на шею упрямому дядюшке. Чмокнул его в обе щеки и умоляюще проговорил:

– Поедем с нами, а? В Зондерлинге ты умрёшь от тоски, а со мной никогда не соскучишься!

– Это верно... – Кракофакс вытер ладошкой влажные щёчки и тяжело вздохнул: – Что ж, так и быть, я поеду с вами. Но деньги я вам не отдам, они мои!

И старый puppetроль вновь заключил в объятия мусорное ведёрко с грудой гнэльфдингов.

– Вы так и потащите его с собой? – усмехнулся Морс. – Наверное, лучше обменять монетки на какую-нибудь драгоценную вещьцу.

Глава тринадцатая

Обменяв содержимое мусорного ведра на колечко с бриллиантом, вся разношёрстная компания помчалась в ближайшую харчевню «РАЙ ДЛЯ ОБЖОР».

– Я угощаю! – предупредил щедрый пёс, влетая в открытую дверь земного «рая». – Берегите свои деньги для конного экипажа – их может и не хватить!

Голодная орава уселась за свободный столик и сделала заказ. Проглотив всё, что им принесли, в один присест, странные посетители вновь подозвали официанта.

– Сколько мы вам должны, уважаемый? – спросил рыжий пёс, выковыривая когтем из потайного кармашка в ошейнике свои монетки.

– Девятнадцать гнэльфдингов, господин маэстро!

– О, вы меня знаете! – польщённый Кекс протянул официанту деньги. – Сдачи не нужно, это вам на чай.

Кекс отвёл путешественников на зондерлингский вокзал, где обычно стояли кареты в ожидании пассажиров, и поинтересовался у кучеров, не желает ли кто-нибудь из них немедленно отправиться в Злюкенберг. Охотников не нашлось.

– Злюки – вредины, – ответил один из кучеров, – так и норовят сделать тебе какую-нибудь пакость. Могут палку в колёса вставить, лошади хвост отрезать, на карете нехорошее слово написать... Да мало ли что им может прийти в голову!

– Мы щедро заплатим, – пообещал Морс и протянул четыре монетки по десять гнэльфдингов разговорчивому кучеру.

Но тот в ответ только затряс головой и, промывав что-то похожее на «нет!» и «но-о!», хлестнул легонько лошадей кнутом и отъехал от странной компании подальше в сторону.

– За эти гроши вас никто не повезёт, – сжалился над нашими путешественниками другой кучер. – За эти деньги можно отвезти в Злюкенберг, но обратно придётся ехать пустым, без пассажиров. Удвойте сумму, и я, так и быть, доставлю вас в город ваших мечтаний!

Морс посмотрел на Крюшона, Крюшон на Тупсифокса, Тупсифокс на Кракофакса.

– И не подумаю добавлять денег! – взвился хитрый пуппетроль, сразу разгадав смысл этих взглядов. – Я не мот и транжир, чтобы тратить заработанное на безумства глупеньких гнэльфов! Да у меня их и нет, а продавать колечко я не стану.

И Кракофакс спрятался за чахлое деревце, не желая больше разговаривать с нахальными грабителями.

– Придётся нам задержаться у вас ещё на сутки, – вздохнул Морс, глядя на Кекса, – что поделать – судьба!

– Идёмте ко мне. В конуре мы все не поместимся, но я вас расселю по своим друзьям. Может быть, и деньгами разживёмся в цирке – кто его знает...

Глава четырнадцатая

– Всё в порядке, – сказал Кекс, – как говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Мои приятели, клоуны Кегль и Фишка, объелись пирожными с марципанами, и несчастных бедняжек отвезли в больницу промывать желудки. Вы переночуете в их комнате – я уже договорился. А заодно выступите на арене цирка – господин Озверелли дал на это согласие.

– Но мы не артисты! – испугался Крюшон.

– И уж тем более не шуты! – фыркнул Кракофакс.

А Морс, прикинув все плюсы и минусы этой авантюры, деловито поинтересовался:

– Что мы должны делать, уважаемый Кекс? Мы ведь и правда ещё ни разу не выступали в цирке...

– Когда-то нужно попробовать! – улыбнулся рыжий пёс. – Я выйду в паре с Тупсифоксом. Ему и переодеваться не нужно, только немножко почиститься...

– Я буду вертеться под куполом? – глазёнки юного пуппетролля зажглись неподдельным азартом.

Но Кекс был вынужден его огорчить:

– Нет, под куполом вертеться станут другие акробаты. А мы с тобой выступим в номере «Урок математики». Обычно я отвечаю на вопросы публики и решаю всякие примеры и задачки, а сегодня это будешь делать ты. А я стану спрашивать. Получится очень забавно, не хуже, чем у Кегля с Фишкой.

– А что я буду делать? – поинтересовался Морс.

– Поможешь фокуснику Мармеладосу. Его постоянный помощник Кегль, как ты знаешь, находится в больнице, придётся его заменить. Сначала Мармеладос проткнёт тебя шпагами, потом разрежет на три кусочка, а уж затем утопит в стеклянной бочке. Но ты не бойся: это совсем не больно!

– А я не боюсь. Надеюсь, я выйду сухим из воды?

– Кеглю это удавалось.

Крюшон решил не дожидаться заманчивых предложений от Кекса и выступил с инициативой первым:

– Я могу подмести полы, погладить костюмы... Я очень хорошо умею подметать и гладить!

– Ну, на это у нас есть уборщица и костюмер. Ты, Крюшон, лучше выступишь в сольном номере «Юный факир». Тебе наденут на голову красивый тюрбан, дадут в руки флейту, и ты станешь завораживать музыкой змейку, которая выползает из корзины.

– Я стану завораживать змею?! – Крюшон смертельно побледнел.

– Не волнуйся, Крюш, змея совсем молоденькая, недавно только родилась.

– Ещё не успела озлобиться! – хихикнул Тупсифокс и тут же скорчил серьёзную рожицу.

– Как её зовут? – поинтересовался будущий «факир».

– Шипучкой, – охотно ответил Кекс.

– Я имел в виду не имя, а породу...

– Индийская кобра. Наш факир Хинди Бомбей оставил своей любимице Фурии двух змеёнышей – Шипучку и Шуршика, но они так досаждают своей мамаше, что она готова их всех перекусать! Фурия с удовольствием согласится уступить нам одного змеёныша или всю парочку на вечер. Им – занятие, ей – отдых.

– Хватит и одного, – тут же решил Морс.

А Крюшон вздохнул с глубокой печалью в голосе:

– Это верно...

И поинтересовался:

– А кого одного из нас эта змеюка хватит? Наверное, меня, я – факир?

– Никого она не хватит, маленькая она ещё! – рассердился Кекс. – Идите за мной, через час уже начнётся представление!

Глава пятнадцатая

Успех у новых артистов был оглушительный. Когда на арену в паузах между цирковыми номерами выбегал Тупсифокс и решал хитрые задачи, которые ему задавал коварный учитель Кекс, публика просто закатывалась от смеха: ещё бы – с таким заданием справилось бы и трёхлетнее дитя!

– У тебя в кармане лежали четыре яблока. Два яблока ты съел, одно подарил дядюшке. Сколько яблок у тебя осталось?

– Ни одного, – отвечал Тупсифокс и, чтобы доказать правдивость своих слов, выворачивал карманы наизнанку.

– Ну, хорошо, – говорил Кекс, когда смех в цирке слегка стихал, – ставлю тебе «плохо». С задачей ты не справился, решай теперь пример. Три, три и три – что получится?

– Дырка, – не задумываясь, отвечал Тупсифокс, и цирку господина Озверелли вновь угрожала опасность рухнуть от взрыва дикого хохота.

– Девять! – отвечал за неразумного ученика хитрюга учитель. – Девять, а не дырка! Ай-яй-яй, Тупси, три тройки сложить не можешь!

И Кекс, подкидывая вверх кусочек сахара, сам ловил его в рот и удирал с арены под гром аплодисментов зрителей и обиженный писк мальчишки-пуппетролля.

Морс тоже не был обделён рукоплесканиями. Едва Мармеладос, скорчив зверскую физиономию, проткнул его первой шпагой, юный гнэльф обворожительно улыбнулся и послал замершей в ужасе публике прощальный воздушный поцелуй. Шквал восторга обрушился в ответ на артистов, и Мармеладос даже вздрогнул от неожиданности и чуть было по-настоящему не продырявил талантливого помощника. Когда же фокусник распилил беднягу Морса на три равные части (а может быть, и неравные – никто не мерил), к аплодисментам прибавились и всхлипы добрых гнэльфин, а в рядах замелькали носовые платочки.

Но, к счастью, всё обошлось. Поколдовав над головой, ногами и туловищем своего ассистента, Мармеладос сотворил чудо и оживил красавчика-гнэльфа. Но тут же, не дожидаясь, когда стихнет рёв восторга зрителей, он запихнул Морса в огромную стеклянную бочку и приказал униформистам принести несколько вёдер воды. Заполнив доверху бочку, Мармеладос стал наблюдать за тем, как его помощник пускает пузыри. Насладившись немного этим зрелищем, он набросил на стеклянную гробницу юного гнэльфа красивое покрывало и ещё с минуту постоял в преступном бездействии перед творением своих рук и не совсем здоровой фантазии. Потом что-то произнёс на тарбарском наречии и сдёрнул с бочки покрывало.

Морса внутри не было!

Тогда Мармеладос хлопнул в ладоши, и огромный стеклянный сосуд распался на части. Вода хлынула на арену, а среди сияющих всеми цветами радуги ровных осколков возник улыбающийся помощник фокусника. В совершенно сухой одежде и обуви!

После Морса и Мармеладоса должен был выступать Крюшон. Но от страха перед змеей и публикой СТУПАТЬ он не мог, и его пришлось вынести вместе с Шипучкой на арену на громадном металлическом блюде. Крюшон сидел на нём, поджав, как настоящий индийский

факир, под себя ножки, а перед ним на расстоянии одного мерхендюйма стояла корзинка с юной коброй. Поправив на голове тюрбан, начинающий заклинатель змей достал из кармана дрожащими руками флейту и поднёс её к губам. «На репетиции перед представлением пронесло, – подумал он, собираясь с духом и вдыхая в лёгкие побольше воздуха, – Бог даст, и сейчас пронесёт...» И он заиграл заунывную мелодию, которой его обучил опытный факир Хинди Бомбей.

Но Крюшон слегка ошибся в своих надеждах. Едва Шипучка показала из корзинки, юный заклинатель сообразил, что теперь он остался с очковой змеёй с глазу на глаз, и от страха потерял голову. Он сидел на блюде, поджав ножки, и как заведённый выводил одну и ту же мелодию, хотя её давно уже было нужно сменить на другую – и тогда бы Шипучка уползла обратно в корзинку и всё бы закончилось благополучно. Но Крюшон позабыл об этом, и несчастная дочка Фурии, выбравшись полностью на волю, стояла теперь на хвостике на краю корзины и, раскачиваясь в такт заунывным звукам, раздумывала о том, на что бы ей опереться.

Наконец ей в голову пришла блестящая идея, и она, слегка рванувшись вперёд, обвила кончик флейты и поползла по ней к мучителю-факиру. При этом она что-то тихо шипела, но что именно, Крюшон никак не мог разобрать.

Вдруг под сводами цирка раздались ещё новые звуки музыки. Они были довольно громкими и перебивали ноющие всхлипы флейты Крюшона. Это звучала флейта самого Хинди Бомбея, пришедшего на помощь ученику.

Услышав другую мелодию, Шипучка, которая уже доползла до носа неумехи факира, сделала невольную остановку и прислушалась. А потом, дав задний ход, спустилась обратно на свою корзинку и скрылась в её недрах.

Глупая публика, решив, что всё так и было задумано, наградила толстяка на блюде громом аплодисментов. Крюшон хотел встать и поклониться в знак благодарности добрым зрителям, но не смог и только виновато улыбнулся им и развёл руками.

– Уноси! Уноси! – закричал Кекс униформистам и схватился передними лапами за голову, опасаясь, что публика прозреет и на бедного факира посыплются насмешки.

Но этого не случилось, и господин Озверелли, едва представление закончилось, ворвался в комнату к дебютантам и, вручив им каждому по двадцать гнэльфдингов, предложил заключить контракт на дальнейшие выступления в его цирке. Но наши путешественники были вынуждены отказаться от заманчивого предложения: Тупсифокс и Морс – с грустью, а Крюшон – с радостью. Их, как мы знаем, ждали совсем другие дела...

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

Глава первая

В те времена, о которых идёт речь в нашем правдивом повествовании, княжество Злюкенберг ещё входило в состав Великого Гнэльф-

ланда. Но уже тогда его подданные старались жить наособицу от других гнэльфских княжеств и при любом удобном случае норовили дать всем понять, что злюки – народ особенный. И они, как ни странно, были в чём-то правы. Если другие гнэльфы в большинстве своём слыли добряками (да так оно и было на самом деле!), то о злюках шла молва по всему белому свету как о народце скверном и пакостном. Всё-то им было не по нраву, всё-то их не устраивало в этой жизни, на этой Богом данной благословенной земле.

Дурной характер, конечно, не мог не отразиться на внешности злюков, и в конце концов у них даже дети стали рождаться с сердитыми мордашками и обиженно надутыми губками.

Вот, наверное, почему однажды по всему княжеству прошло модное поветрие: злюки стали делать искусственные улыбки, а иногда даже целые маски, и наклеивать их на собственные физиономии. Эта мода сохранилась и до наших дней, только сейчас злюки применяют новейшие материалы, а тогда им приходилось пользоваться тем, что попадало под руку. Но злюки были неплохими мастерами – в этом им не откажешь, – и фальшивые улыбки, и поддельные, искусственные лица у них получались как настоящие.

Сыновья хозяина гостиницы «Приют пилигримов» господина Бауха, долговязый Фруктус и толстенький Свинтус, тоже увлеклись модным поветрием и вскоре достигли в этом занятии отличных результатов. При желании они могли сделать себе улыбки обворожительные и заискивающие, загадочные и насмешливые, добрые и едкие, глупые и улыбки «гнэльфа, умудрённого жизненным опытом»... Маски чужих физиономий выходили такими искусными, что можно было даже перепутать поддельное лицо с настоящим.

Единственное, что раздражало братьев-злюков (а всех злюков всегда что-нибудь раздражало!), так это нехватка образцов чужих физиономий. Наделав масок всех родственников и соседей, Фруктус и Свинтус взялись за других горожан. Но когда злюкенбергцы об этом узнали, они пообещали высечь ремнями на площади юных проказников. Ещё бы: кому понравится, если кто-то с его лицом разгуливает по городу и делает всякие глупости на потеху любопытным зевакам!

Вот почему сыновья господина Бауха несказанно обрадовались, когда в их гостиницу однажды заявили новые постояльцы: два гнэльфа и два пуппетролля. Едва увидев долговязого Морса и пухленького Крюшона, братья молча переглянулись и опрометью кинулись в свою комнату. Заперли дверь на крючок и принялись за дело.

Глава вторая

В гостинице «Приют пилигримов» многие номера пустовали, а цены за проживание в них были такими низкими, что новым постояльцам не пришлось сильно тратиться, и они поселились в двух отдельных комнатах: Морс и Крюшон в одной, а Кракофакс и Тупсифокс – в другой.

Хорошо отдохнув часа два или три на мягких постелях, пуппетролля пообедали купленными заранее в буфете бутербродами и занялись

кто чем: Кракофакс вновь завалился на просторную, как степь, кровать, а Тупсифокс вскарабкался на подоконник и стал с любопытством наблюдать за тем, что творится на улице.

Некоторое время он сидел молча, и его дядюшка успел даже слегка задремать, как вдруг Тупсифокс прижался вплотную носом к стеклу и громко зашептал, обращаясь к Кракофаксу:

– Смотри, смотри, дядюшка! Морс и Крюшон куда-то собрались! Вдруг они отправятся к Скорпине без нас? То-то нам обидно будет!

Кряхтя и сопя, Кракофакс взобрался по шторе на подоконник и посмотрел на улицу.

– Пройдохи! Решили от нас улизнуть! Конечно, делить богатство на двоих выгоднее, чем на четверых!

– Если богатство большое, то и на четверых помногу получится, – веско заметил математик Тупсифокс, – а если оно маленькое, то тогда и двоим ерунда достанется.

– Ты бы в цирке так рещал, как здесь! – окрысился старый пуппетроль. – Поэтому лучше помалкивай! Спускаемся вниз и идём за ними по следу! Они явно что-то замышляют! Недаром эти пройдохи надели другую одежду и сменили обувь. Но меня не проведёшь: я хорошо успел разглядеть их лица!

– На всякий случай, дядюшка, нам нужно стать невидимыми.

– Это само собой разумеется.

И невидимки преследователи бросились за гнэльфами по пятам.

Глава третья

Мальчишки шагали по улице молча, и лица обоих казались очень серьёзными и сосредоточенными. Видимо, вволю наспорившись у гостиницы, они пришли к какому-то важному решению, и теперь все дальнейшие разговоры были просто ни к чему. Намётанным глазом бывалого мошенника Кракофакс быстро определил, что в карманах юных гнэльфов лежат подозрительно тяжёлые предметы: карманы сильно оттопыривались и из них выглядывало что-то странное, очень похожее на рукоятки старинных пистолетов.

«Неужели эти пройдохи решились пойти на мокрое дело и пришить бедную женщину?! – ужаснулся Кракофакс, но тут же отбросил в сторону глупую догадку и подумал: – Нет, на это они не отважатся. Гнэльфы слишком порядочны, им такое и в голову не придёт. Наверное, они хотят поугатать Скорпину, вот и взяли с собой игрушечные револьверы...»

Дойдя до улицы Благих Намерений, мальчишки свернули направо и вскоре подошли к небольшому скверу. Там на одной из лавочек сидел паренёк с довольно противной рожицей (такой она показалась Тупсифоксу) и, видимо, кого-то ждал.

– Привет, Пакси! – сказал Крюшон каким-то странным, чужим голосом. – Как мы тебе нравимся? Говори честно, не стесняйся!

– Стесняться я не привык, впрочем, как и говорить правду, – криво усмехнулся Пакси. – Но выглядите вы клёво! Особенно ты, – и он ткнул кулачком в грудь улыбающегося Морса.

– Пушку не забыл? – напомнил Крюшон. – Чёрную маску, мешок, верёвки?

– Всё здесь, можно отправляться.

– Старина Баксмарк, поди, нас заждался! – хихикнул Морс, противно щуря глаза.

– Не будем его огорчать, давайте поспешим! – в тон ему ответил Крюшон и, вскочив со скамейки, торопливо зашагал по аллее к выходу из сквера. Пакси, схватив свёрток, побежал за ним. Морс тоже.

– Останемся здесь или будем преследовать? – спросил невидимка Тупсифокс невидимку дядюшку.

– Оба твоих предложения одинаковы глупы, – помедлив, процедил Кракофакс. – Поэтому выберем из этих глупостей ту, которая, может быть, принесёт нам хоть какую-то выгоду. Последуем за ними, Тупсифокс, и...

– ...пусть будет, что будет?

– Вот именно... – вздохнул старый пуппетролле.

Глава четвёртая

Морс и Крюшон отдыхали в своём номере не дольше, чем пуппетролли. Ну, может быть, на четверть часа, да и то вряд ли. Вот обедали они подольше, это верно. А когда прикончили свои запасы, обжора Крюшон решил спуститься в буфет за добавкой: кутить так кутить!

Выйдя из номера, он на минутку заглянул в соседнюю комнату – вдруг Тупсифокс захочет составить ему компанию? Но пуппетроллей в ней не оказалось. «Наверное, решили прогуляться, – подумал Крюшон, закрывая дверь. – Хотя какие могут быть прогулки в чужом городе, да ещё в Злюкенберге?!» Позабыв о буфете и дополнительных бутербродах, он вернулся к Морсу и сообщил ему последнюю новость.

Перебрав несколько версий исчезновения пуппетроллей и не придя к единому выводу, приятели решили отправиться на поиски коротышек. Нельзя сказать, что они очень по ним соскучились, но и бросать этих малюток на произвол судьбы они не хотели.

– Походим по улицам, спрашиваем прохожих. – Морс открыл дверь, пропуская вперёд толстяка Крюшона. – А заодно подышим свежим воздухом!

– Может быть, нагуляем аппетит, – вздохнул Крюшон, – а то он у меня совсем пропал!

Гнэльфы вышли из гостиницы и отправились наобум: сначала по улице Розовых Надежд, а потом свернули на улицу Благих Намерений, а с неё – на проспект Необычных Грёз. Пуппетроллей они, конечно, не нашли, зато нагулялись вдоволь. Когда у Крюшона вновь проснулся зверский аппетит, а у Морса слегка загудели усталые ноги, друзья решили вернуться в гостиницу: вдруг Кракофакс и Тупсифокс уже там?

– Сейчас спрошу кое о чём вон того мальчишку, – сказал Морс голодному толстячку и указал рукой в сторону молоденького расклейщика афиш, стоявшего возле большой круглой тумбы с ведёрком

клея и кипой свёрнутых в трубочки рекламных объявлений, – и мы отправимся обратно в «Приют пилигримов». Хватит рыскать по улочкам и искать на свои головы новые злоключения!

– Прозрел!.. Прозрел!.. – всхлипнул Крюшон и ткнулся носом в грудь поумневшего друга. – Наконец-то я услышал от тебя мудрые слова, дорогой Морсик!

– Ну-ну... – смутился длинноногий гнэльф. – Успокойся...

Он бережно отодвинул в сторону сентиментального толстячка и направился к расклейщику афиш. Подойдя к нему, Морс некоторое время молча разглядывал красочные афиши, уже наклеенные на тумбу. Потом проронил:

– Есть что-нибудь новенькое и достойное внимания?

– Ты не умеешь читать? Гони гнэльфдинг, и я прочту тебе все афиши!

Морс усмехнулся, оценив по достоинству деловую хватку юного злюка.

– Читать я умею. Но я не знаю, на что нам с приятелем потратить завтрашний день.

– За деловой совет я беру два гнэльфдинга...

Морс снова усмехнулся и протянул мальчишке две монетки по одному гнэльфдингу.

– Если вы любите хорошее пение, то отправляйтесь завтра на концерт Луизы Бекар. Там соберётся весь Злюкенберг! Концерт начнётся в шесть вечера и продлится до полуночи, но зато какой это будет концерт!..

Мальчишка сощурил зелёные глазки и с восхищением поцокал языком. Но Морс был вынужден его слегка огорчить:

– Певица – не для нас: мой приятель (он показал на стоявшего в сторонке Крюшона) глуховат.

Морс помахал толстячку рукой, привлекая его внимание, и беззвучно пошлёпал губами.

– Что? – крикнул Крюшон и прижал правую ладонь к уху. – Что ты сказал?

– Вот видишь, – вновь обернулся проказник Морс к расклейщику афиш, – мой дружок глух как пень. Поэтому ваша Луиза Бекар не для нас.

– Тогда вы можете принять участие в открытии железной дороги. Событие века! – воскликнул юный злюк. – Завтра в половине восьмого вечера отправляется в рейс первый состав. Он должен за ночь преодолеть сотню мерхенмилей и прибыть в Зондерлинг к девяти утра.

– Вот это развлечение для нас! – обрадовался Морс и хлопнул начинающего предпринимателя по плечу. – Сколько стоит билет? Надеюсь, не целое состояние?

– Сущие гроши! – хихикнул мальчишка-злюк. – Кроме вас, вряд ли ещё кто отважится сесть на Железного Дьявола!

– На дьявола и мы садиться не собираемся...

– Так злюкенбергцы прозвали паровоз, – объяснил мальчишка и, подхватив ведёрко с клеем и кипу афиш, помчался на другую улицу к другой тумбе.

А Морс вернулся к Крюшону.

– Если нам повезёт и мы найдём ожерелье Скорпины до завтрашнего вечера, то уже послезавтра утром мы будем вновь в Зондерлинге. Тебя радует такая перспектива, Крюш?

– Она меня радует... Но меня огорчают предстоящие сутки! Не знаю, как ты, а я не жду от них ничего хорошего... Ты уж прости меня, Морс!

Глава пятая

В то время когда настоящие Морс и Крюшон болтались по улицам Злюкенберга в поисках пропавших пуппетроллей, их двойники, Фруктус и Свинтус, а также сыночек Скорпины Мерзопакс, которого друзья называли ласково – Пакси, в сопровождении невидимого конвоя шли на «важное дело». Дойдя до здания с вывеской «БАНК Г. БАКСМАРКА», все пятеро остановились, и тройка юных злюков стала шёпотом о чём-то между собой переговариваться. Затем мальчишки быстро надели себе на головы чёрные капюшоны с прорезями для глаз и рта, выхватили из карманов пистолеты и кинулись внутрь помещения.

– Всем на пол! Это ограбление! – крикнул долговязый налётчик троим служащим банка и одному клиенту.

– Живо кидайте деньги в мой мешок! – пропищал толстенький грабитель, подбегая к окошку, за которым уже никого не было.

– Но я лежу на полу, как вы и велели! – раздался в ответ плачущий голос перепуганного кассира.

– Так встаньте и принимайтесь за дело! – огрызнулся толстяк, слегка смущённый первой осечкой в чётком плане налёта.

Пока несчастный кассир выгребал из ящиков гнэльфдинги и мерхенталеры, а двое других служащих банка и случайный посетитель лежали на полу, мучаясь раздумьями – следует ли им оказать сопротивление грабителям или лучше от него воздержаться, – два невидимых свидетеля преступления раскрыв рты стояли на пороге и ломали головы над вопросом: зачем это Морсу и Крюшону понадобилось устраивать налёт на местный банк? Наконец Кракофакса осенило:

– Да это же не они! Это просто их двойники! А мы-то с тобой гонялись за ними по пятам, как самые последние ослы! – Кракофакс схватил Тупсифокса за невидимый локоть и выволок племянника на улицу. – Пора отсюда убираться! Ни свидетелем, ни тем более соучастником преступления я не хочу быть. Надеюсь, и ты тоже.

– Конечно, дядюшка, а как же! Только давай постоим здесь ещё минуточку: я хочу посмотреть, как полиция будет хватать преступников.

И он ткнул невидимым пальчиком в ораву вооружённых до зубов полицейских, мчавшихся к банку г-на Баксмарка на всех парах.

Окружив здание со всех сторон (трое полицейских даже забрались на крышу), группа захвата приступила к самому ответственному моменту.

– Эй! – крикнул, сложив ладони рупором, полицейский со значком на груди. – Сопротивление бесполезно: вы окружены! Выходите по одному с поднятыми вверх руками!

Первым на его приказ откликнулся кассир. Он вышел к полицейским, держа дрожащие руки над головой, и со стороны могло показаться, что он танцует какой-то зажигательный танец: полусогнутые кисти так и ходили ходуном, а пальцы то сжимались, то разжимались, словно ударяя в невидимые кастаньеты.

– Вилли? – удивился полицейский, признав в танцоре кассира банка. Но быстро оправился от изумления и деловито спросил: – Сколько внутри налётчиков, Вилли?

– Трое...

– Отлично... Эй, а ну, выходи все трое! Грабли держать вверх!

Теперь команду старшего полицейского выполнили двое оставшихся служащих и единственный злосчастный клиент. Они вышли навстречу направленным в их сторону ружьям и пистолетам с поднятыми руками, в которых были зажаты мешки с деньгами.

– Попались с поличным... Прекрасно! – Руководитель группы захвата грубо толкнул пистолетом в спину ни в чём не повинного заложника грабителей. – Марш вперёд, и не вздумайте бежать!

Воспользовавшись тем, что полицейские на несколько секунд отвлекли своё внимание на невинных жертв налёта, настоящие грабители выскочили в открытую дверь банка и бросились врассыпную.

– Держи! Лови! – закричал, не выдержав, Тупсифокс и замахал невидимыми ручками в сторону хитрых разбойников.

Полицейские очнулись, но было поздно: Фруктус и Свинтус успели от них удрать. И только медлительному Мерзопаксу ужасно не повезло: он попался в лапы полицейских. Вместе с поличным!

Глава шестая

Наутро Морс, листая газету «Злюкенбергский вестник», наткнулся на небольшую заметку и два портретика. Прочитав заметку и всмотревшись в лица подозрительных типов, Морс помрачнел и сунул раскрытый «Злюкенбергский вестник» Крюшону:

– Что-то ты грустный... На, почитай, может быть, это тебя слегка развеселит...

«Попытка ограбления банка»

Вчера вечером была совершена попытка ограбления банка господина Баксмарка. Трое вооружённых налётчиков ворвались в помещение и, угрожая пистолетами, стали набивать мешки деньгами. Но кассиру В. Пфеннингу удалось нажать на кнопку и вызвать полицию. Поняв, что они попались, налётчики попытались удрать. Двоим повезло, и они сбежали. Третий был задержан. В интересах следствия имя арестованного мы не сообщаем. Публикуем портреты его соучастников, сделанные со слов раскаявшегося преступника. Если кому-нибудь что-нибудь известно о гнэльфах, изображённых на портретах, просим сообщить эти сведения в полицию. Награда в 100 гнэльфдингов гарантируется».

Прочитав заметку, Крюшон посмотрел на портреты. Их рисовал явно не выдающийся живописец. Да и Мерзопакс не был золото-

устом, и его описание внешности преступников – соучастников ограбления – наверняка страдало какой-то незаконченностью и неточностью. Но и в том, что вышло из-под карандаша неизвестного злюкенбергского портретиста, всё-таки можно было без особого труда узнать физиономии закадычных друзей. И Крюшон их, конечно, узнал и очень огорчился.

– Оказывается, нас разыскивает полиция, – произнёс он, – оказывается, мы ограбили банк... А я и не знал об этом!

– Зато теперь нам это известно! – поспешил его успокоить Морс. – Теперь нас врасплох не застанешь! Одевайся, Крюш, завтракай и...

– ...пойдём сдаваться? – перебил приятеля Крюшон и начал выполнять его второе указание.

– Нужно сматываться. Доказывать злюкам, что мы не имеем к ограблению никакого отношения, я не собираюсь. Переждём до вечера где-нибудь в укромном месте, а затем прогуляемся к Скорпине в гости. Надеюсь, ты не забыл, за чем мы приехали в Злюкенберг?

– Помню... Только правильнее было бы сказать «за кем». Ну, и где же твоё «укромное местечко»? Ты его ещё не подыскал?

– Конечно, нет. Я только сейчас узнал о таком сюрпризе. – Морс хлопнул рукой по «Злюкенбергскому вестнику». – Признаться честно, я даже не знаю, что случилось на самом деле и кто нам подложил эту свинью.

– Зато я знаю! – раздался вдруг знакомый писклявый голосок из коридора. – Откройте дверь, я вам всё сейчас расскажу!

Глава седьмая

Когда Тупсифокс поведал гнэльфам о событиях, развернувшихся накануне вечером в помещении банка г-на Баксмарка, то первое время Крюшон и Морс не могли даже ничего сказать от волнения и негодования. А Тупсифокс сочувственно произнёс:

– Да, вам не позавидуешь... Застрянете в Злюкенберге лет на пять, на десять, тогда и попляшете!

– А вы не застрянете? – косо взглянул на глупышку пуппетролля расстроенный Морс. – Без нас вам в Гнэльфбург не вернуться!

– Верно! А я про это как-то не подумал.

Он помолчал и вдруг решительно заявил:

– Пойду сейчас же в полицию и разберусь с противным Мерзопаксом! Заставлю его отречься от лживых показаний!

– Ты?! – удивился Морс. – Да он на тебя и не посмотрит!

– И не надо на меня смотреть. Главное – пусть послушает... Дождитесь меня здесь, а я скоро вернусь.

Глава восьмая

– Мой сын вам во всём признался, господин начальник. – Фрау Скорпина склонила голову чуть-чуть набок, показывая шефу полиции искусственную виноватую улыбку в новом ракурсе. – Он больше не будет... Мальчик шалил, он играл в разбойников...

– Зачем же тогда он убегал от моих парней, да ещё с мешком денег?!

– Пакси увлёкся... Он такой впечатлительный... – Скорпина достала из сумочки горстку золотых монет и выложила их на столе перед носом начальника полиции аккуратным столбиком. – Поймите, пожалуйста, негодников, втянувших моего сыночка в эту грязную авантюру! Награда – за мой счёт...

Шеф злюкенбергской полиции побагровел, однако монетки со стола торопливо сгрёб и громко крикнул:

– Эй, стража! Приведите сюда задержанного Мерзопакса! Живо!

Когда незадачливого грабителя доставили в кабинет начальника, Скорпина вскочила со стула и подбежала к сыночку, чтобы заключить его в объятия. Но Мерзопакс, застеснявшись усатых стражников, оттолкнул мамашу и глухо проворчал:

– Вот ещё... Что я – телёнок?

– Ты глупый мальчишка, которого обвели вокруг пальца хитрые гнэльфы! – рявкнула Скорпина, забыв на секунду о своей роли «страдающей матери». Её искусственная улыбка сползла с лица, обнажив природную – злорадную и кривую. – Марш домой и не смей больше якшаться с этими проходимцами!

– Не волнуйтесь, он не будет якшаться, – заверил её начальник полиции, – скоро мы их выловим!

Скорпина содрала с лица прозрачную плёнку и с ожесточением сунула её в сумочку. Достала зеркальце, пудреницу и стала прихорашиваться.

– Поблагодари господина начальника, Пакси, он тебя отпускает на поруки, – сказала хитрая мамаша неудачнику сыну. – Другой бы на его месте...

– Выпорол бы тебя ремнём! – перебил Скорпину шеф полиции и весело расхохотался. – Впрочем, это могу сделать и я – ремень-то при мне!

– Где у вас туалет? – вскрикнул вдруг Мерзопакс и согнулся крючком. – Скорее отведите меня в туалет!

Начальник полиции дал знак стражникам, и те поволокли несчастного туда, куда он просил.

– Придётся вам подождать, фрау, мальчишке у нас, кажется, понравилось!

Шеф полиции снова хохотнул и показал Скорпине на листок бумаги, лежащий перед ним на столе:

– Распишитесь здесь внизу, пожалуйста. Порядок есть порядок.

Глава девятая

Оказавшись в туалетной комнате, Мерзопакс дождался момента, когда стражники оставят его одного, затем распрямился и вышел в небольшой вестибюль. Здесь было пустынно и тихо и можно было расслабиться после пережитых волнений.

Вдруг Мерзопакс услышал какое-то подозрительное цоканье по кафельному полу вестибюля, а через несколько секунд и чей-то писклявый голосок:

– Ага-а!.. Курим!.. За это нужно тебя ещё подержать в полиции ночью – может быть, станешь умнее.

Мерзопакс взвизгнул от страха, вскочил со стула и сунул непогашенную трубку в карман.

– Кто здесь?! Почему я вас не вижу?!

– Я – ду-ух!.. Дух погибшего полицейского Цапкинса! Я наказываю преступников, которым удалось избежать приговора! Таких, как ты-ы-ы!.. Ты подставил двух честных гнэльфов, выдал их за своих сообщников... За это тебя ждёт справедливая кара: ты будешь замурован в подземелье Проклятых Ведьм!

– Нет!.. Я не хочу!.. Я покаюсь!.. Я назову имена Свинтуса и Фруктуса!.. Вот я уже их назвал!

– Фруктус и Свинтус? Сыновья хозяина гостиницы «Приют пилигримов»? – невидимый дух погибшего полицейского удовлетворённо хмыкнул.

– Вы их знаете?!

– Цапкинс всё знает. Даже то, что ты сгоришь заживо, если не позаботишься о себе сию же секунду!

Мерзопакс понял намёк и, вынув трубку из кармана, принялся ладошкой гасить тлеющие штаны.

– Я готов покаяться, господин Дух... Я больше не буду нападать на банки...

– Охотно верю. Но из покаяния шубы не сошьёшь. Ты должен сделать доброе дело. Даже два!

– Хоть три! – обрадовался Мерзопакс.

Но невидимка Цапкинс остудил его горячий пыл:

– Хватит и двух добрых дел. Во-первых, ты заставишь своих соучастников явиться в полицию с повинной и вернуть украденные ими деньги...

– Так они и явятся!

– Тогда за ними придут полицейские. А вместе с полицейскими прилечу и я... – Цапкинс выдержал паузу и продолжил: – Второе доброе дело будет посложнее. Но о деталях ты узнаешь чуть позже, мне нужно кое с кем посоветоваться... В шесть вечера мы будем ждать тебя в сквере Забытых Предков, возле памятника рыцарю Тигрису. Ты придёшь туда?

Мерзопакс утвердительно кивнул головой и робко поинтересовался:

– А сколько духов будет там меня ждать? И как я узнаю, который из них вы?

Цапкинс тихо чертыхнулся, поняв свою оплошность, и сердито пропищал:

– В сквер явлюсь я один! И узнавать меня не нужно: я сам тебя узнаю!

– Да-да, – испугался Мерзопакс, – я всё понял!

Глава десятая

Когда Тупсифокс рассказал Крюшону, Морсу и дядюшке Кракофаксу о том, как он ловко выведал у сынка Скорпины детали ограбления банка и как заставил Мерзопакса пойти к Фруктусу и Свин-

тусу уговаривать их сдаться полиции, гнэльфы очень обрадовались и похвалили мальчишку-пуппетролля за его находчивость. И только Кракофакс, выслушав историю о «невидимке Цапкинсе», сердито фыркнул и процедил сквозь зубы:

– Ну ты и глупышка, Тупси! Нужно было сделать так, чтобы Фруктус и Свинтус принесли денежки тебе. А ты их проворонил!

– Зато теперь полиция не будет искать Морса и Крюшона, и они смогут свободно ходить по Злюкенбергу, – обиделся Тупсифокс. – В шесть вечера Мерзопакс будет ждать меня в сквере Забытых Предков. Я хочу заставить этого трусишку выкрасть ожерелье у Скорпины.

– Верное решение! – похвалил племянника Кракофакс. – Молодец, это – по-пуппетрольски!

– Нет-нет! – испугался Крюшон. – Только не кража! Мы не воры, мы – спасатели Трёхглазого Петера, нам нужна всего лишь одна-единственная жемчужина!

– Да и за ту мы заплатим деньги, – добавил Морс.

– Обокрасть собственную мамочку – лучше шутки не придумать! – не унимался Кракофакс, не забывая при этом уничтожать пирожное. – Пуппетролли будут передавать из уст в уста историю о твоей проделке, Тупси! Ты прославишься в веках!

– Как подлый мошенник и негодяй! – добавил Морс и натянул Тупсифоксу его клоунский колпак по самые уши.

– Эй-эй! – пискнул юный пуппетроль. – Не трогайте мою шляпу! Если вам хочется самим добывать жемчужину с прорицателем Петером – пожалуйста, добывайте! Но без нашей помощи. Да, дядюшка?

– Разумеется! Платить за бракованную жемчужину с каким-то заколдованным типом внутри я не намерен!

– Ты зря обиделся, Тупси, – миролюбиво проговорил Морс, – ты уже нам помог: отвлек Мерзопакса. В шесть вечера Скорпина тоже покинет его – она уедет в театр, на концерт певицы Луизы Бекар. Мы сможем спокойно заняться поисками ожерелья!

– Поезд в Зондерлинг отправляется в половине восьмого, ты сам об этом говорил, – напомнил другу Крюшон.

– Полтора часа – да за это время горы можно свернуть! – воскликнул Морс. – Вот увидите, у нас всё получится!

Глава одиннадцатая

Скорпина и её сынок Мерзопакс жили в большом двухэтажном доме с мезонином на самой окраине Злюкенберга. Дом стоял на невысоком холме, и его со всех сторон окружал густой, тенистый сад, похожий на лес. Несмотря на то, что и по дому, и за его пределами было полно всякой работы, слуг у Скорпины насчитывалось не более десятка, да и те проживали отдельно от хозяйки. Рано утром они приходили к своей госпоже, получали от неё задания на день, а к вечеру, доложив о сделанном, расходились по своим домам.

Вот и сегодня, закончив пораньше все дела, слуги покинули дом Скорпины после пяти часов. Только старая горничная фрау Пробкинс всё возилась и возилась, стряхивая с чистейших столов и шкафчиков невидимую пыль и глухо ворча на паучка за громоздким сервантом,

до которого она никак не могла добраться своей щёткой. Наконец Скорпине всё это надоело:

– Долго ли вы ещё намерены ползать по комнатам, фрау Пробкинс? Я опаздываю на концерт! Вы же знаете, я не люблю, когда в доме кто-нибудь остаётся в моё отсутствие!

– Вот обворуют – тогда полюбите... – тихо буркнула старая горничная. – Всё на свои фокусы надеетесь? Ну, надейтесь, надейтесь...

И, позабыв попрощаться с хозяйкой, фрау Пробкинс побрела к себе домой.

Сердито фыркнув вслед ворчливой старушке, Скорпина встала из-за туалетного столика и, ещё раз взглянув на себя в большое зеркало и поправив на щеке край «обворожительной улыбки», тихо произнесла:

– Хороша! Чертовски хороша!

После чего, продолжая любоваться своим отражением, громко крикнула:

– Пакси! Ты где? Я сейчас ухожу!

Но ответом ей было гробовое молчание.

Она вышла из спальни, спустилась вниз – Мерзопакса нигде не было. «Удрал! Точно удрал! А я ведь велела ему сидеть три дня дома и не высовывать на улицу даже носа! Ну и дети пошли: не слушаются не только родителей, но и волшебниц! А что через сто лет будет? Сплошной кошмар!»

Вспомнив о «кошмаре», Скорпина подошла к небольшому зеркалу в холле и тихо сказала:

– Глю-у-ук! Я ухожу, будь настороже!

Рама зеркала скрипнула, по стеклу пробежала лёгкая тень, и всё успокоилось.

– Ну-ну, я на тебя надеюсь!

Глава двенадцатая

Не успела карета с госпожой Скорпиной скрыться за поворотом, как на пороге дома злюкенбергской колдуньи возникли две фигуры.

– Кажется, никого... – прошептал долговязый незванный гость, открывая дверь и первым входя в большой, просторный холл.

– Это пока никого, а потом такие «кого» появятся!

Выступив в роли предсказателя, низкорослый толстячок замолчал и робко вошёл вслед за приятелем внутрь помещения.

– Не бойся, Крюш, никто здесь не появится.

Морс приблизился к напольному зеркалу. И тут в зеркале что-то скрипнуло, по стеклянной глади прошла какая-то рябь, а из мутных глубин зазеркального пространства высунулась вдруг чья-то мохнатая лапа и, схватив Морса за руку, стала тащить его к себе. Затем появился и сам хозяин мохнатой лапы – страшный лохматый уродец, похожий на обезьянку и чёрта одновременно – и, вцепившись уже не одной, а двумя лапами, стал ещё сильнее тащить упирающегося мальчишку в своё жилище.

– Крюш!.. Помоги!.. Мне одному не справиться!

Бледный как полотно толстячок схватил дружка за ворот рубашки и что было силы потянул к себе.

– Крюш, ты меня задушишь! – прохрипел Морс и крепко боднул лбом зазеркального монстра в нижнюю челюсть. – Попробуй что-нибудь другое, Крюш, только поскорее!

В отчаянии толстячок выпустил из рук злополучную рубашку и, не придумав ничего умнее, стал швырять в ужасного уродца свои продуктовые запасы, которых у него в карманах было превеликое множество.

Морс, который уже терял последние силы, внезапно почувствовал, что мёртвая хватка лохматого чудовища слегка ослабла. Оно само выпустило из лап мальчишку и бросилось подбирать крюшоновы гостинцы.

– Конфетка!.. Сухарик!.. Колбаска!.. Сырок!.. – шептало оно, ложно какой-то стишок, названия свалившихся ему на голову угощений, не обращая уже никакого внимания на непрошенных гостей. – Ну и подфартило сегодня Глюку, ну и подфартило!..

Морс отпрянул от зеркала:

– Сматываемся отсюда, Крюш!

Услышав слово «сматываемся», Крюшон, было, обрадовался, но вскоре вновь поскуцнул. Оказывается, это слово он понял неправильно: Морс имел в виду не «давай убежим из этого проклятого дома», а подразумевал совершенно иное: «давай уйдём из холла в другие комнаты».

– Тебе мало потасовки с этим типчиком? – Пухленький гнэльф мотнул головой в сторону зеркала. – Учти: мои карманы уже пусты!

Однако Морс настоял на своём, и гнэльфы вновь двинулись на поиски жемчужного ожерелья. Пройдя весь первый этаж и не найдя там ничего, что хотя бы слегка напоминало ту вещицу, за которой они сюда заявились, наши герои поднялись на второй этаж и торкнулись в первую же попавшуюся им дверь. Она отворилась, и гнэльфы вошли в большой, просторный зал, весь уставленный и обвешанный зеркалами всевозможных форм и размеров.

– Здесь ожерелья нет, – прошептал Крюшон и попятился обратно к выходу. – Идём-ка отсюда быстрее, Морс, иначе...

Он не договорил, потому что упёрся задом в дверь, которая оказалась вдруг заперта на замок.

– Мы в западне, Морсик... Впрочем, этого и следовало ожидать...

– Но здесь нет монстров! А дверь мы, если понадобится, вышибем. Её просто заклинило, наверное.

– Ты уверен, что ИХ здесь нет? Я не уверен...

Морс подошёл к зеркалам и, заглядывая поочерёдно то в одно, то в другое, весело проговорил:

– Успокойся, Крюш, чудовищ нет! Это – комната смеха, в ней стоят кривые зеркала! Иди сюда и посмотри, какой я смешной! Я толще тебя, честное слово!

Нехотя толстячок приплёлся к стене с зеркалами и нехотя заглянул в одно из них. Увидел страшного карлика с огромной, как тыква, головой и, не узнав в нём себя, в ужасе отшатнулся назад. Посмотрел в другое зеркало и брезгливо скривился: он понял, что отражённый в нём толстяк на длинных спичечках-ножках – это он сам.

– И ничего не вижу в этом смешного, это юмор для злюков, а не для умных гнэльфов!

– Ты прав, но всё-таки...

Морс вдруг замолчал и отшатнулся от зеркала: его искажённое отражение внезапно перестало повторять вслед за ним движения, а вместо этого внимательно уставилось громадными, как чайные блюдца, глазницами на стоявшего к нему спиной толстенького гнэльфа. Это сделали и три других отражения – одно Морса и два Крюшона.

– Эй, Крюш... Только не дёргайся... Медленно повернись и посмотри сюда...

Лучше бы он этого не говорил! Едва трусливый толстячок послушно выполнил просьбу, так тут же пустой, но огромный зал заполнился поросячьим визгом. Крюшон так громко орал, что даже искажённые монстры-отражения не выдержали и зажали себе уши руками. А те, у которых ушей почему-то не было, затрясли уродливыми головами и бесшумно затопали ногами. Когда же поросячий визг наконец-то затих, а чудовища от него опомнились, то они стали один за другим выскакивать из зеркал и медленно окружать настоящих Крюшона и Морса со всех сторон.

– Их уже не четверо, а пятеро... Нет, шестеро!.. А вот седьмой... восьмой...

Насчитав первый десяток фальшивых Морсов и Крюшонов, толстенький гнэльф осёкся и пожал плечами: предсказывать будущее Крюшон никогда не брался, хотя и не сомневался в том, что оно должно быть светлым и очень счастливым.

Самый мерзкий уродец – толстяк на длинных ножках, с короткими руками и треугольной головой – вышел вдруг из плотного кольца вперёд и, приблизившись вплотную к дрожащему словно осинка на ветру Крюшону, что-то беззвучно прошлёпал жабьими губами.

– Что он сказал, Морсик? Я ничего не слышал!

– Я тоже. По-моему, его интересует, кто мы такие и что здесь делаем.

– Мы – безумцы. А сюда мы забрели попрощаться с жизнью...

Ожившим уродцам-отражениям понравился ответ трусишки гнэльфа, и они весело замахали кривыми ручками и что-то зашептали друг другу на только им понятном беззвучном языке придыханий и вздохов. Когда же веселье немного поугасло, фантомы-отражения ещё теснее сомкнули круг и стали медленно его сужать, всё ближе и ближе подкрадываясь к своим пленникам.

Морс сжал кулаки, принял боксёрскую стойку и прижался спиной к спине Крюшона.

– Так просто я им не дамся, – сказал он и грустно усмехнулся: – Ты уж прости, Крюш, если я слегка расквашу физиономию твоим отражениям! Надеюсь, ты не будешь за это на меня в обиде?

– Не буду, Морс... Я не успею обидеться...

Внезапно запертая входная дверь распахнулась, и на пороге возник лохматый страж с первого этажа.

– Я всё съел! – доложил он незваным гостям, совершенно не обращая никакого внимания на зеркальных фантомов. – Но я хочу ещё! У вас что-нибудь есть?

– Поищите на кухне, господин Глюк, – отозвался Морс, отталкивая от себя самого нахального призрака. – Мы с Крюшончиком вам, конечно бы, помогли, но нас не пускают...

– А вы скажите волшебные слова – они и исчезнут!

– А какие именно? – поинтересовался Морс и снова стукнул кулаком похожего на шкаф монстра. – Мы в суете их совсем позабыли!

– Да-да, – кивнул Крюшон, вежливо отпихивая от себя уродца с трёхугольным туловищем, – они вылетели у нас из головы!

Лохматый сторож постоял в дверях, о чём-то раздумывая, затем подошёл к фантомам.

– Чок дзынь бум! – сказал он довольно громко и, прокашлявшись, добавил: – Звяк хлоп бух!

Ужасные призраки ещё сильнее замахали руками, быстро-быстро зашлёпали беззвучно губами и вдруг, оттолкнувшись от пола, один за другим полетели обратно в зеркала – каждый в своё.

– Теперь идёте на кухню, – напомнил Глюк застывшим как изваяния гнэльфам. – Я хочу есть!

– С удовольствием! – очнулся от лёгкого паралича Крюшон. – Ведите нас туда, дорогой друг, да поскорее!

– Вы готовьте ужин, а я ещё прогуляюсь по комнатам, – проговорил Морс, подмигивая приятелю левым глазом. – Здесь так много интересного!

– Даже слишком много, – буркнул толстячок и поспешил к выходу. – Одного я тебя не отпущу, Морсик, так и знай! Вот накормим господина Глюка, а уж потом отправимся вместе с ним на экскурсию.

– И опоздаем на поезд! – Морс был неумолим.

Вздохнув, лохматый сторож проговорил:

– Ладно, ребятки, я вижу, вы торопитесь. Проводите меня на кухню и зажгите плиту, а я уж сам позабочусь об ужине.

– Вот это другое дело! – обрадовался Морс. – Тогда – живо за мной!

Глава тринадцатая

Наскоро разогрев бифштексы и сварив какао, гнэльфы усадили лохматого сторожа за стол и поставили перед ним тарелки с дымящейся едой и красивую чашку с блюдечком.

– Давненько я так хорошо не ужинал! – потёр ладошки Глюк, и его глазки забегали от бифштекса к ромштексу и от какао к вазочке с печеньем.

– Вот и поужинайте! Не спеша... – Морс помолчал и добавил: – Приятного аппетита!

Потом подмигнул Крюшону и попятился прочь из кухни. Раздираемый противоречивыми чувствами, грустный толстяк поплёлся за ним. Поднявшись вновь на второй этаж, гнэльфы миновали зал с кривыми зеркалами и приблизились к комнате, в которой располагалась спальня хозяйки дома.

– Наверняка она ожерелье с Трёхглазым Петером здесь прячет! – зашептал Морс, входя в полутёмное помещение (окна в спальне были

плотно зашторены). – Хочет, чтобы оно всё время под рукой было, чтобы не украли какие-нибудь бродяги.

– Бродяги во времени, – уточнил Крюшон, – знаю, слышал про таких...

Морс слегка смутился и прикусил язык. Молча порылся в двух больших шкафах, проверил всё в туалетном столике, заглянул под кровать и за шторы – ожерелья с зондерлингским оракулом нигде не было. В шкатулке и ящиках лежали ожерелья: рубиновые, самшитовые, янтарные, бриллиантовые... Но жемчужного среди них не оказалось ни одного.

– Может быть, она надела его в театр? – предположил Крюшон.

Но Морс в ответ только яростно замотал головой и вновь принялся за поиски.

И вдруг он, мельком взглянув в большое зеркало на туалетном столике, застыл на месте как вкопанный, а потом тихо прошептал:

– Ты посмотри сюда, Крюшончик!..

Юный толстяк, у которого за каких-то неполных полчаса выработалось стойкое отвращение к зеркалам, нехотя повернул голову туда, куда указывала дрожащая от волнения рука приятеля.

– Ну посмотрел... Ну и что? Славу Богу, никаких монстров я там не вижу. Вижу только шкаф.

– А какие на нём ручки?!

– Серебряные.

– А на этом? – И Морс ткнул пальцем в шкаф за своей спиной.

– Золотые...

– В зеркале стоит ДРУГОЙ ШКАФ! – воскликнул Морс и смело протянул руку вперёд – к шкафу-отражению.

Взялся за серебряную ручку, потянул её на себя... Дверца зазеркального шкафа открылась, и гнэльфы увидели на одной из полок шкатулку с инкрустацией. Морс открыл крышку шкатулки и вынул со дна жемчужное ожерелье.

Ветхая нитка, на которую были нанизаны белые с перламутровым отливом бусинки, не выдержала сильной встряски и с тихим треском лопнула. Жемчужины, сыграв на прощанье барабанную дробь, упали на пол и раскатились по углам и закоулкам, а некоторые даже провалились в трещины между половицами. И только одна – самая крупная жемчужина осталась лежать на полу возле ног торопыги гнэльфа.

– Что я наделал! – побледнел Морс. – Теперь и за десять часов нам не собрать упавших жемчужин!

– Давай соберём хотя бы те, что на виду, – предложил Крюшон. – Гляди, Морсик, все бусинки укатились, а эта лежит как приклеенная!

Гнэльфы подошли к окну и осмотрели жемчужину повнимательнее. Морс решил проверить её на просвет. Сощуриив левый глаз, правым он зорко впился в перламутровый шарик, держа его в вытянутой в сторону окна руке.

– Что-то виднеется... Не то мушка, не то блоха... А может быть, и просто мусоринка.

Крюшон отобрал у приятеля жемчужину и тоже посмотрел её на просвет.

– Это – гнэльф! – сказал он уверенно. – У мух и блох по шесть ног, а у этого существа – четыре. Точнее, две ноги и две руки. Это – Трёхглазый Петер!

– Ну что, берём? – Морс достал из кармана пять монет по десять гнэльфдингов и выложил их столбиком на туалетном столике Скорпины.

– Берём! – отважно выдохнул Крюшон и бережно положил жемчужину в металлическую баночку из-под леденцов, которую он припас заранее.

– Прощаться с Глюком не станем? – спросил Морс, лукаво посмеиваясь. – Кто знает, что взбрeдeт ему в голову после того, как он наберётся сил?

– Никто не знает, – согласился Крюшон. – Уйдём не прощаясь!

Глава четырнадцатая

Луиза Бекар была действительно прекрасной певицей. Но зато госпожа Скорпина была очень плохой театралкой. Когда Луиза Бекар запела «Балладу о блудном сыне», Скорпина вспомнила о пропавшем Мерзопаксе и решила покинуть театр и вновь поискать непутёвого мальчишку.

«Всё равно никто на меня не смотрит, – подумала она и полезла в сумочку за зеркальцем и губной помадой, – все уставились на эту крыску Луизку... А если кто и посмотрит, так не оценит издали мою новую обворожительную улыбку... Кстати, её нужно снять и наклеить другую – «доброй, заботливой мамочки»...

Закончив заниматься макияжем, Скорпина хотела было уже подняться и выйти из ложи, как вдруг ей в голову взбрела ещё одна идея: «А не посмотреть ли, где сейчас находится Мерзопакс? Вдруг он уже давно полёживает в постели, а я тут понапрасну себя мучаю? Тогда я могла бы заглянуть в ресторан и от души ещё немного повеселиться... Правда, каждое лишнее волшебство отнимает у меня много сил, но чего не сделаешь ради дорогого сыночка!»

И злюкенбергская колдунья, склонившись над зеркальцем, произнесла заклинание: «Флик-фляк-флюк!.. Звяк-дзынь-бум!..»

Гладкая поверхность зеркала затуманилась, подёрнулась мелкой рябью... А когда рябь и туман исчезли, в глубине зеркальца показались комнаты дома Скорпины: сначала холл и кухня, потом комнаты первого этажа, затем второго... Грязная посуда и объедки, оставленные Глюком на кухне, не смутили хозяйку дома: Мерзопакс часто устраивал подобный погром, возвращаясь с улицы и набрасываясь на еду словно голодный волк. Но вот стопка монет на туалетном столике в её спальне и рваная ниточка из-под ожерелья очень взволновали злюкенбергскую колдунью. «Неужели Мерзопакс похитил жемчуг? Но зачем тогда он оставил деньги? Платить за украденное – на это Пакси не способен, по себе знаю! Значит... Значит, это кто-то другой похитил жемчужное ожерелье!»

Скорпина вновь взглянула в зеркальце и увидела две маленькие жемчужинки возле кроватной ножки. «Ага!.. Нитка порвалась, и ожерелье рассыпалось!» – догадалась волшебница и злорадно рассмеялась, забыв о том, что всё ещё находится в театре. На неё заши-

кали соседи, и Скорпина поспешила покинуть ложу. Но, выходя уже на улицу и подзывая взмахом руки свободную карету, она вдруг вздрогнула и побледнела: «Однако ведь кто-то оставил деньги на столике! Но за что? Наверное, за жемчужину с зондерлингским оракулом! А если это так, то, значит, и сбудется его предсказание!.. Но этому не бывать, не бывать!»

Глава пятнадцатая

Поезд на Зондерлинг отходил в девятнадцать часов тридцать минут по местному времени. Если бы он отправлялся в рейс в девятнадцать двадцать пять, то наши герои на него обязательно бы опоздали, и тогда ещё не известно, как закончилась бы эта история. Но гнэльфам и пуппетроллям повезло: в девятнадцать двадцать восемь они появились на платформе (появились Морс и Крюшон, а Тупсифокс и Кракофакс сидели в сумке, которую держал взмыленный толстячок Крюшон). Гнэльфы запрыгнули в вагон для пассажиров – всего в составе было два вагона: один пассажирский, другой багажный – показали билеты проводнику Безенкопфу и вошли в ближайшее купе.

– Успели! – сказал Морс, светясь улыбкой и вытирая со лба пот. – Я говорил тебе, что мы не опоздаем!

– У тебя был верный шанс ошибиться... Ладно, Морс, забудем про это... – Крюшон положил сумку с пуппетроллами на лавку и тоже достал из кармана носовой платок. – Ну и жара! Я весь взмок!

– Сейчас вечер, скоро станет прохладнее. – Морс выглянул в коридор и удивлённо присвистнул: – Кажется, мы одни в вагоне! Исторический рейс, а нет ни пассажиров, ни провожающих! И, главное, нет оркестра и цветов! Такое событие – и никакой шумихи!

– Тебе обязательно нужна шумиха... – поморщился Крюшон. – Дай хоть часок отдохнуть!

Вагон вдруг дёрнулся, и мимо окна поплыли привокзальные строения, тополя и клумбы с яркими цветами.

И в этот момент в купе вошёл ещё один пассажир и, поздоровавшись с юными гнэльфами, уселся на свободное сиденье. Это был красивый молодой брюнет, с чёрными щегольскими усиками, высокий, стройный, одетый в приятного сиреневого цвета костюм и обутый в начищенные до блеска тёмно-жёлтые, почти коричневые, туфли. Синий галстук-бабочка с бриллиантовой булавкой-заколкой на безукоризненно отглаженной белой сорочке делали его ещё больше похожим на кинозвезду со старинных афиш и плакатов.

Глава шестнадцатая

– Эдвард Гэг, – представился юным спутникам новый пассажир исторического рейса и посмотрел внимательным, изучающим взглядом на притихших разом друзей. – Я вижу, моё имя вам о чём-то говорит?

– Да... – прошептал Крюшон и проглотил сухой комок, подступивший к горлу. – Говорит...

– Мы про вас уже слышали, господин Гэг, – признался Морс и почему-то махнул рукой в открытое окно, – там.. и немного раньше...

В сумке, стоявшей на лавке в углу, кто-то завозился и тяжело вздохнул. Этот шорох и этот вздох не прошли мимо ушей знаменитого волшебника незамеченными.

– Зайцы? – Он показал на подозрительную сумку и добродушно улыбнулся.

– Не совсем... Пуппетролли. – Морс заглянул в убежище крошечных путешественников и пригласил их выйти наружу.

Кракофакс и Тупсифокс выползли из сумки на лавку и, щурясь от яркого света, уставились на всемирно известного чародея.

– Рад познакомиться, меня зовут Эдвард Гэг, – ещё раз представился красавец-брюнет теперь уже пуппетроллям.

– Кракофакс, – нехотя буркнул седенький малютка-старичок.

– Тупсифокс! – весело отчеканил крошка-мальш в клоунском костюме. – А вы думали, что в сумке зайцы? – И он задорно, от всей души расхохотался.

– На билеты для всех не хватило денег, – объяснил Гэгу смущённый Морс, – а бросать кого-то в Злюкенберге мы не хотели.

– Кстати, господин Гэг, у нас тут прячется ещё один «заяц», – Крюшон достал вместе с платком металлическую баночку из-под леденцов и, бережно открыв крышку, показал волшебнику жемчужную бусинку из ожерелья Скорпины. – Вы не можете его, как бы это поточнее выразиться...

– Расколдовать! – прямо и открыто вылепил Морс и протянул перламутровый шарик Гэгу. – Злая колдунья превратила зондерлингского оракула и предсказателя в крошечную козьявку и заточила его в этой жемчужине. Но бедняга Петер никак не заслуживает подобной участи!

Волшебник Гэг покатал в ладони жемчужину и вдруг, подкинув её, что-то быстро произнёс (что именно – никто не успел разобрать, даже Кракофакс, у которого на заклинания был особенно острый слух).

А когда Гэг поймал летящую вниз жемчужину, то в купе уже находилось не пять, а шесть пассажиров. И этим шестым был не кто иной, как Трёхглазый Петер! Великий чародей вернул Крюшону бусинку и, улыбнувшись новому попутчику, сказал приветливо:

– Присаживайтесь, дорогой Петер Шмидт. Вы, наверное, очень устали, сидя в жемчужине скрюченным в три погибели?

– Не то слово! – пожилой гнэльф с добродушным и приятным лицом попробовал распрямиться в полный рост, но не смог, и, слегка поморщившись, проговорил: – Не всё сразу – хорошего понемножку! – Посмотрел на гнэльфов, на пуппетроллей и добавил: – Значит, я не ошибся, и всё идёт так, как было предсказано?

Он вдруг побледнел и на полусогнутых ногах торопливо заковылял к окну. Выглянул наружу и, словно мешок, набитый ватой, сполз на лавку.

– Так и есть: нас преследуют разбойники...

Гэг, Морс и Крюшон тоже бросились к открытому окну и высунули в него головы. И сразу увидели карету, запряжённую парой гнедых коней, которая мчалась за поездом, с каждой секундой сокращая расстояние между ним и собой на один мерхендьюйм. На месте кучера сидела худая дама в роскошном вечернем платье и что было силы нахлестывала взмыленных коней.

«Скорпина! – догадались Морс и Крюшон, разглядывая злюкенбергскую колдунью и трёх её напарников, выглядывающих из окон кареты и размахивающих длинноствольными пистолетами. – А это – Мерзопакс, Фруктус и Свинтус! Снова взялись за старое, только теперь в компании с мамочкой!»

Почуввав неладное, Кракофакс заметался по лавке, не зная, что предпринять. Прыгать на ходу из вагона он не хотел. Попадаться в лапы к разбойникам – тоже. Наконец старый пуппетроль решил просто запрятаться в укромном уголке и отдаться на волю судьбы – пусть будет, что будет. Он дёрнул племянника за рукав клоунской куртки и тихо шепнул:

– Прыгай за мной!

И смело сиганул с лавки на пол вагона. Нырнул в тёмный угол и, став невидимым, затаился там, словно мышка.

Тупсифокс, которому очень хотелось взглянуть на разбойников, скрепя сердце полез за ним – не оставлять же дядюшку одного в беде!

Тем временем карета успела поравняться с последним вагоном (а их всего-то было два!), потом догнала другой, а затем настигла и сам паровоз.

БАХ! БАХ! БАХ! – раздались пистолетные выстрелы, и машинист был вынужден нажать на тормоза.

– Всем выйти из вагона! – скомандовала Скорпина. – Вам тоже! – Она указала длинным хлыстом в сторону перепуганного машиниста. – Пакси, проверь, не остался ли кто внутри!

Фруктус и Свинтус, не дожидаясь приказа атаманши, открыли дверцу багажного вагона и начали выбрасывать прямо на землю перевязанные верёвками стулья, кресла, какие-то деревянные ящики...

– Эй, эй! – крикнула Скорпина, увидев в руках юных грабителей большое красивое зеркало. – Нельзя ли поосторожнее! Вы же знаете, что к таким вещам я питаю особую слабость!

Проводник Безенкопф, Гэг, Морс, Крюшон и Трёхглазый Петер вышли из вагона и присоединились к другому пленнику – машинисту паровоза.

– Извините, но как вы оказались в поезде? – спросил Безенкопф зондерлинского оракула. – Где ваш билет? Без него находиться в вагоне запрещается!

– А я там и не нахожусь, – вздохнул Петер Шмидт, – я, как зайчик, вышел в поле погулять...

Морс посмотрел на волшебника Гэга:

– Неужели мы так и будем стоять и не окажем бандитам сопротивления? Их четверо, нас шестеро – численное преимущество на нашей стороне!

– Зато у них есть пистолеты, – напомнил храброму дружку Крюшон.

– Не волнуйтесь, я просто раздумывал, что мне нужно предпринять, – улыбнулся Гэг. – Теперь я это знаю!

Глава семнадцатая

Закончив «грязную» работу, Фруктус и Свинтус подошли к пленникам.

– Вы сами вывернете свои карманы или вам помочь? – ухмыльнулся Фруктус и помахал перед носом Трёхглазого Петера пистолетом.

– Конечно, помочь! – хихикнула Скорпина и спустилась с кучерских козел на землю. – Они здорово перетрусили и не могут даже пошевелить рукой!

– Вы правы, госпожа Скорпина, но только наполовину, – галантно поклонился злой колдунье волшебник Гэг. – Это не мы, а вы и ваша шайка юных грабителей отныне не сможете пошевелиться. Пока я вам этого не позволю...

Он снова что-то тихо прошептал и чуть слышно щёлкнул пальцами правой руки.

Лицо Скорпины исказила страшная гримаса. Колдунья хотела ринуться на молодого чародея и вцепиться в него ногтями, но... осталась стоять на месте, не в силах даже шелохнуться. Мерзопакс, Свинтус и Фруктус тоже было рванулись в атаку, но и они оказались пригвождёнными намертво к земле.

Гэг отобрал у разбойников оружие и подбросил его. Грозные орудия убийства взмыли в небеса и исчезли за кучевыми облаками. Потом великий волшебник приблизился к злой колдунье и, глядя ей прямо в глаза, проговорил:

– За все твои злодеяния, Скорпина, я должен тебя наказать. Отныне ты будешь жить в этом зеркале, – он показал на зеркало, которое вытащили из багажного вагона её помощники Фруктус и Свинтус, – и уже никогда не покинешь его, чтобы делать добрым гнэльфам всякие пакости. О твоём сыне я тоже позабочусь: он будет отдан на воспитание в хорошие руки.

С этими словами знаменитый чародей хлопнул в ладоши и беззвучно проговорил одно из своих самых сильных заклинаний.

Вырвав из земли верхний слой дёрна, Скорпина взлетела и, вытягиваясь в воздухе в тонкую пёструю ленту, втекла в сияющие на солнце зеркальные глубины. И там исчезла, не оставив на гладкой поверхности даже легкой царапинки.

– Ну, а вам придётся отправиться в Пустыню Жёлтых Песков к отшельнику Хромоножке Зету, – повернулся Гэг к юным грабителям. – Бедняга вот уже двадцать лет живёт там один и очень устал. Вы поможете ему в его праведных делах, а он попробует вас перевоспитать.

– Мма... Мма... – выдавил из себя через силу Мерзопакс.

– Зеркало со своей матушкой ты найдёшь попозже, – успокоил мальчишку-злюка добрый волшебник. – Хозяин с удовольствием продаст его тебе за сущие гроши и даже скажет спасибо.

Гэг щёлкнул пальцами, и юные грабители ожили и зашевелились.

– А теперь уложите аккуратно все вещи в багажный вагон, – приказал им чародей. – Да побыстрее: поезд и так сбился с графика.

Фруктус, Свинтус и Мерзопакс послушно взялись за работу, а Морс и Крюшон подошли поближе к Трёхглазому Петеру и Гэгу.

– Ну, а теперь наступила наша очередь, – проговорил долговязый гнэльф, – пора бы нам с Крюшончиком вернуться домой: хватит с нас злоключений!

– Золотые слова... – прошептал Крюшон. – Под каждым готов подписаться... Если потребуется, могу даже собственной кровью!

– Ну, до этого, я думаю, дело не дойдёт! – рассмеялся волшебник Гэг. И уже серьёзнее произнёс: – Как вы хотите вернуться домой – в сапогах-сороходах или на ковре-самолёте? Может быть, вы желаете просто свалиться с небес на головы своим родным и близким?

– Нет-нет! – испугался Крюшон. – Только не это! – И виноватым голоском объяснил свою постыдную трусость: – Я очень тяжёлый... Могу кого-нибудь и зашибить нечаянно...

– В книге «Колесо Фортуны» написано, что они вернутся в Гнэльфбург в вагоне пассажирского поезда, – вмешался в разговор Трёхглазый Петер. – Том двадцать четвёртый, страница семьсот шестьдесят третья, восемнадцатая и девятнадцатая строчки сверху.

– Так что же вы стоите? – улыбнулся Гэг Крюшону и Морсу. – Занимайте места согласно купленным билетам и – в путь!

– А вам, господа, – Гэг повернулся к Трёхглазому Петеру и проводнику Безенкопфу, – придётся доехать до Зондерлинга вместе с машинистом. Не можем же мы отменить написанные в «Колесе Фортуны» предсказания.

– Да, но мой вагон... – Безенкопф тяжело вздохнул и многозначительно посмотрел на чародея, слишком вольно распоряжающегося чужой собственностью.

– Не волнуйтесь, вагон прилетит к вам на следующие сутки.

– Прилетит? Ах, ну да, разумеется...

Забыв попрощаться, Безенкопф полёлся к паровозу, в котором машинист уже всюю раскочегаривал топку. Зондерлингский оракул поблагодарил Гэга за своё освобождение из плена и побежал следом за проводником.

Увидев, что выброшенные из багажного вагона вещи вновь в него погружены, знаменитый волшебник поманил неудачливых налётчиков к себе.

– Пойдёте всё время на запад, а потом свернёте на юг, – сказал он мальчишкам-злюкам. – А там ещё дней пять-шесть пути – и вы на месте, в Пустыне Жёлтых Песков!

– А когда на юг сворачивать? – поинтересовался Мерзопак. – Когда захотим?

– Нет, когда услышите, как на горе рак засвистит. Это и будет вам знаком.

– Понятно...

– Ну, тогда счастливого пути! – Гэг подошёл к карете и забрался на козлы. – За лошадой не беспокойтесь, я верну их хозяину.

Волшебник помахал рукой Морсу и Крюшону:

– До свидания! Привет Гнэльфбургу!

И, хлопнув в ладоши, что-то проговорил на непонятном чародейском языке.

Глава восемнадцатая

– Морс, почему так темно?! Что случилось?!

– Кажется, мы находимся в комнате... Ну да, мы в музее! А темно потому, что задёрнуты шторы!

Морс и Крюшон выскочили из вагона, который чудесным образом перенёсся в самый большой зал гнэльфбургского музея, и осмотрелись по сторонам. Всё верно: они были дома!

– Даже не верится... Мы в Гнэльфбурге!

– Может быть, нам всё это приснилось, Морсик? И ничего не было? Совсем-совсем ничего?

– Может быть... Хотя сразу двоим одно и то же... Так не бывает, Крюш!

– Обычно не бывает, а необычно бывает! В исключительных случаях.

– Ну, если в исключительных...

Взгляд Крюшона вдруг упал на небольшой застеклённый ящичек, в котором хранилась бесценная гнэльфская реликвия – осколок зеркала колдуньи Скорпины. Толстячок испуганно вздрогнул и, кивнув приятелю на страшный музейный экспонат, робко спросил:

– А она там или не там?

Морс всё понял и улыбнулся:

– Конечно, там! Куда она денется!

– Кто её знает, вдруг вздумает вылезти?

Крюшон побледнел и сунул руку в карман в поисках сухарика или хотя бы леденца. Но единственное, что выудил Крюшон из своих бездонных кладовых, так это какую-то небольшую скользкую горошинку.

– Ты посмотри, Морс: это – жемчужина! Значит, нам ничего не приснилось!

– А я и не говорил, что приснилось. Это ты сказал, а я тебе поддакнул. – Морс взял у Крюшона жемчужину и поднёс её поближе к глазам. – Вот чудеса: ни одной царапинки! И как только Петер Шмидт оттуда выбрался – непонятно!

– Известно как: с помощью волшебства... – Крюшон покосился на столик, на котором покоился стеклянный ящичек с осколком зеркала колдуньи Скорпины, и тихо прошептал, обращаясь к другу: – Положи её сюда, Морсик... Она не наша, а мы с тобой не жулики. Пусть остаётся хозяйке, а мы и без жемчуга проживём!

– Пожалуй, ты прав, Крюш...

Морс подошёл к стеклянному ящичку и бережно положил на него жемчужную бусинку. После чего взял Крюшона за руку и потащил его к выходу.

– Идём отсюда, Крюш! Я так соскучился по своим родным!

– А я, думаешь, не соскучился? Я ещё больше соскучился!

Глава девятнадцатая

А спустя минуту после ухода гнэльфов выбрались из вагона и пуппетролли.

– Жаль, что мы не простились с Крюшоном и Морсом! – вздохнул Тупсифокс. – Столько дней вместе, можно бы и попрощаться!

– Нет уж, хватит! – рявкнул Кракофакс. – Мой здравый смысл подсказывает мне больше с ними не связываться, даже если кто-то вновь пообещает нам несметные богатства. Кстати, где твой сапфир,

подаренный этим мошенником Вундербером? Надеюсь, ты оставил его дома в нашем подвале?

– Чтобы кто-нибудь его украл?! Нет, дядюшка, не такой уж я про-стак! Я взял сапфир с собой!

– Ты таскал драгоценный камень всё это время в кармане?!

Тупсифокс отрицательно замотал головой:

– Нет, не всё время...

Он сунул руки в клоунские штанишки и вывернул карманы наизнанку. В одном из них была огромная дыра.

– Сапфир лежал, конечно, там?! Ты доведёшь меня до могилы... Завтра же отправлю тебя к Пуппелотте! Пусть моя сестричка заботится о своём сынке, а не я – бедный и несчастный старик!

Тупсифоксу стало жаль дядюшку, и он, дёрнув его за руку, прошептал:

– Морс и Крюшон оставили жемчужину здесь, в музее. Я это хорошо слышал. Давай её стибрим?

– Наконец-то ты взялся за ум и решил стать настоящим пуппетроллем! – повеселел Кракофакс. – Идём, я тебя подсажу, и ты доставишь эту бусинку.

– Да я и сам залезу, – откликнулся Тупсифокс и ловко, как обезьянка, вскарабкался на стол, а с него на стеклянный ящичек с осколком зеркала волшебницы Скорпины. – Вот она! Сейчас я её...

Мальчишка не договорил и громко взвизгнул от испуга: чья-то старческая рука высунулась из зеркального осколка и потянула Тупсифокса к себе – в зазеркалье.

– Что случилось? У тебя какие-то неприятности?

– Огромные! – вскрикнул Тупсифокс. – Меня хотят похитить!..

– Ну вот, начинается... – вздохнул Кракофакс и бросился спасать непутёвого племянника, которого он успел, незаметно для себя самого, полюбить больше собственной жизни.



Юрий Петкевич. «Марианна». 2012 г.

Журнал «Волга–XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.

Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области, Саратовское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Издатель: ГАУ СМИ СО «Саратов-Медиа».
Директор – Владислав Степанов

Редакция:

Главный редактор – Елизавета Данилова.

Работы художника Юрия Петкевича.

Дизайн и вёрстка – Лилия Баранова.

Корректор – Елена Березина.

Подписано в печать 22 августа 2014 года.

Дата выхода в свет 31 августа 2014 года.

Журнал отпечатан в типографии ГАУ СМИ СО «Саратов-Медиа».

Адрес типографии: 410031, г. Саратов, ул. Волжская, 28.

Заказ № ГЗ/2208/01.

Цена свободная.

Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, а/я 3535.

Адрес редакции: г. Саратов, ул. Волжская, 28, к. 6.3.

Тел. (факс): (845-2) 28-63-49.

E-mail: lizamart@yandex.ru

Электронная версия журнала: www.saratov-media.ru/add2/php

Сайт: www.saratov-media.ru

Подписной индекс 14320

При перепечатке ссылка на издание обязательна.

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своём решении.

Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 15,60.

Бумага типографская. Печать цифровая.

Тираж 1020 экз.



© ГАУ СМИ СО «Саратов-Медиа», 2014.

© «Волга–XXI век», 2014.